Новый Журнал

128

THE NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Деникс, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

Тридцать шестой год издания

Кн. 128 **НЬЮ ЙОРК** **1977**

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Помощник редактора: ВИКТОР ЕНЮТИН
Секретарь редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, September 1977
Quarterly No. 128
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price $20 — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N.Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

О. Анстей — Стихи 5
Л. Чуковская — Памяти детства 7
В. Перелешин — Стихи 23
Ю. Кротков — "Гамлет" 24
А. Головина — Стихи 29
И. Одоевцева — Стихи 30
А. Кашина — Под серпом и молотом 31
В. Нестеровский — Стихи 45
Г. Андреев — Минометчики 46
И. Чиннов — Стихи 64
В. Ильин — Религия и искусство 66
Ю. Иваск — Стихи 75
С. Голлербах — Заметки художника 76
Л. Шестов — Последний привет 88
Ю. Иваск — Эмилия Дикинсон 93
В. Тетерятников — Древнейшая русская святыня 114

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Письма В. Муромцевой-Буниной (публ. М. Грин) 127
И. Синявин — Творческая вылазка 140
А. Павчинский — Как пала монархия 167

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

А. Авторханов — Антиконституция СССР 179

В. Варшавский — Родословная большевизма 198

В. Зубов — Разрушение государственного сознания в СССР. 224

А. Федосеев — Заботы члена английского парламента Ф. Пима . 235

В. Бровкин — П. Ткачев и революционный экстремизм 241

П. Берлин — Еврейский вопрос в русском революционном движении .....

ПАМЯТИ УШЕДШИХ: *Р. Плетнев* — Д.И. Чижевский. *Ю. Иваск* — В.В. Набоков 268

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

А. Евреинова — О Г.И. Гюрджиеве. *Р. Плетнев* — О М.Шолохове. *И. Мацкевич* — О некоторых затруднениях в дискуссии 277

БИБЛИОГРАФИЯ:

Г.М. — Брюс Гершензон. Боги антенны. *Е. Климов* — О рисунках в детских книгах в СССР. *С. Женук* — А. Киселев. Чудотворные иконы Божией Матери в русской истории. *М. Ледковская* — В. Карпович. Трудные слова у Солженицына. *В. Перелешин* — В. Розанов. Люди лунного света 286

Printed in U.S.A., by Computoprint Corporation
335 Clifton Ave., Clifton, N.J. 07011

РАЗРУХА

1920 год

—А это, папа, что? А тут что было?
Идет отец неторопливым шагом
В свободный день с дочуркой восьмилетней.
(Я — эта девочка).
— Тут летний был театр,
Стояли скамьи, — говорит отец.
— Так нет же ничего, один песок?
— Сломали, растаскали на дрова.

— А вон фонтан! — Она бежит, влезает
На искрошившийся бассейна край.
— Он был с водой?
— Да, бил фонтан, конечно.

Старается представить это чудо
Девчонка. Бьет высокая струя?
И солнце в ней дробится? Так бывает?...

Отец зовет: — Над воротами — видишь —
Часы, — на них старик с косою — Время?
Они звонили очень музыкально,
Отзванивали четверти...
— Я знаю, —
Теперь уж не звонят?
— Нет, не звонят.

Они большую площадь переходят.
— Тут памятник был Ольге, — говорит
Отец, — твоей святой. С крестом и книгой.
— Ну, где же он теперь?
— Разбили, сняли.

Copyright by The New Review, N. Y. 1977.

И медленно ребенок привыкает
Как должное все это принимать:
Все было. Было. А теперь вот нет.
Фонтан не бьет. Куранты не звонят.

Но не тоскливо этим двум идущим
И не уныло ... Так светло вокруг,
Как в первосозданном саду Евфратском!
Так чист и тонок воздух! Не дымят
Заводов трубы, не ворчат машины.

Так свеж и тих разрухи мир огромный!
Так сладко дышится на грани века,
На дремлющих развалинах эпохи,
Заросших густо травкой-луговинкой —
Пастушьей сумкой, чёбриком, полынью....

— Ну папочка, пойдем?... А тут что было?

СТИХИ ПРО ЧАЙ

Вымирают семьями, кланами.
Был домашний смех, разговор,
Пили чай, бренчали стаканами.
Смолкло все. Могильный бугор.

Хорошо, как т а м — повидаемся,
Перемолвимся, чай нальем...
А верней, что во мгле закачаемся,
Поплывем в седой водоем.

Каждый будет решать в особицу
Уравненье души и грехов.
Ничего, как-нибудь приспособится
И без чаю, и без стихов.

Ольга Анстей

ПАМЯТИ ДЕТСТВА

(ГЛАВА ИЗ КНИГИ)

Игрою игр нашего детства было море.

С утра мы бежали на берег взглянуть: виден ли Кронштадт? Хорошо ли виден? Не тает ли он на горизонте, не затягивается ли мглой? Кронштадт — наш барометр. Синяя плотная наклейка на голубом небе и золотой купол собора. Отчетливо видные, они как стрелка указывают мореплавателю: "ясно".

Теперь... теперь только бы он до сумерек окончил работу!

Слоняясь возле крыльца веранды, мы прислушиваемся к звукам на втором этаже.

Идет! Веселый! С лестницы через две ступеньки!

Выговаривает громким свистящим полушепотом:

"Частию по глупой честности,
Частию по простоте,
Пропадаю в неизвестности,
Пресмыкаюсь в нищете".

Веселый! Едем!

Он не зовет нас, нас не замечает, не подает нам никакого знака. Высоко задрав подбородок, с видом бесстрастным и замкнутым, большими шагами шагает к берегу — будто намерен отправиться в море один... Но мы не пугаемся нисколько; лодочный ритуал давно уже разработан в малейших подробностях, и то, что наш капитан, задрав голову, бесстрастно шагает мимо, тоже входит в игру. Никуда он без нас не уедет! Мы разбегаемся — каждый по своему назначению. У каждого своя морская обязанность. Боба уже мчится в сарай за черпаком.

Мы с удовольствием печатаем главу из книги Л. К. Чуковской "Памяти детства" (автобиографическая повесть). Эта книга выйдет в изд. ИМКА-пресс в 1978 году. РЕД.

Коля и Павка волочат тяжелые весла, две пары. Ида — уключины. Матти — багор, а я — я именуюсь "хранительницей пресной воды" — и несу с ледника заткнутую пробкой холодную бутыль. (Впоследствии в пьесе "Царь Пузан" он написал для меня роль "Хранительницы королевской зубочистки").

Поджидая нас, он уже успел перевернуть и столкнуть на воду тяжелую, широкую рыбачью лодку. Руля на ней нет, вместо якоря — камень, обвязанный канатом. Зато она хоть тяжела, да вместительна. Он быстро нагружает ее всею снастью: уключинами, веслами, якорем-камнем и приказывает садиться: Коле или Матти на среднюю скамейку, остальным — куда попало, на корму, на нос, на дно; закатывает штаны повыше, спихивает лодку с мели, на которую она плотно уселась, чуть только в нее плюхнулись мы; потом, накренив ее, сам ступает через борт и, выпрямившись во весь свой огромный рост, принимается ловко работать веслом, а то и багром, пока не выводит судно на глубокую воду. Тут уключины в гнезда, весла в уключины —пошли! Минуту дело не ладится, весла бултыхаются не в раз, он покрикивает на Колю, но вот ритм ухвачен, и четыре весла, со стекающими с лопастей каплями солнца, мерно взлетают и снова опускаются в воду.

Гладь почти безветренная. Мелкие волнишки мирно толкаются о борт. Широкий след за кормой. Простор, вода и небо. Воздух такой чистый, что каждый вдох ощущаешь, как глоток свежей воды. Лодка идет легко, спокойно, устойчиво, чуть-чуть пожурчивает вода за бортом.

Хочется не говорить, а молчать.

Мы и молчим, глядя, как удаляется берег.

Молчим, покорные этому щедрому бескрайнему свету, этому подрагиванию и покачиванию. Вот уже и первая чайка. Вот уже не видно камней на нашем берегу. Вот уже и людей не видать. Вот уже слились в одну густую, плотную, черную толпу редкие прибрежные сосны, и за этой колышущейся толпой неразличима наша дача.

Лодка быстро идет вперед, послушная взмахам весел. Глядя, как они оба, он и Коля, без усилий взмахивают веслами, слегка приподнимаясь над скамьями и снова опускаясь на скамьи, мне кажется, что ничего проще гребли и на свете нет. Но когда один

раз, вняв моим мольбам, Корней Иванович усадил меня рядом с собой и дал мне в руки весло — всего одно для начала! — я не в силах оказалась не то что закинуть, даже удержать его. Впрочем, мне не было тогда и шести. Через несколько лет, покидая Куоккалу навсегда, я уже свободно справлялась с лодкой.

Как осваивал море капитан, рассказано им впоследствии в тех же воспоминаниях о Борисе Житкове.

"Никогда не забуду, как ранней весной он стал учить меня гребле — не в порту, а на Ланжероне, у пустынного берега, взяв для этого шаланду у знакомого грека.

[...] Требовательность его не имела границ. Когда у меня срывалось весло, он смотрел на меня с такой безмерной гадливостью, что я чувствовал себя негодяем. Он требовал бесперебойной, квалифицированной, отчетливой гребли, я же в первое время так сумбурно и немощно орудовал тяжелыми веслами, что он то и дело с возмущением кричал:

— Перед берегом стыдно!

[..] Вскоре я настолько освоился с греблей, что Житков счел возможным выйти со мною из гавани в открытое море, где на крохотное наше суденышко сразу накинулись буйные, очень веселые волны.

До знакомства с Житковым я и не подозревал, что на свете существует такое веселье. Едва только в лицо нам ударило свежим ветром черноморского простора, я не мог не прокричать во весь голос широких, размашистых строк, словно созданных для этой минуты:

Зыбь ты великая! Зыбь ты морская!
Чей это праздник так празднуешь ты?"

И здесь, на Финском заливе, ясный солнечный день, мерные взмахи весел, ожидающие лица детей, рождали в нем жажду читать стихи. Жажда эта жила в нем неутолимо: поэзия смолоду и до последнего дня была для него неиссякаемым источником наслаждения. Стихи он читал постоянно и всегда вслух: себе самому, один на один, у себя в кабинете. Репину в мастерской и репинским гостям в беседке; захожим студентам на песке у моря; друзьям — соседям: Николаю Федоровичу Анненскому, Татьяне Александровне Богданович и Короленко, нам по дороге на почту. И уж конечно в море. Тут, в море, он давал себе полную

волю. Ритм волн и ритм гребли естественно выманивали в ответ ритмический отклик.

Никогда я не слышала чтения более пленительного. Как будто все черты его личности собирались в эти минуты в голосе, в интонациях, в губах, которые льнули к звукам, в звуках, которые льнули к губам. Однажды, в море, маленькой девочкой, слушая его голос, произносящий стихи, я впервые заметила красоту его рук. Таких особенных рук я потом в жизни ни у кого не видала. Сильные, хваткие, но не искаженные ни веслом, ни пилой, ни ведрами, ни камнями, ни лопатой: кончики длинных пальцев отгибались назад.

Лирическая основа его естества, скрываемая обычно иронией, насмешкой, язвительностью, задором полемики, явственнее всего проступала наружу, когда он читал стихи.

В голосе его, когда он читал великую лирику, появлялось некое колдовство, захватывавшее и его и нас. На страницах своих сочинений он не раз говорит, что смолоду привык "упиваться стихами". Упоение заразительно. Наверное потому мы и упивались, слушая, что он упивался, произнося. И все стихи, которые я узнала потом, одна, сама, без него, звучание всех на свете стихотворных строчек, кто бы их ни произносил, навсегда связаны для меня с моим детством и его голосом.

— "Зыбь ты великая! Зыбь ты морская! — начинал он, закидывая весла и чуть-чуть раскачиваясь. — Чей это праздник так празднуешь ты?

Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты", —

читал он широким, певучим, страстным, словно молящимся голосом, и мне казалось, что теперь уже лодка покоряется не волнам и веслам, а весла и волны — и все вокруг — звучанию голоса.

Читая нам стихи на морских прогулках, был ли он занят тем стиховым воспитанием, о котором впоследствии так много писал и на отсутствие которого с такой горечью сетовал? И нет и да. Нет, потому что приемы и способы стихового воспитания, подробно изложенные в его послереволюционных статьях, не были еще разработаны им; он тогда еще только наблюдал эту встречу: стихи и ребенок, стихи и возраст, ступени восприятия.

Нет, обдуманно, сознательно еще не занимался; пожалуй, если бы тогда, в лодке, он был наедине с морем, без слушателей, один, он читал бы те же стихи, что и при нас. И да, конечно, был занят стиховым воспитанием! Если не воспитывал в прямом смысле, осознанно и методически, то, как бы поточнее это сказать, — влюблял. На страницах своих книг он постоянно утверждает, что первое дело учителя литературы — влюбить детей в поэзию. На морских прогулках он и внушал нам влюбленность.

И, конечно же, он понимал: такого обостренного чувства ритма, как в детстве, у взрослых не будет уже никогда. Читая нам в те годы в изобилии стихи, он если и предавался стиховой педагогике, то лишь самой первоначальной, первичной, да зато такой, без которой *всякая* дальнейшая немыслима: очаровывал нас поэзией, вовлекал нас в нее, как других детей в детстве вовлекают в музыку.

(Он уже тогда понимал, что давать слушателям какие бы то ни было сведения о поэзии — исторические или формальные — до того, как она сама по себе стала их душевной потребностью, — занятие бессмысленное, схоластическое и даже вредное. Зачем, в самом деле, забивать взрослым или детям головы сведениями о том, когда и каким размером был написан "Медный всадник", почему так долго не печатался, когда, наконец, напечатан и как его встретила критика, если слушатели не испытывали наслаждения, произнося вслух и про себя, ложась спать и вставая:

"Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова".)

"... я принадлежу к числу тех чудаков, которые любят поэзию больше, чем всякое другое искусство, — писал Корней Иванович в книге "От двух до пяти", — и знают на опыте несравненные радости, которые дает она тем, кто умеет наслаждаться ею".

Говоря о неумелых педагогах, по невежеству и неумелости убивающих в детях чувство стихотворного ритма и тем лишающих детей возможности принять наследие великих поэтов, он продолжал:

"Неужели никому из них (новым поколениям детей — Л. Ч.) не суждена величайшая радость: читать, например, "Медного всадника", восхищаясь каждым ритмическим ходом, каждой паузой, каждым пиррихием? Неужели это счастье, столь услаждавшее нас, будет для них уже недоступно? Вправе ли мы эгоистически пользоваться этим счастьем одни, ни с кем не разделяя его? Не обязаны ли мы передать его детям?" [1]

Счастье, счастье, счастье... Нет, он не пользовался им эгоистически. На куоккальских морских прогулках он от щедрот своих передавал эти радости нам.

— "Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль Средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан:
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался не даром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!
Мчимся. Колеса могучей машины
Роют волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только-что чайка вьется за нами
Белая, реи меж вод и небес.
. . . . . .
. . . . . .
Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде, чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!
. . . . . .
Нужды нет, близко ль, далеко-ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду: мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:

1.К. Чуковский. "От двух до пяти", Изд-во"Детская литература", 1970, стр. 341-342.

Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной".

Сколько тут непонятных слов и названий! Фетида, емлет, Элизий, Ливурна! А он не объяснял ничего, ровнехонько ни единого слова, только торжественно возглашал: "Баратынский". И мы вместе с ним отдавались энергии ритма, наверное не менее мощной в этих стихах, чем энергия ветра.

"Парус надулся. Берег исчез".

Думаю, если бы кто-нибудь из нас — я, шестилетняя, или Коля, девятилетний, сами попробовали бы прочесть эти стихи, мы споткнулись бы на первой Фетиде и отложили в сторону книгу. Но читал нам он. И в его чтении, хотя он и не объяснял ничего, мы понимали не только красоту великого произведения искусства, красоту звуков, ритмических ходов, но и общий смысл, то, что можно условно назвать содержанием. Не смысл отдельных слов или строк, а то, что *содержится* в причудливом сплетении их, в строках и в строфах, в которые они сплавлены силою ритма.

Ритм — лучший толкователь содержания. И этот толкователь, отчетливо выведенный наружу голосом чтеца, растолковывал нам, что речь тут идет о воле человека, радостно пересекающего океан, о счастливой победоносной воле, противоборствующей бурным волнам, о том, что человек этот скоро увидит нечто еще более прекрасное, что зовется дивным и непостижимым именем: Элизий.

"Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной".

Где это — Ливурн? Что это — Элизий? Не знаю. Что-то золотое в этих многочисленных "з": лазоревый, завтра, Элизий, завтра, земной. Нет, знаю: "земной Элизий" — что-то блаженное из чистого золота, к чему он стремился — и вот он достиг его.

"... Наедине мы с морскими волнами;
Только-что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес".

Сколько уж раз видела я и слышала чаек! Но то, на какую высоту вознесено в стихе Баратынского слово "белая" и то, как подчеркивал эту ритмическую высоту голос, произносящий строку с крошечной паузой после первого слова, — "Белая

(пауза), рея меж вод и небес", — заставило меня впервые ощутить пространство между волнами и небом, и чайку, играющую этим пространством.

Мне 6 лет. Через два года я пойду в гимназию и там, с годами, на уроках географии я узнаю, где находится город Ливорно, и на уроках истории, что такое Элизиум. А быть может, и сам он, в какой-нибудь зимний вечер, раскроет том "Энциклопедии Британика" и покажет нам карту Италии и Средиземного моря. Но сейчас, из этого голоса, из этих стихов, я узнаю нечто такое, что невозможно узнать ни из какого учебника географии, ни из какой энциклопедии — могущество волн, могущество воли, огромность мира, заманчивость чужбины и путешествия. Эти познания, кроме как из произведений искусства, нельзя извлечь ниоткуда, — разве что проделав в действительности тот же путь через Средиземное море. Впрочем, и тогда не узнаешь, что «башни Ливурны» не просто башни итальянского города, а исполненный сон.

На моем веку мне довелось множество раз слышать чтение стихов. Читали актеры и читали поэты. Я слышала Яхонтова, Антона Шварца, Качалова, Журавлева. Каждый из них исполнял стихи в своей, одному ему присущей манере. Слышала поэтов — Маяковского, Блока, Ахматову, Цветаеву, Кузмина, Мандельштама, Гумилева, Ходасевича, Пастернака, Клюева, Есенина, Заболоцкого, Твардовского, Бергольц, Маршака, Петровых, Введенского, Хармса, Квитко, Корнилова, Самойлова, Межирова, Иосифа Бродского, Кушнера, Слуцкого. Все они тоже, разумеется, читали каждый по-своему. То разговорная, то патетическая интонация Маяковского нисколько не напоминала скрыто-страстное, а внешне сдержанное чтение Блока (казалось, своим глуховатым голосом он печально перечисляет слова — и только); слышала открытое, настежь распахнутое чтение Пастернака, ничем не напоминающее суровость, серьезность и замкнутость чтения Ахматовой (да, открывая себя, она оставалась замкнутой) — и все-таки чтение поэтов, самое разное, чем-то неуловимо родственно одно другому и противоположно актерскому; поэты не своевольничают со своими стихами, хотя, казалось бы, им, хозяевам, все можно; они читают, повинуясь невидимым нотам, заложенным в каждой строке, движению

ритма, которое, совпадая с движением мыслей и чувств, совпадая с дыханием и создает властность, всемогущество стиха. Актеры же вольничают, стремясь один — создать "настроение", другой — "образ героя", третий — "образ автора", — вообще проиллюстрировать стих, обогатить его, кто жестом, кто голосом, не доверяя власти его самого.

(Никогда не забуду, как Качалов, читая блоковские строки:

"Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо",

— делал такое движение рукой, будто выбрасывал заветное кольцо в форточку, а произнося в "Скифах" строку "ломать коням тяжелые крестцы", — показывал, будто ломает палку.

Слово и ритмический строй казались ему здесь недостаточно выразительными. Он приходил им на помощь).

Корней Иванович читал стихи не по-актерски, а так, как читают поэты. Читал, стараясь не вносить ни в интонации, ни в ритм никакой отсебятины, а напротив, и голос и все свое естество подчинять движению ритма, что делает внятным смысл даже самых сложных стихов, даже для малолетних детей. Вот почему в его чтении нам становились понятными и те стихи, в которых во множестве встречались непонятные слова или изображались происшествия, недоступные нашему опыту.

Слов на этих морских прогулках, прогулках в поэзию, он не объяснял нам почти никогда, провозглашая только имя поэта, желая, чтобы мы научились узнавать единственную в мире интонацию, не смешивая ее ни с чьей чужой, так, как в детстве без труда привыкли отличать ель от сосны, осину от березы. Вот это Баратынский. "Парус надулся, берег исчез". Слышите? А вот это Некрасов. "Горе горькое по свету шлялося". Немыслимо спутать одного с другим.

Он часто играл с нами в такую игру: читал нам какие-нибудь неизвестные дотоле стихи, предлагая угадать автора, а когда моему брату было уже лет 10, а мне 7, объяснил нам основные размеры, показал их обозначения и затеял игру: кто скорее на слух определит размер. А еще позже он стал россказывать нам биографии поэтов: Шевченко или Байрона, Пушкина или Лермонтова. А еще позже — демонстрировать соотношения между размером и ритмом.

Но все это наступило потом.

Тогда же, в Куоккале, в лодке, он не ставил себе целью обогащать нас познаниями, а всего лишь счастьем.

И счастье это исподволь учило нас познавать мир. И Россию.

Круглый год мы проводили в Финляндии. Россией был для меня в ту пору всего лишь Суворовский проспект в Петербурге, да еще Таврический сад, куда нас водили гулять, когда я была совсем маленькая. В настоящую Россию, в деревню под Порховым я попала уже тринадцати лет. Москву увидела впервые шестнадцати, а просторы России, пролетающие мимо вагонного окна — семнадцати, по дороге в Крым. Но уже пяти или шести годов отроду, я узнала что-то главное о России из некрасовских ритмов, передаваемых чтением Корнея Ивановича.

О подневольности изб. Об их беззащитности. О разлуке. О встрече. О смерти.

—"Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!"

Тут и "спасибо" звучит как стон, и простор не только врачует, но и ранит, и сторона родная сродни рыданию. Это и было мое первое, полученное в дар от Некрасова, ощущение России.

А "Мороз Красный Нос"!

— "Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно,
Невесело солнце всходило:
В то утро свидетелем было
Печальной картины оно".

Эта третья рифма в его произношении была третьим приступом боли. Кажется "выла", "всходила" достаточно, чтобы изнемочь, и голос изнемогал, а это третье добавочное "было" — этого уже почти и перенести невозможно:

— "Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно,
Невесело солне всходило:
В то утро свидетелем было

Печальной картины оно.
Савраска, запряженный в сани,
Понуро стоял у ворот;
Без лишних речей, без рыданий,
Покойника вынес народ.
— Ну, трогай, Саврасушка! трогай!
Натягивай крепче гужи!
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!.."

Без рыданий? Самые эти стихи — рыдание. Над базащитностью родного простора. Над тщетностью труженичества. Рыдание слышно здесь с не меньшею явственностью, чем в строках, где названо открыто:

"Сентябрь шумел, земля моя родная
Все под дождем р ы д а л а без конца,
И черных птиц за мной летела стая,
Как будто бы почуяв мертвеца!"

... Коля и Мати, утомясь, сменялись на веслах, а он продолжал бессменно грести и читать. Читал нам Пушкина, Полонского, Фета, Лермонтова.

Помню, как впервые я услышала звуки поэзии Фета совсем особенным образом: не сами по себе, а в сгущенном воспроизведении Полонского. Полонский поздравлял Фета с пятидесятилетием и, поздравляя, в первых строках первой строфы создал как бы концентрацию поэзии друга, заговорил не своим, полонским, а его, фетовским языком.

"Ночи текли — звезды трепетно в бездну лучи свои сеяли...
Капали Слезы, — рыдала любовь; и алел
Жаркий рассвет, и те грезы, что в серце мы тайно лелеяли,
Трель соловья разносила — и бурей шумел
Моря сердитого вал — думы зрели, и — реяли
Серые чайки...
Игру эту боги затеяли;
В их мировую игру Фет замешался и пел..."

(В этом стихотворении Полонский говорит о поэте и о поэзии нечто похожее на то, что впоследствии высказано было

Блоком в пушкинской речи: говорит о поэзии, как о явлении не только культуры — но и природы, стихии.

Это сопоставление мысли Полонского и мысли Блока пришло мне на ум конечно не в Куоккале, а позднее, в Петрограде, в 1921 году, когда я слушала в "Доме литераторов" речь Блока о Пушкине. А в шесть-семь лет — какие уж сопоставления! Но зато в детстве, на море, голос, крики чаек, волны и слова — природа и поэзия — слиты были воедино самой действительностью. И я воображала, будто Фет это птица, тоже может быть чайка, только певчая).

Первую строфу — ту, где Полонский был Фетом — чего мы, конечно, не понимали тогда, — Корней Иванович читал не переводя дыхания, быстро, все быстрей и быстрей, как бы стараясь голосом взлететь поскорей в высоту, чтобы оттуда, с этой высоты, ринуться на две последние медленные, устойчивые строки, ради которых и написаны все предыдущие.

Скорее, скорее, вверх — почти скороговоркой и не переводя дыхания:

— "... и те грезы, что в сердце мы тайно лелеяли,
Трель соловья разносила — и бурей шумел
Моря сердитого вал — думы зрели, и — реяли
Серые чайки..."

Пауза. Медленно. Почти по складам. Слово "боги" он тянул, точно было в нем по крайности три "о", в "мировой игре" подчеркивал "р", а имя Фет выговаривал надежно, устойчиво:

"Игру эту боооги затеяли;
В их ми*р*овую иг*р*у
Фет
Замешался и пел..."

Наверное, для того, чтобы мы тут же услышали звуки, издаваемые этой таинственной птицей, Фетом, соревнующимся своей песней с богами и бурей, он следом читал нам свои любимые дактили Фета, раскачивающие ветром деревья:

— "Ель рукавом мне тропинку завесила.
Ветер. В лесу одному
Шумно, и жутко, и грустно, и весело...
Я ничего не пойму".

... Опомнившись от Фета, мы обыкновенно обнаруживали

себя уже так далеко в море, что берег казался еле приметной чертой. Пора было купаться.

(Не мне и не Бобе — мы еще не умели плавать, купались только у берега, здесь же мы — хранители штанов, рубах и вёсел. Всего лишь.)

Мореходы, припеченные солнцем, начинали сдирать с себя рубахи с такою поспешностью, будто, не успей они раздеться, море может внезапно высохнуть или утечь, и им просто не хватит воды для купания. Они с азартом бултыхались в воду — он, волосатый, огромный — раньше всех. Сначала он плавает неподалеку вокруг лодки, окатывая меня и Бобу, и бедные штаны и рубахи тучами брызг. Потом вымахивает далеко. Потом возвращается и, скомандовав себе самому: "Раз, два, три!" — на наших глазах исчезает.

Это главная минута купанья. И невысказываемый мною самый мучительный страх моей детской жизни.

Его больше нет. Я смотрю на то место, где скрылась его голова, и шепчу про себя: "вынырни, вынырни, вынырни". Я не понимаю, как Боба в эту минуту может возиться со своим черпаком, а Коля и Матти хохотать, шлепая друг дружку по спинам. Его нет. Его больше нет. Сколько раз на наших глазах он нырял, исчезая, но всегда возвращался обратно. А что если теперь не вернется — никогда? Только что были его глаза, его руки, ноги, голос, волосы — и — никогда. Останется одна рубаха. Я смотрю и смотрю. Вынырни, вынырни, вынырни! И вот наконец — голова. Всегда она является не там, где скрылась и куда я изо всех сил гляжу, — а поодаль, в другом неожиданном месте: плечи и голова с облизанными водой волосами, голова сама какая-то струящаяся, потому что с нее струями льется вода. Мощное фырканье. Он побывал, наверное, не менее, чем на глубине десяти пап. Длинные пальцы обнимают, отирают лицо. Он отплевывается. Он посинел. Вцепившись синими пальцами в борт, накренив лодку так, что мы с Бобой чуть-чуть не кувыркаемся в воду, он перекидывает ноги внутрь, натягивает, весь дрожа, штаны и рубаху и требует, чтобы Матти и Коля возвращались немедленно.

Я спасена. Он здесь.

Согревшись греблей, он снова начинает читать стихи, на этот раз веселые, подмигивающие, озорные, пляшущие.

— "Фонарики, сударики
Горят себе, горят.
А видели ль, не видели ль —
Того не говорят".

Или:

— "Как яблочко румян,
Одет весьма беспечно,
Не то чтоб очень пьян —
А весел бесконечно.
Есть деньги — прокутит;
Нет денег — обойдется,
Да как еще смеется!
"Да ну их!".. — говорит,
"Да ну их!".. — говорит,
"Вот, говорит, потеха!
Ей-ей, умру...
Ей-ей, умру...
Ей-ей, умру от смеха!".

Или:

— "Я был престранных правил,
Поругивал балет.
Но раз бинокль подставил
Мне генерал-сосед.
. . . . . .
Не все ж читать вам Бокля!
Не стоит этот Бокль
Хорошего бинокля...
Купите-ка бинокль!.."

Как мы радовались этой находке — этой счастливой рифме: "Бинокль — Бокль!" (Разумеется, ведать не ведая ничегошеньки о Бокле). Сгибались пополам, валились вперед от смеха. Повторяли: "*К*упите-*к*а бино*к*ль", — напирая на расслышанные три *К*.

А он уже заводил новое:

— "У царя, у нашего,
Все так политично,

Что и без Тимашева
Высекут отлично.
И к чему тут здание
У цепного моста?
Выйдет приказание —
Отдерут и просто".

Кто такой Тимашев? Что за мост? Что за здание? О котором царе идет речь? Ничего этого пока он нам не объяснил. Объяснит, объяснит, расскажет, когда настанет пора. Исторического мышления у детей до 10 лет еще нету; в этом он, повидимому, был вполне согласен с Толстым, зачем же рассказывать; а вот ритмический слух и чувство юмора повышены, и он использовал эти детские свойства, чтобы одарить нас не только лирикой, но и сатирой.

"Фонарики-сударики" мы превратили в считалку. "Становись в круг — кому водить? Фонарики-сударики-горят-себе-горят". "Цепной мост" — в дразнилку. Мы понимали в этих стихах главное: кто-то удалой и смелый весело издевается над кем-то смешным и плохим.

"Выйдет приказание —
Отдерут и просто!"

Очень полюбился нам также веселый Пушкинский "Делибаш".

"Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш".

Пушкин предостерегает казака от делибаша и делибаша от казака; но напрасно.

"Мчатся, сшиблись в обшем крике...
Посмотрите! Каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы".

Ритм — лучший толкователь содержания. Хотя речь идет тут о войне, о двойном убийстве, — ритм говорит об игре. Недаром в другом четверостишии Пушкин называет кровавую стычку "лихой з а б а в о й". Никакого ужаса эти стихи не внушают, напротив, веселье. И мы, подчиняясь истине ритма,

при всякой удаче: соскочишь ли с забора, вывернешь ли тяжелый камень, отгонишь ли осу, собьешь ли сосульку, орали:

Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы!

Лидия Чуковская

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Приемлю режим лазарета:
здоровье в пилюле, в уколе.
В окнах — приливы света,
в теле — отливы боли.

Взамен опостылевших будней,
в отмену остывшей фасоли —
поступь воскресных полудней,
хрусткие грузди в рассоле!

За небо, за радости эти,
за солнце отдам поневоле
темную память о свете,
светлую память о боли.

НЕ ПО ПРАВИЛАМ

(По поводу кончины Д. И. Кленовского)

Измолотый бессмыслицей загадок
Добра и зла, унесших столько сил,
Угас поэт — а счастья не просил:
Под ливнями не ждал нарядных радуг.

Давно и мне пора прийти в упадок:
Ведь, я не спал, а ненасытно жил
Всем существом, всем напряженьем жил,
Наитьями и сменой лихорадок.

Мир сумрачен — и всё же чем-то мил:
Томил тоской и радостью томил,
И в кровь мою откладывал осадок,

Остерегал, о м е р е говорил,
Но и теперь не надо мне площадок,
Чтоб отдыхать у лестничных перил!

СО СТОРОНЫ

О, если бы взглянул со стороны
Я на себя, ублюдок узкоплечий,
Не смел бы я назвать себя предтечей
Поэзии обещанной весны.

А сверстники? То явственно больны,
То в глубине страдают от увечий:
Обожжены клеймом противоречий,
Полуслепцы, уродцы, горбуны.

Один из нас, одышливый и лысый,
Заверещал при встрече с тощей крысой,
А я бежал от черного кота,

И за плечем хранитель мой лучистый
Печалился, что наша чистота
В чистилище окажется нечистой.

Валерий Перелешин.

"ГАМЛЕТ"

Погубило меня честолюбие.

Это правда, когда я шел в ресторан и выпивал 600 граммов водки ("Столичной"), я всегда краснел как бурак, потел как сивый мерин, вставал из-за стола и, обращаясь к остальным присутствующим в ресторане, громко говорил, нет, кричал:

— Вы все тут ничто, а я Ливанов!

И это так. Слава следовала за мной тенью с того самого дня, как я сыграл на сцене МХАТ'а (Московского Художественного Театра) в Чеховских "Трех сестрах" роль Соленого. Дело в том, что на премьере был сам Сталин, да, да, великий вождь Иосиф Сталин, собственной персоной. Он был театралом, и особенно питал симпатию к МХАТ'у. И я Сталину очень понравился, о чем мне официально сообщил наш директор, которому сообщил ближайший соратник Сталина Жданов. Ну и с этого момента меня начали приглашать сниматься в кино, я получил высокие звания, премии, ордена, стал выступать по радио, в концертах, переселился в новую квартиру на улице Горького и т.д. и т.п.

Пить же я пил всегда и до успеха и после успеха. Но кричать: "Вы все тут ничто, а я Ливанов!", я научился лишь после того, как слава взметнула меня ввысь, то есть после "Трех сестер" и, фактически, при содействии Сталина.

Нет, слава и успех актеру нужны. О чем спор? Это, как бы, питательные соки. Да и это открывает все двери.

И вот тому очевидный пример. С молодых лет, учась еще в театральной школе, я возмечтал сыграть Шекспировского Гамлета, ну и сам по-своему поставить этот спектакль, будучи не только актером, но и вполне приличным режиссером. Однако, в нашей социалистической стране почему-то "Гамлета" всегда

игнорировали, да нет, хуже, просто считали принца Датского фигурой запутанной и чуть ли не ницшеанской. Короче, "Гамлет" не был созвучен нашей великой эпохе. И точка. Так говорили в высших инстанциях. Поэтому "Гамлет" у нас появлялся изредка только на провинциальной сцене, да и то по недосмотру местных властей. Естественно, вступив в труппу МХАТ'а, поначалу я никак не мог добиться согласия дирекции на постановку этого самого "Гамлета". Но вот после того, как меня отметил похвалой сам Сталин и вслед за тем превознесли до небес центральные газеты устами, так сказать, своих театральных критиков, я решил действовать более решительно и обратился в ЦК КПСС.

Представьте, по истечении месяца, меня вызвали в дирекцию и заявили мне, что я могу начать работу над "Гамлетом". Я чуть было не расцеловал директора и, мысленно, того партийного бюрократа, который снял запрет в отношении "Гамлета" хотя бы для меня и на сцене МХАТ'а. Я на радостях даже запил, да так, что соседи в моем доме позвонили в милицию. Но дальше не пошло. Я себя обуздал, забыл про водку и приступил к сбору материала. Целые дни и даже вечера проводил в Ленинской библиотеке, читая все, что было когда-либо написано по поводу "Гамлета", хотя давно уже знал все точки зрения на идею трагедии, так сказать, суть пьесы и, главным образом, суть образа Гамлета, его характер.

Сел за разработку экспозиции, интерпретации и распределение ролей. Гамлета, конечно, я должен был играть сам, надеясь с успехом воплотить в реальность мечту моей жизни.

Скажу больше, в уже публично обнародованном репертуаре МХАТ'а, в числе будущих спектаклей, стоял "Гамлет". Куда уж там...

И вот случилось так, что в те памятные и горячие дни, меня вдруг пригласили на правительственный прием в Кремль. Это было по случаю годовщины Великой Октябрьской Революции. Разве я мог отказаться? Да и кто бы из актеров отказался? Это же была большая честь. Ведь в Кремле, в Георгиевском зале собирались лучшие из лучших, так сказать цвет нашего советского общества, во главе с руководителями партии и

правительства, а это означало,во главе с товарищем Сталиным.

Отправляясь на этот прием, я задался целью: повидаться со Сталиным и поговорить с ним о "Гамлете". Ведь он же безусловно помнил меня. Вот возьму и подойду к нему и скажу: "Здравствуйте, товарищ Сталин. Я Ливанов", решил я. Однако, осуществить мой план оказалось не так просто. Народу в Георгиевском зале было очень много. Муравейник целый. Лидеры же наши, то есть вожди, или вождь и его соратники, держались кучкой в стороне и конечно окруженные плотным кольцом охраны, мальчиков в синих костюмах с оранжевыми галстуками. Я поначалу Сталина и не приметил, он ведь внешностью-то и не приметен, мал ростом, с маленькой головкой, да и вроде кривобокий. Но потом все же различил его между остальными, собственно потому как остальные держались от него примерно в метровой дистанции, как бы образовывая вокруг вождя гениальное "сияние". Ну и приблизился к запретной зоне и начал обдумывать, как бы мне привлечь внимание великого вождя.

Да не тут-то было, пока я обдумывал план действий, сам вождь приметил меня. Я-то видный, за версту разглядишь, один рост чего стоит, да и плечи и вообще внешностью Бог меня одарил, не скроешь.

— Товарищ Ливанов! — окликнул он меня, приблизившись на растояние трех-пяти метров. — А ну-ка подойдите ко мне. — Я глазам своим не поверил. Да и ушам. Сталин назвал меня, да, да, меня, Ливанова. И ведь запомнил фамилию. Охрана конечно в этом случае расступилась и я оказался напротив великого кормчего, который очень просто, совсем обыденно протянул мне руку и, улыбаясь своими усами, сказал:

— Здравствуйте, товарищ Ливанов. Очень рад с вами встретиться. Как вы поживаете?

Нет, я не растерялся, как следовало бы ожидать, и в карман за словом не полез. Напротив, я сильно пожал руку вождя, может быть, даже слишком сильно, и в ответ произнес что-то вроде:

— Спасибо, живу не плохо. Много сейчас работаю, товарищ Сталин.

— Ага, это очень хорошо, товарищ Ливанов, — последовало

в ответ и Сталин спросил: — А над чем, собственно, работаете, товарищ Ливанов, если это не секрет?

Я понял, что мне представилась возможность посоветоваться с великим вождем насчет "Гамлета" и я начал с увлечением рассказывать ему о мечте моей жизни. Мне надо было заручиться поддержкой Сталина и тогда бы смета постановки не имела бы лимита, я получил бы от дирекции столько денег, сколько бы потребовалось для осуществления моего замысла. Я говорил Сталину о том, как я вижу пьесу, что собираюсь подчеркнуть в ней, что затушевать и т. д. и т.п.

Сталин слушал меня внимательно, но в глазах его я уловил что-то веселое, почти озорное, и это меня воодушевило еще больше. Я кончил вопросом:

— Иосиф Виссарионович, а что вы думаете о Шекспировском "Гамлете"?

(О, как я хотел утереть нос всем, заявив где-либо в публичном месте, что я интерпретирую "Гамлета" по подсказке товарища Сталина)

— Видите ли, товарищ, Ливанов... — начал Сталин, — я ведь не специалист по Шекспиру (он был очень скромен, наш вождь). И потом главное, я не люблю навязывать творческим людям своё мнение...

— Ну что вы, что вы, — перебил я тотчас же Сталина, — мне так важно знать ваше мнение.

— Если же вы спрашиваете моего совета, товарищ Ливанов, — сказал Сталин, — то я...пожалуй, могу его вам дать. — И почесав свой правый ус, Сталин продолжал: — Видите ли, товарищ Ливанов, насколько я понимаю, "Гамлет" Шекспира это продукт мелкобуржуазного воображения. Видите ли, идея *абстрактной* честности и *абсолютной* духовной чистоты — чужда нашему советском человеку. Чему, собственно, он научится у Гамлета? Рефлексии? Неврастении? Поэтому я и не вижу необходимости в том, чтобы вы тратили ваш огромный талант и наши деньги на этот средневековый манифест индивидуализма.

У меня в груди что-то оборвалось. После такой философско - трескучей и интеллектуально неотразимой тирады мне

оставалось лишь одно: забыть о "Гамлете" раз и навсегда. Тут я понял, что сделал непоправимый шаг и сам себя убил.

— То есть, вы считаете...—промямлил я.

— Нет, нет, — сразу перебил Сталин. — Это вам не указание. Это просто совет. Повторяю, я же не специалист по Шекспиру. И мой совет для вас, собственно, не обязателен, товарищ Ливанов. Вы же художник, а художник должен быть свободным как птица. Вы должны руководствоваться своим вдохновением.

На секунду я подумал о том, что он издевался надо мною, потому что в его глазах я по-прежнему видел что-то веселое, даже озорное.

— Вы считаете все же, — проговорил я, — что ставить Гамлета нам во МХАТ'е не нужно?

— Я партийный человек и наверное догматик, товарищ Ливанов, — сказал Сталин, — не слушайтесь меня, делайте свое дело. А критика решит, кто был прав, а кто не прав. Мы же, партийные люди, часто сухари...

И ничего не сказав больше Сталин просто отошел от меня к какой-то другой знаменитости, страстно желавшей засвидетельствовать свое почтение великому вождю.

Вот что со мной сделало мое честолюбие.

И что мне оставалось после этого? Последовать совету Сталина, то есть отказаться от "Гамлета" или же, опять же последовать совету Сталина, и пренебречь его советом, руководствуясь лишь своим вдохновением, то есть осуществить постановку "Гамлета" на сцене МХАТ'а?

Вождь очень хитро выразил свою точку зрения. Он сказал, что я художник и должен быть свободным как птица. И он сказал, что критика решит, кто был прав, а кто не прав.

Да, но я *советский* художник и я не мог рисковать, заранее зная, что я был бы в данной ситуации не прав и имел бы кучу неприятностей. Не мог же я скрыть того, что Сталин, да, да, сам Сталин высказался достаточно определенно против "Гамлета" и высказал это мне прямо в лицо.

На следующий день, во-первых, я написал заявление в дирекцию нашего театра, обосновав отказ от постановки "Гамлета", а во-вторых, я пошел вечером в ресторан, выпил 600 граммов водки ("Столичной"), покраснел как бурак, покрылся

потом как сивый мерин и, встав из-за стола, обращаясь к остальным присутствовавшим в ресторане, громко сказал, нет, закричал:

— Вы все тут ничто, а я Ливанов!

Ю. Кротков

СЕВЕРНОЕ

Ничего не слышно о сиренах
(О русалках я не говорю),
А они лежали на моренах,
Глядя на вечернюю зарю.
Зимний дивный город Копенгаген.
(Мне приснился снова Андерсен..).
Легкий ветер бродит по бумаге
И ласкает волосы сирен.
На балтийском море ходят волны
Острые, как серые ножи.
Знаешь, Петербург всегда безмолвный
Где-то здесь, поблизости, лежит.
Рыбий хвост у девушки на камне.
Каменная девушка — проста.
И как в сказке Андерсена давней
У нее безмолвные уста.

Алла Головина, 1977

Вдохновенья отлив и прилив.
Нет, не жизнь, а легенда и миф.
Я, быть может, немного пророк
Но для этого между строк
Научиться надо читать
А ведь это не всем подстать
Никому, почти не дано.

И немудрая мудрость моя
Все, что тайно пророчила я
Канет на океанское дно
Где ей камнем лежать суждено
До того, как ее найдут
До того, как ее поймут
И услышат по настоящему.

x

Нынче праздник первопрестольный,
В церкви радость и торжество
Мысли кружатся, сердцу больно —
Хоть бы броситься мне с колокольни —
До того я собой недовольна,
Не люблю себя до того!

Ясно вижу свои недостатки —
Я челнок без руля и весла,
Я играю с реальностью в прятки
Оттого то я так весела
И так много делаю зла.
Я хотела бы — если б могла —
Убежать от себя без оглядки.

Дым кадила, как в небо дорога
Уводящая в рай голубой.
Я прошу у Господа Бога,
Чтоб он сделал меня другой
И чтоб мне не встречаться с собой
Той веселой и злой
Никогда.

Ирина Одоевцева

ПОД СЕРПОМ И МОЛОТОМ

До спектакля Люба зашла в канцелярию полка 6-го дивизиона, в намерении поговорить с комиссаром о своих лекциях. В канцелярии Любе сказали, что комиссар просит ее зайти после спектакля.

Она не любила комиссара и всячески избегала каких бы то ни было встреч и ним. Маленький, тщедушный, потонувший в своей черной кожаной куртке, в неизменном галифе, обтягивающем его тоненькие кривые ножки, с отвратительным ртом, наполненным гнилыми зубами, с вечно сваливающемся с его маленького носа пенснэ, комиссар сразу производил очень неприятное впечатление. В полку-же он, вдобавок, был известен своею строгостью, почти жестокостью. Шепотом про него говорили, что он был раньше пред-чека где-то на юге, откуда его перевели за "слишком старательную работу". Глядя на него, маленького и потому жалкого, несмотря на свой крикливый голос, на вечно воинственно поднятую голову, Люба думала:

"Неужели действительно этот человек расстрелял много людей?"

Фамилия у комиссара была очень странная — Пардоне, но говорят, что он очень гордился ею и велел всем произносить на французский лад — Пардоннэ — уверяя что он по происхождению француз. На самом деле он был латыш.

В театре уже тушили огни и Люба, забрав свои вещи, пошла на квартиру комиссара. Он жил рядом с полком, в общежитии для ком-состава.

Мы печатаем отрывок из романа Анны Кашиной "Под серпом и молотом". РЕД.

Увидев на дверях надпись — "комиссар Пардоннэ" — (с ударением даже) — Люба постучала.

— Войдите!

Комиссар, уже без куртки, в простой черной рубахе, лежал на золоченом диване, так нелепо выглядевшем в небольшой комнатке казарменного типа. В другом углу комнаты стоял большой письменный стол, весь заваленный бумагами. У стен стояло несколько таких же пышных золоченных стульев, так не гармонировавших с серой, масляной окраской стен.

При виде Любы, Пардоне быстро вскочил с дивана.

— Ах, очень рад! Снимите пальто, а то жарко будет.

Люба поняла, что пятью минутами не отделаешься — будет длинный разговор — и сняла шубу.

— Может быть закусите со мной? — предложил он — Я только что заказал чай — не ел с самого утра.

Люба даже открыла рот от изумления — ей никогда бы не пришло в голову, что Пардоне, такой сухой с актерами и красноармейцами, может предложить чаю.

— Спасибо... смешалась она, не зная, как отнестись к предложению.

— Готов чай? — крикнул он в соседнюю комнату.

Оттуда тотчас-же вышла толстая хромая женщина.

— Сейчас! — ответила она с сильным латышским акцентом.

— Моя сестра! — представил ее комиссар. — Как видите, одной ноги совсем нет — отрубил белый офицер, только за то что моя сестра.

В его интонации было нечто такое, что заставило Любу тотчас же подумать "А Пардоне действительно мог расстреливать".

— Страсте! Ошень рад! — И хромая подковыляла к Любе. — Может бить ви пойдет туда чай пить? — И она показала на смежную комнату.

— Я тебе сказал, чтоб дать сюда! — Приказал комиссар безапелляционным тоном — Не слышала?

Хромая испуганно замигала глазами и быстро заковыляла вон из комнаты.

— Садитесь, пожалуйста — пригласил он Любу и сел сам — сейчас будет чай.

Люба села.

— Да, вот ей ногу изуродовали, брата просто убили, а племянницу четырнадцати лет изнасиловали... продолжал он. Теперь все это наследие расправы над моей семьей живет со мной. И сестра хромая и две племянницы — дочери покойного брата.

Люба молчала — что ответишь на это? Сказать сочувственным тоном "ужасно" ей показалось нелепо.

Хромая внесла на подносе чай. Ей, видимо, очень хотелось остаться, посидеть с ними вместе, за чаем, но Пардоне коротко приказал:

— Можешь итти спать!

Жалко улыбаясь, она простилась с Любой и вышла.

— Вот когда нас по ту сторону фронта обвиняют в жестокости, то забывают, что эту жестокость они сами породили в нас... начал снова Пардоне.

— Может быть... неопределенно ответила Люба. Ей хотелось очень много возразить ему, но она предпочла молчать.

Комиссар переменил разговор:

— Ваше отношение к советской власти? — Пардоне вдруг острыми инквизиторскими глазами впился в лицо Любы. Она подумала: "А ведь безусловно он мог беспощадно расстреливать!". И от этой мысли ей сделалось сразу жарко и душно.

— Мое отношение?

— Да!

— Да ведь служу у вас, разве этого не достаточно?

— Что служба! А ваши убеждения?

— Как видите, вполне лояльна... увиливая ответила Люба — не рассказывать же этому человеку всей массы ее разноречивых мыслей.

— Лояльная? — Хмыкнул комиссар — Это еще не говорит об убеждениях!

Любе вдруг неудержимо захотелось сказать ему дерзость.

— Ну да, лояльная! — И она чуть повысила тон — Но я не в партии и, значит, не вполне согласна. Ведь, кажется, ясно?

— Ах, значит, критикуете нас? — Неприятно улыбаясь спросил он, и на его лице появилось выражение удовольствия.

— Раз не согласна — значит критикую. — Снова увильнула Люба от прямого ответа.

— А что же, например, критикуете?

— Многое...

— Ах, даже многое? Ну, а что же главным образом?

— А, например, ваш тон розговора со мной! — Резко ответила она. — Как вы смеете брать такой тон, как будто я уже совершила какое-то преступление? Если вы не хотите, чтоб я читала эти лекции — запретите! Вот и все. Но не устраивайте мне инквизиторский допрос. Ведь у меня сейчас такое чувство, что вы собираетесь засадить меня в чека. Такой образ действий я не критикую, а порицаю, протестую против него! — У Любы пылали щеки, а в голове мелькнуло: "Ну, прощай паек, выгонят из полка, а то еше, чего доброго, и арестуют!" Но возмущение, против ее воли выкрикивало эти дерзкие слова.

И вдруг, неожиданно для Любы, комиссар залился мелким продолжительным смехом. Он долго не мог остановить его, трясясь всем своим тщедушным телом.

Люба растерянно смотрела на него. Наконец она встала с места.

— Может быть мне лучше всего уйти?

— Нет, нет, останьтесь... все еще сквозь смех ответил он — Останьтесь, пожалуйста! Этакое удовольствие вас слушать!

— Простите, товарищ комиссар — обиделась Люба — но вы, кажется, забыли, зачем я сюда пришла. Меня привело дело, а не желание доставлять вам удовольствие. — Горячилась она все больше и больше. — Скажите мне просто, что вы не хотите, чтоб я читала лекции, а не разводите какие-то садистические сцены, — выпалила Люба, чувствуя, что уже ничто на свете не помешает ей сказать всю последнюю правду этому отвратительному человечишке.

— Ай молодец! Вот-то молодец! — Воскликнул комиссар, заливаясь снова безудержным смехом.

— Я ухожу! — И Люба дрожащими от волнения пальцами стала натягивать на голову шапку.

Комиссар моментально перестал хохотать.

— А я не пущу! — Строго и серьезно сказал он, тоже вставая.

— Почему? — И голос Любы дрогнул.

— Потому что чай свой не выпили, — не меняя тона ответил он.

— Я не хочу вашего чаю! Мне пора домой.

— А я, как комиссар, приказываю выпить!

— Перестаньте дурачиться! Мне не до шуток! — Оборвала его Люба, немного сбитая с толку.

— А мне как раз "до шуток". — И он снова засмеялся. — Ну, душечка, сядьте пожалуйста. Выпейте ваш чай! — Вдруг попросил он почти умоляющим тоном.

— Перестаньте, право, паясничать! Что вам от меня надо?

— Да ничего, ровно ничего. Доставьте мне удовольствие — выпейте ваш чай. Ведь по вашим интеллигентским убеждениям нельзя отказываться, раз хозяин так просит вас?

— Да, но по моим интеллигентским убеждениям, как вы выражаетесь, — ни одна женщина не позволит так с собой разговаривать, как вы разговариваете со мной! — Сказала Люба.

— Ай, ай, какая прелесть! — И комиссар снова залился неудержимым смехом.

— Да что вы, пьяны, что-ли? — Люба почувствовала себя окончательно сбитой с толку.

— Пьян, честное слово пьян! От вашей девственности опьянел.

— Послушайте, мне действительно лучше уйти. А то вы совсем сбились с тона и уж о какой-то девственности начинаете говорить. — И Люба круто повернулась к двери.

— Ну умоляю вас — не уходите! — Комиссар схватил ее за руку. — Я не о той девственности говорю, про какую вы поняли. Я про девственность ваших взглядов. Хотя, держу пари, что и в том смысле вы вполне девственны.

— Послушайте, прекратим этот безобразный разговор!

— Прекратим, прекратим — поспешно согласился Пардоне — Но этого вечера я не забуду: — в нашей-то обстановке такой экземпляр, как вы, встретить. Право, не ожидал, что есть еще такие женщины. Ну, выпейте пожалуйста ваш чай. — И он тихо потянул Любу за рукав к столу. — Ну, я очень, очень, прошу вас — почти умоляющим тоном повторил он.

"Он кажется просто сумасшедший — решила про себя Люба — лучше не спорить с ним и выпить его чай, а то он, того и гляди, расплачется".

— Сядьте же, душечка, просил комиссар — ну, пожалуйста! Я вас, так и быть, отвезу домой на лошади. Верьте, что ни одну женщину, за все время революции не отвозил на казенной лошади. А вас, вне всяких правил, отвезу. Знаю, что вы очень устали...

Люба села, плохо отдавая себе отчет во всем происходящем.

"Что ему от меня нужно?" — Спрашивала она себя растерянно.

Комиссар налил ей чай: он имел жалкий пришибленный вид.

— Можно положить сахар в чай? — Спросил он, заглядывая ей в глаза.

— Положите. — Ответила Люба. Ей стало вновь не по себе от этой перемены в настроении Пардоне.

— Ведь вы не сердитесь на меня, душечка? — Снова заглядывая ей в глаза, кротко спросил он.

— Нет, не сержусь. Только право, я не понимаю, что у вас за цель разыгрывать со мной какие-то психологические эксперименты... — холодно ответила Люба, почти давясь непривычным чаем в накладку.

— А если я не могу без этих "экспериментов"? Если меня самого изломали, исковеркали всего насквозь? Все чистое, все гордое, что мне попадается на пути, мне страстно хочется изничтожить, потому что я знаю, что мне самому навсегда закрыт к нему доступ! Если я и сам понимаю, что я калека, изуродованный навсегда? — Вдруг истерически взвизгнул он. — Если бы только вы знали, какие мне снятся сны! — Вскрикнул он и отвернулся от света, добавив: — Нет, вы не можете понять этого!

Любе показалось что Пардоне беззвучно плакал.

Воцарилась длинная мучительная пауза. Любе на минуту стало даже жалко комиссара, но жалость ее была в то же время полна отвращения к нему.

Наконец он встал. Одернув рубаху, он вышел из комнаты, так и не повернув лицо к свету.

"Господи, хоть бы домой поскорей!" — Подумала Люба, оставшись одна.

Через несколько минут Пардоне вернулся. Он имел свой обычный вид.

— Ну-с едемте! Лошадь сейчас подадут! — Неестественно весело объявил он.

Люба встала и взялась за свою шубу. Комиссар предупредительно помог ей одеться. Люба молчала.

У ворот их уже ждали сани. Пардоне вежливо подсадил Любу. На ухабах заботливо поддерживал ее за талию. Оба молчали.

Только подъежая уже к дому Любы, он наконец нарушил молчание. Своими словами он очевидно заключал свои мысли за всю дорогу.

— Да, вот как все вышло... начал он задумчиво. — А вы знаете, зачем я вас к себе пригласил? Представьте себе, что вы мне давно и очень сильно нравились и мне захотелось узнать вас поближе, побеседовать с вами, как говорится "по душам", расположить вас к себе. Ведь я отлично видел, что вы собой представляете. Знаете, я даже в тайниках души мечтал, что между нами может выйти нечто серьезное! Я про вас ведь все знаю — и про университет, и про ваше положение в труппе. Ведь вас все уважают за чистоту, хоть и подсмеиваются над вами. А я тоже когда-то не без пылкости Ницше читал и о сверх-человеке размышлял. А вона что вышло из душевной беседы!... и Пардоне помолчал с минуту. — Вы уж простите меня... начал он снова. Но, верьте, что мне больней вашего. Ведь сегодняшнее фиаско — мой смертный приговор: — безнадежно искалечен. Когда вам будут рассказывать о палачах и расстрельщиках, то скажите тем людям, что мы, расстреливая других, себя тоже расстреляли. И нам куда тяжелее — нам еще жить надо! Умершим легче — они по крайней мере не видят снов. Раз в яму свалены и зарыты. А за нами эта страшная яма двадцать четыре часа в сутки, как привидение, ходит...

— Вот здесь мой дом! — Тихо прервала его Люба. — Он казался ей все более жалким и более противным.

— Подождите меня! — бросил Пардоне кучеру красноармейцу, вылезая из саней, и поворачиваясь снова к Любе, добавил: — Я уж вас до самого дома доведу.

По узкой дорожке, протоптанной между высокими снежными сугробами, Люба и Пардоне молча подошли к особняку.

— Вы не сердитесь на меня? — И Пардоне вдруг судорожно схватил Любину руку.

Она посмотрела на него. Он показался ей еще более маленьким и еще более тщедушным в сиянии ярких торжественных звезд на вымороженном зимнем небе, просто какая-то гадкая, отвратительная на вид гусеница.

"Тоже, сверх-человек! — Насмешливо промелькнуло у нее в голове.

— Нет, не сержусь —ответила Люба просто. В конце концов он был безразличен ей.

— Не сердитесь, умоляю вас! Мне будет больно это чувствовать... жалобно пробормотал он и смолк, взглянув на небо, на которое смотрела Люба.

— До свиданья! — Сказала она и протянула руку. — Ей хотелось поскорей от него отделаться.

— Прощайте... печально ответил он. — Прощайте и простите палача, который больше всего мучит себя самого! — Пардоне становился все более и более сентиментальным. — Вот пожимаю вашу руку — продолжал он— и навсегда прощаюсь с последней надеждой сделаться нормальным человеком ... закончил он.

— Ну, еще раз до свиданья. — И Люба нажала кнопку звонка — они уже стояли перед дверью ее дома.

— Прощайте!

Пардоне круто повернулся и, с высоко поднятой головой, зашагал обратно по узкой тропинке. Он казался маленьким злым гномом, идущим свершать какое-то гнусное дело.

Люба задумчиво смотрела ему вслед.

"Нет, это просто гадкая жадная гусеница, из которой еще выйдет злая, вредная и отвратительная на вид бабочка... А еще говорит о Ницше, о сверх-человеке! Зачем только таким людям дан интеллект".

Уже совсем засыпая, она подумала о Володе.

"Надо позвонить ему завтра утром!.."

После лекции к ней подошел Казанцев.

— Я к вам, товарищ Галина! Комиссар просил меня очень, очень вам кланяться и поблагодарить вас за что-то. — Говоря это Казанцев улыбнулся какой-то неприятной улыбочкой — Да вот

еще записочку просил передать! — И он протянул ей конверт.

Люба вспомнила о вчерашнем свидании с комиссаром. Ей очень не понравилась улыбка Казанцева.

— Почему Пардоне просил мне кланяться? — Спросила она строго, не беря записки из рук Казанцева.

— А их перевели сегодня из нашего полку не то на юг куда-то, не то в Сибирь... ответил он. — А что уж в записочке они вам пишут — этого никак не могу знать, потому они даже печать приложили, чтоб я не прочел! Верно, уж очень ба-альшой секрет! — Добавил он ехидно.

— У меня нет никаких секретов с комиссаром! — резко оборвала его Люба. — Вскройте письмо и прочтите, что он пишет!

Казанцев растерянно и глупо посмотрел на Любу.

— Ну, вскройте-же письмо! — Почти приказала она.

Казанцев розорвал конверт.

"Из Ницше" — прочитал он по складам: — "И пустой орех хочет быть раздавленным". Еду себя додавливать. Прощайте еще раз, чистое существо. Простите меня. Пардоне".

Непонимающими тупыми глазами Казанцев уставился на Любу.

— Теперь вы видите, Казанцев, что вы совсем напрасно скверно улыбались! — поучительном тоном сказала Люба и, круто повернувшись, вышла из зала. Казанцев так и остался на месте, с письмом в руках.

Володя ошеломил Любу новостью: — послезавтра вечером он уезжает на Мурман!

Почему? Как? Что?

Оказалось: — один приятель Володи, тоже инженер, устроил ему эту фиктивную командировку. С Мурмана можно будет привезти рыбы, английских консервов — там осталось много заграничных товаров после английской оккупации Архангельска — а главное, посмотреть на северное сияние!

Володя был очень возбужден предстоящей поездкой.

— Счастливец вы!.. вздохнула Люба, слушая его. — Хоть бы мне куда съездить! Возьмите меня с собой, Володя.

— Ну, как-же я могу вас взять, Любаша? Ведь у вас же нет командировочных бумаг! — растерялся Володя.

— Да нет, я пошутила... ответила Люба с улыбкой, подавляя тяжелый вздох. — И надолго едете, Володя?

— Вероятно, недели на две. Да ведь при теперешних условиях никогда не знаешь — сколько проездишь.

— Значит послезавтра вечером?... И Люба вздохнула, но тотчас спохватилась. — Ну, приду вас проводить! Принесу вам подорожников!

— Приходите, Любаша. А подорожники ваши, если это знаменитые пироги с луком, я с удовольствием съем!

— Может быть сейчас хотите. — Сквозь грусть улыбнулась Люба. — У меня еще целых два пирога в мешке лежат.

— Нет, сейчас это неудобно! Ведь сейчас вы у меня в гостях. Ну, давайте, Любаша, чай пить, а после я пойду вас проводить. Погуляем вместе под звездами!

— Вот хорошо! — обрадовалась Люба. Она больше всего на свете любила такие вечерние прогулки с Володей по пустынным петербургским улицам, так всегда хорошо говорилось во время этих прогулок. "Как будто душа ванну принимает" — раз смеясь определила Люба.

Выпив наспех чай они вышли.

Володя по-кавалерски хотел взять тяжелый мешок Любы, но она не дала. "Володя скоро устанет, неся мешок, и мы будем меньше гулять" — подумала она.

— Куда пойдем, Володя? — Спросила Люба, когда они вышли на набережную.

— Сначала через Николаевский мост, потом по Английской набережной и дальше до Летнего сада... назначил Володя.

— Берите меня под руку, Володя, как это вы всегда делаете — тогда сразу настоящее настроение будет! — попросила она.

— Да не торопитесь вы, торопыга! — упрекнул ее Володя, беря тем не менее ее под руку — И всегда-то вам все поскорей хочется!

— А почему, Володя, нельзя сделать поскорей то, что можно? — слабо возразила Люба. Она всегда немного робела с Володей и теряла половину своей уверенности.

— Да потому, Любаша, что ничего нельзя сделать, когда только "хочется", а все приходит само собой. — Ответил Володя тоном старшего.

Любе не хотелось возражать -- поднимать ненужный сейчас спор. Прошли некоторое время молча.

Посредине Николаевского моста Володя остановился.

-- Постоим здесь немного, Любаша. Посмотрите, какая изумительная ночь! Даже как-то не очень холодно.

Володя задумчиво смотрел на ровную поверхность Невы, расстилавшуюся под мостом. -- Безмолвная, ровная мертвая пустыня. Белый, белый, снег, спокойный и мудрый, не живя умерший, такой непрочный — дохни и нет его, но такой, как ничто на свете говорящий о вечности, этот снег прикрывал замерзшую реку своим саваном.

Спала под его чарами скованная Нева, спали улицы, здания, дома, вымороженные дворцы, обывательские квартиры, в углах которых намерзал лед.

Все спало.

-- Володя... прошептала Люба.

Володя молчал, смотря под мост.

-- Володя... повторила Люба.

-- Что, Любаша? -- Видимо, он неохотно оторвался от своих мыслей.

-- Володя, как печально все на земле и, посмотрите, как весело на небе!

Володя невольно улыбнулся ее замечанию. Его милые глаза так ласково блеснули.

-- Ишь вы какая! У вас небо веселится. — И он тихо засмеялся.

Они прошли несколько шагов.

-- А по-моему на небе грусть еще больше, чем на земле... продолжал он. Только там она не маленькая, не суетная, а большая, торжественная... Там даже не грусть, а настоящее страдание...

-- Володя, неужели и там страдание? — задумчиво спросила Люба и снова посмотрела на небо. И вдруг от слов Володи, звезды-хохотушки превратились для нее в торжественные похоронные факелы.

-- А страданье, Любаша, и есть самое значительное в жизни... сказал Володя.

— Володя, неужели это и вправду так? — с сомнением спросила Люба.

— Так, Любаша. Поживете побольше — сами убедитесь. Вы ещё бутон, где вам знать это. — И, сняв перчатку, он с нежностью погладил Любу по розовой, холодной от морозу, щеке. — Вон у вас даже на щеках распустились настоящие розы, Любаша. — И повинуясь неудержимому желанию Володя поцеловал ее в щеку. — Ох, как хорошо вы пахнете морозом! — воскликнул он.

Люба слегка смешалась от его неожиданой ласки. Чтоб подавить смущение, она сказала:

— Смотрите, Володя, как пароходная пристань вросла в лед. Не успели увезти ее, она и примерзла. Помните, как летом мы ждали на ней пароходики, которые ходят на острова?

Володя ничего не ответил. Они прошли еще несколько шагов по набережной.

— Да, вот эта набережная, эта пристань, пароходики по Неве.. Боже мой, до чего все эти вещи неотделимы от меня, приросли ко мне.. вдруг тихо и задумчиво произнес он.

— А я приросла к вам, Володя? — полу-шутя, полу-серьезно спросила Люба.

— Конечно, Любаша. Но... но не так, как вы думаете. — Совсем серьезно ответил он.

Люба инстинктом почувствовала, что этого разговора лучше не продолжать. Но в то же время ей так страстно хотелось спросить Володю о многом, об очень многом. Но она сдержалась.

Опять пошли молча. Только, как бы извиняясь за свои слова, Володя крепче прижал к себе Любину руку.

"Но ведь и так, как сейчас, тоже хорошо? Разве не хорошо?" не то спрашивала, не то убеждала себя Люба, шагая. А внутри ее что-то заныло тоскливо. Что-то безотчетное, неопределимое, но ужасно настойчивое.

Город был совершенно беззвучен. Любе казалось, что они были единственными живыми существами по эту и ту сторону торжественной Невы.

— Володя, а почему вы думаете, что страдание и есть самое

значительное, что нам дано? — спросила она, чтоб побороть свои мысли.

— Потому, Любаша, что страдание — самая большая и самая одухотворенная реальность. — Ответил задумчиво Володя. — Я, между прочим, недавно нашел эту-же мысль у Шопенгауера и страшно обрадовался ей, как моей старой знакомой.

— А почему же не радость, Володя?

— Потому что во всякой радости есть нечто животное. Возьмите пример — наиболее интенсивное чувство радости мы испытываем во время полового акта. А ведь после него нам всегда немного противно и чего-то стыдно.

— Но, Володя, ведь совсем не всегда после вспышки радости бывает противно! — возразила Люба — И вот вам мой пример — наибольшее чувство радости я испытываю, когда бываю на природе и мне никогда после не бывает противно. Наоборот — так тихо, тихо на душе, как будто чистый ручей журчит во мху.

— А вы не думаете, Любаша, что такое созерцание природы, о котором вы сейчас говорите, скорее страдание, чем радость?..

— Нет, не думаю. Ведь в эти минуты на душе бывает тихо, спокойно, почти беззвучно... А страдание, по-моему всегда с какими-то режущими, раздирающими звуками.

— Дитя, да ведь настоящее страдание всегда тихое, почти немое. Ведь могила не устраивает истерик... пошутил Володя.

— Вот вы всегда кончаете тем, что смеетесь надо мной! шутливо обиделась Люба. — А знаете что я предлагаю — давайте остановимся вот здесь, у Летнего сада и съедим по пирогу. Обстановка для аппетита самая замечательная!

— Ах вы философ с луковыми пирогами!— махнул рукою тоже развеселившийся Володя. — Ну давайте есть ваши пироги — ничего с вами не поделать. Люба повернула к нему спину, на которой, как страшный горб, торчал мешок.

— Выньте их, Володя. Они сверху в бумажке лежат.

Володя вынул пироги и они принялись их жевать.

— Вкусные пироги, Любаша... сказал Володя, кончив есть. — А теперь, я думаю, нам пора распроститься.

— Да, Володя... печально откликнулась Люба. — Мне надо

завтра очень рано встать: — утром репетиция, вечером спектакль... вернулась ее мысль к жизненному колесу.

— Постоим еще минуточку и затем простимся...

Некоторое время они постояли молча у самых перил набережной, над ровным белым пространством Невы.

— Володя, а вы меня не забудете за поездку? ... тихо спросила Люба. Колесо ввернуло в ее сознание все жизненные факты — Володин отъезд тоже.

— Я вас никогда не забуду, Любаша... так же тихо ответил он.

— Володя!... еще тише сказала она — Володя, а почему вы не женитесь на мне? Так бы хорошо было, мы жили вместе...

Володя нахмурился. После паузы он сказал:

— У Пушкина есть строчки: "В одну телегу впречь неможно коня и трепетную лань" — Так вот и мы с вами, Любаша.

— Но ведь нам так хорошо, когда мы вместе, Володя?

— Да, Любаша, теперь хорошо. А если будем всегда вместе, то вам будет нехорошо. И мы испортим все хорошее, что есть между нами... Не будем лучше никогда говорить об этом!

— Не будем, Володя... просто ответила Люба. И вдруг ей самой показался нелепым собственный вопрос. Действительно, зачем жениться, раз и без этого так хорошо?

— Теперь уже пора расходиться, Володя, — сказала она, подставляя ему щеку для поцелуя. Он нежно, дружески поцеловал ее.

Каждый пошел в свою сторону, унося в своей душе частицу другого и радостно ее ощущая.

Анна Кашина

ПАНЕГИРИК ШАРЛОТТЕ КОРДЕ

У Шарлотты Корде
Честь проверят в суде.
Только дудки: Шарлотта-девица.
Идеальная суть,
Непорочная грудь,
И тверда и бесстрашна десница.

Пусть шумит воронье,
Наплевать на вранье:
Нет наемников, не было бунта.
И финансовый кит
Под фамилией Питт
Не платил ей презренные фунты.

А была только боль,
Что терзала, как соль.
И была только страстная вера,
Как паршивый баран,
Был зарезан тиран,
Повалился в зловонную серу.

О, красавец Париж,
Ты цветами горишь.
Ты теперь и терпим и свободен.
Дух Шарлотты Корде,
Что живет на звезде,
Твоим хижинам нынче угоден.

Если новый Марат
Будет сеять разврат
И науськивать брата на брата,
То во имя Христа
И Корде, что чиста,
О весталки, убейте Марата!

Вл. Нестеровский

Автор этого стихотворения живёт в СССР. Мы печатаем его без ведома автора. РЕД.

МИНОМЕТЧИКИ

"ШПИОНСКОЕ ГНЕЗДО"

Проснулись не рано: часов в восемь немецкий солдат принес чайник с кофе, две порции хлеба, маргарин и повидло на блюдцах. Не спеша поели, еще повалялись на койках: куда торопиться? Чувствовали себя, как на отдыхе.

На дворе солнце, скоро стало жарко. Тихо, изредка гуднет паровоз на недалекой станции, донесется откуда-то из-за чащи обрывок разговора. Будто и войны нет, так тут мирно и хорошо. У задней стены избушки обнаружили большую кадку с дождевой водой, сняли сверху нападавшие туда листья и с удовольствием помылись, первый раз за многие дни.

Время тянулось медленно. Сожитель попался неразговорчивый, слова не вытянешь. Наверно осторожничал, да и вряд ли полагается здесь распускать язык: школа разведки, шпионское гнездо.

Ротмистр подтвердил. Он пришел перед обедом, похоже, скуки ради: наверно некуда девать время. Осведомился, как себя чувствуем, опять сказал, что завтра-послезавтра перейдем, где все помещаются, — а потом говорил, что тут у них не полагается ни о себе слишком распространяться, ни о других расспрашивать. Всегда лучше знать поменьше, — напомнил он о старом конспиративном правиле, о котором я знал с юношеских лет.

Сожитель был из Моздока, какой-то служащий оттуда.

Продолжение. См. книги 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126 и 127 Н.Ж.

Подумалось: немцы идут к Кавказу, ротмистр и подобрал местного жителя, наверно для засылки туда. Идут они и к Волге, — может надеется, что меня забросят на Волгу, в Сталинград? Как-нибудь обойдутся без меня, я туда никак не собираюсь.

Вокруг избушки густой кустарник, высокие деревья. В чащу кустарника уходит тропка, — шагов через двадцать упираешься в закрытую калитку. Невысокий забор сплошь увит плющом, невпрогляд. Там где-то бараки, откуда мы пришли. За зеленью ничего не разглядишь. Да нечего и разглядывать: рядом Варшава, а тут пригородные, дачные места, приезжали отдыхать. У нас тоже передышка, можно загорать. Дряблому телу сильное солнце наверно плохо, но тут и тени много. Разделись, легли на мягкую шелковистую траву. При желании можно поразмышлять о превратностях судьбы. В самом деле, кто бы подумал, что вот, в плену, окажемся в такой роскошной лесной "даче"? У кого это, кажется у Пильняка, есть рассказ "Лесная дача"?

"Превратности судьбы". Забавно: в моей жизни уже были такие лесные избушки. И по-разному. Перед весной 30-го года пришел я с обозом в Чибью, из Устьсысольска. Небольшие зырянские лошади слабосильны, поклажи на санях всего пудов десять, но тянут лошадки исправно, без передышки, надо за ними поспевать. Возчики тоже шли, на возы не садились — и мне садиться не резон, никто и не предлагал. Шли по тракту Усть-Вымь — Ухта, он только строился, до Княжпогоста еще не дотянули — и в лагерных командировках по тракту был тиф, в них не пускали. Возчики торопились поскорее пройти тракт, но они были привычны к ходьбе, а я прямо с гиблого лесозаготовительного пункта. И вечером, на привале, я лежал пластом, не хотелось даже есть.

Наконец, через две недели, со льда Ухты, по которой шел тут санный путь, увидели далеко впереди на приподнятом берегу старую нефтяную вышку и несколько рубленых изб — Чибью, база Ухтинской экспедиции ОГПУ. Поднялись наверх, подбежал дежурный, меня повел в санчасть: в малую избушку на берегу. Вышел врач, с красивой "ассирийской" ухоженной бородой. Несмотря на Ассирию, сразу узнал: это ж Павлов, с Соловков! Он был одного набора с нами, с молодежью,

посаженной в середине 20-х годов, чтобы не вздумали часом создавать революционные кружки, как повелось прежде на Руси. Для острастки и нас, и другой молодежи. Но Павлов был немного старше: почти все мы не дотягивали и до двадцати, а он двадцать уже перешагнул и был на последнем курсе медицинского факультета, в Тифлисе. Последний курс для Соловков — почти полный врач, так и попал он на Ухту начальником Санчасти.

Поахали, где встретиться пришлось, он похлопотал, чтобы принесли мне поесть, за две недели ел я суп первый раз, а тем временем решалась моя судьба: хоть назад меня отправляй! Из Москвы пришло строгое распоряжение: всех приходящих с тракта держать в карантине две недели, — но в экспедиции не было и чулана лишнего, где я мог бы эти две недели пробыть, изолированный от всех. Выход нашелся чудом, неожиданный для всех, тем более для меня: километрах в трех выше по Ухте на высоком берегу стояла охотничья избушка, — в ней, решили, и будет мой карантин. Выдали продукты, сухим пайком, топор, пилу, фонарь Летучую мышь, — возчики уже рассчитались и отправлялись назад, они захватили мой багаж и оставили его на снегу против избушки. Морозы стояли еще градусов на 40, а избушка топилась по черному, но я настрополился топить ее и было достаточно тепло.

Эти две недели на берегу Ухты, в охотничьей избушке, были пожалуй самыми блаженными за все концлагерные годы...

Еще через год с лишним мы, вдвоем, бежали из лагеря с Печоры, на восток, через Урал. Горы там необитаемы, ни дорог, ни тропок; у меня был компас и паршивенькая карта, вырванная из школьного учебника географии, — шли по компасу напрямик. Когда-то через горы был в этих местах зимник, его прокладывали охотники и оленеводы, но олени теперь в колхозах, колхозы работают по планам, — в них зимнику места не осталось. Иногда, в горах, нам казалось, что вот, в этой прямой долине зимник наверно и проходил, там, где шли мы, прямиком через болота, горные речки, горы и долины, как показывал компас.

Спустились однажды в долину, по ней текла река, как будто уже на восток: середину гор наверно мы уже перевалили. Искали, где легче перебраться через реку. Как все горные реки, она бур-

лила, грозила сбить, если в нее войдешь. И вдруг на другом берегу, как в сказке, среди деревьев увидели избушку! Кто мог ее тут поставить? Охотник? Или обозники, шедшие по зимнику? Выждали порядочное время, тревожно наблюдая, нет ли в избушке людей. Потом перебрались через реку, подошли: избушка пуста. И выглядела так, что в нее давно никто не заглядывал.

В таких охотничьих избушках, на севере, было принято, последнему, кто в ней был, оставить у камелька немного сухих дров, на распалку, спички, соли в баночке, муки или крупы в туесе, сала, если есть, — на случай, если забредет какой заблудившийся путник или охотник, чтобы мог быстро разжечь камелек, обогреться, приготовить поесть, горячего. Но обычай этот человеческий после революции скоро вывелся и в избушке ничего не было, даже дров.

Посидели несколько минут молча на нарах, поднялись, вышли, взглянули на компас и двинулись дальше, глубоко вдыхая колючий горный воздух свободы...

Чего не было в жизни! И сколько такого, что оно и ни к чему. Теперь еще одна избушка, третья, — тоже ни к чему, неприметный полустанок. Но хорошие у меня с ними связаны воспоминания. Да, сколько уже было! А что будет еще? И будет ли? Но кто же скажет. Авось будет...

Два дня промелькнули мигом, — а в память вошли навсегда. На третий перед обедом за нами пришел ротмистр. Вышли в калитку, в густой кустарник, за ним несколько бараков; ротмистр сдал моздокского спутника вышедшему из барака дежурному, меня повел дальше. Вышли из ворот, мимо часового без винтовки, в странной, еще невиданной мной военной форме, в узкий проулок. С обеих сторон в него через ограду спускались тяжелые ветви деревьев и в проулке было почти темно. Прошли метров полтораста к видневшемуся вдалеке просвету наверно широкой улицы, не дойдя остановились тоже у ворот, теперь с другой стороны, справа. Здесь тоже стоял часовой в такой же форме, с русопятым лицом, он услужливо открыл калитку.

За ней широкая дорога-аллея. Не прошли и полсотни шагов, как сбоку выскочил дежурный, в той же форме. Ротмистр отрывисто буркнул, кивнув на меня:

— Одеть!

Пошли с дежурным в сторону, по узкой тропке. За кустами показался небольшой барак с открытой дверью. Вошли, — это была каптерка, вещевой склад. И тут солдат в той же форме. Он смерил меня привычным взглядом и пошел к полке искать одежду. Белье оказалось наше, красноармейское, из кремоватой, жесткой бязи. Штаны широкие, вроде галифе, а внизу обтягивают ноги, как для обмоток. И куртка просторная. Все из толстого зеленого сукна, новое. Такая же пилотка. Позже узнал, что это форма французской пехоты. Что же, немцы до того, как взяли богатую добычу в наших западных областях, набитые под крышу интендантские склады, захватили склады чешские, французские, бельгийские, — они легко могут одеть хоть десять миллионов наших пленных.

Получил и добротные новые солдатские ботинки, — теперь они показались немного тяжелыми.

Каптер сгреб снятое мною барахло, засунул небрежно в мешок, спросил:

— Как фамилия? — Дежурный не дал мне ответить:

— Позже скажу, как записать...

Я вышел на крыльцо, нагнулся, чтобы замотать обмотки, но дежурный прервал:

— Потом. Сейчас пойдем, покажу ваше место...

Почти рядом со складом, направо, в одну линию еще три стандартных немецких военных барака, дальше, "глаголем" налево, еще один. В нем, как узнал позже, кухня, хлеборезка и комнатка для хозяйственника. Перед бараком ровная утоптанная площадка, на ней наверно выстраиваются курсанты. Дежурный провел в самый дальний барак. Открыл дверь в угловую просторную "штубу", комнату. По обеим сторонам "клетки" коек, у нас называли их вагонными: две внизу, две наверху. В середине длинный некрашеный стол, такие же скамьи по бокам. На столе — большие алюминиевые жбаны, наверно с водой, — тотчас же вспомнились схожие в Соловках, монастырские. Но те были медные или латунные, они долго держали кипяток горячим. Дежурный показал на последнюю койку в углу:

— Занимайте эту, она свободная, — и ушел.

Серое солдатское одеяло, наверно как во всех армиях мира, соломенный тюфяк, такая же подушка. Простыня, пододеяльник

и наволочка на подушке не первой свежести, — но они есть! В Прохладном не было и таких, как и тюфяка, не часто они бывали у нас и в лагерях. Над головой полочка, между койками в изголовье тумбочка-шкафчик на двоих — просто роскошно.

Пока я рассматривал и не спеша располагался, на дворе послышался топот, шум, дверь распахнулась, — в комнату ввалилось десятка два молодых ребят, в такой же форме, что выдали мне. Поднялся гомон, крики, хохот, — они говорили, что публика с удовольствием вернулась "домой".

Сосед с нижней койки напротив внимательно посмотрел на меня, спросил:

— Новый? Сейчас за обедом пойдем. Как у вас с котелком? Здесь немец на кухне дурашный, все смотрит, чтобы котелки у всех блестели.

Еще забота. Впрочем, в Холме немцы тоже изредка придирались, заставляли надраивать котелки до блеска. Я вчера в избушке почистил, думаю, сойдет.

Пришел староста комнаты:

— Новый, Ильин? — увидев недоумение на моем лице, махнул рукой: — Все равно. Как у вас с посудой? Котелок есть? С крышкой?

— Нет, без.

— Тогда возьмите крышку у меня, для второго блюда, потом вернете.

Скажите пожалуйста, тут даже второе блюдо дают! Получил у старосты крышку. Почему, спрашивается, он меня Ильиным назвал? Может, без меня меня женили, такую фамилию мне дали?

По команде старосты вышли, вытянулись в очередь перед кухней, где уже открыли окно для выдачи пищи. Из кухни вышел ротмистр. Оглядел очередь, заметил меня, подошел, отвел на минуту в сторону:

— Забыл сказать, у нас вы будете Ильиным, у нас здесь все не под своими фамилиями. А имя сами себе придумайте.

— Сергей подойдет? — вспомнил я о своем дяде, как и о конспиративном правиле: фамилию и имя брать такие, какие хорошо можно запомнить по своим знакомым или даже родственникам. Дядя еще в гражданскую войну пропал без вести, о

нем при случае не вспомнят. Ротмистр кивнул: — Сойдет, — и привел в очередь на прежнее место. Глаз у него зоркий, заметил, откуда меня извлек.

С котелком обошлось: кухонный немец отнесся благосклонно. На первое довольно жиденький супчик, на второе, в крышку, получил гуляш, с картошкой и подливкой. Обед ничего, не плох, но отощавший желудок насытить на мог. С неудовольствием подумал, когда-то дойду до состояния, чтобы не ощущать голода. Много времени наверно для этого понадобится...

Обедали в "штубе", за длинным столом. Некоторые разместились на своих койках. Обедая, приглядывался к лицам. Разные, все они будто по одной мерке и одному фасону. Сплошь молодежь, вряд ли хоть один за тридцать. И по говору, жестам, ухваткам — все не выше семилетки, может, один какой восьмилетку одолел. Не видно ни одного повыше чином, чтобы хоть на капитана потянул: сплошь лейтенантики. Тут наверно низовых разведчиков натаскивают, повыше находятся где-нибудь в других местах.

Вскоре после обеда, только успели котелки в коридорчике сполоснуть, команда:

— Выходи на занятия! — Мне перед этим староста сказал, чтобы оставался: на занятия пойду с завтрашнего утра.

Быстро построились перед бараком и ровным строем, чеканя шаг, пошли по аллее к выходу. Решил оглядеться, где мы. За нашим последним бараком широкая дорожка уходила дальше в парк или сад, — тут он был не такой густой, как там, где мы жили в избушке. Деревья редкие, легко видно, что весь наш большой участок окружает деревянный забор, чуть выше человеческого роста. Позже узнал, что за забором изредка проходит немецкий патруль, этак раз в полчаса, а постоянной охраны нет.

Побродил между деревьями, тщетно решая занимавший меня вопрос: почему все-таки надо было нас держать сначала в избушке? В бараке нет никаких следов перестройки или перетасовки, из-за которых нас нельзя было бы сразу поместить туда. По-видимому, ответ может быть только один: в бараке был кто-то, кому меня показывать не хотели. Сегодня утром его отправили — и меня привели на его место. Следовательно, рот-

мистр соврал, что у него есть "самые разные занятия": он хочет сделать меня разведчиком и послать туда, куда посылают они отправленного сегодня человека, который не должен меня знать. Надо видно ухо с этим ротмистром держать востро, не даром не понравился он мне с самого начала. Он небось уже отрапортовал своему начальству: нашел подходящего человека, задание выполнил. И еще не знает, что крупно ошибся. Насильно меня все равно не отправят...

Ну, посмотрим, как будет складываться. Пока подождем, здесь посидим, торопиться так и этак некуда, все плен. А в угол припрут, придется что-нибудь придумывать...

Обстановка в лагерьке была какой-то неправдоподобной. В обед и вечером "штуба" полна оживленной молодежи, смех, говор, гомон, — но вслушайтесь: разговоры, шутки все о пустяках, из окружающего, сиюминутного — и никогда ни слова ни о личном, ни о прошлом. Кто говорит, кому — не догадаешься. Так исправно выполняют наказ ротмистра, да еще и домашняя выучка, — никак не узнаешь людей, хотя на вид — все рубахи-парни, души на распашку. Правда, не было у меня и большого желания узнавать о соседях подробности.

Ближайший сосед, с койки напротив, с симпатичным лицом, однажды нечаянно проговорился. Гуляли с ним как-то вечером позади барака, он вдруг сказал: — Вот тот уголок Липки мне напоминает, там тоже есть такое местечко.

— А вы из Саратова? — заметил я. — Был там в 36-37 году, неважные воспоминания у меня с ним связаны. Больше полгода искал там работу, — никуда не принимали. Израсходовал все свои сбережения и вынужден был уехать к родным в Сталинград, хотя жить мне там не разрешалось. Прописался за Волгой, напротив города. — Малость слукавил: поиски работы, верно, были тягостны, но бездельем я не тяготился: оно мне до того редко выпадало. К тому же устроился, хотя и на заочный, в промышленно-экономический институт, недавно открытый в Саратове. На мои слова, что не мог найти работу, сосед отозвался:

— Почему же не могли? В Саратове работа всегда есть, город промышленный, деловой.

— Работа и была, но не для меня. Как только слышали, где

я раньше был, так и отказывали. А я восемь лет в Соловках и в других лагерях пробыл.

— А-а, — протянул сосед, вложив в этот звук столько понимания, что больше объяснений не требовалось. После этого мы сошлись с ним ближе и могли разговаривать не только о качестве супа или гуляша, полученных на обед.

Сосед был в школе давно, несколько месяцев, дольше всех других и поневоле постепенно узнавал многое из того, что для других оставалось тайной. Он подтвердил мне и правильность моей догадки. Узнав, что я из Сталинграда, сказал:

— Недавно тут был один из ваших мест, да его отправили, перед самым вашим приходом. А меня все держат, наверно для какого-то особенного задания берегут. Скольких я тут перевидал!

— Не совсем понятны, — сказал я, желая услышать его мнение, — мотивы, какими руководствуются наши соседи. Очень уж много среди них совсем зеленой, абсолютно безусой публики, чтобы они могли быть сознательными антибольшевиками. Наверно есть и заряд авантюризма, а больше — желание спастись от плена, от лагеря, хотя совсем от них все равно не спасешься.

— Почему же нет? — возразил сосед. — Надо сказать, что в этом отношении немцы честно поступают. Если выполнил задание добросовестно, таких обычно отправляют в глубокий тыл, в Баварию, в западные области. Дают на какое-то время отпуск, немного денег, продуктовые карточки, чтобы человек мог пожить сколько-то совсем на свободе. Потом дают работу на заводе, в мастерских, или у крестьян, куда тебе больше хочется. Жить тоже без надзора, в общежитии или у кого на квартире.

— А случается, что не возвращаются, остаются у "своих"?

— Я о таких случаях не слышал, но наверно бывает, что попадаются. Правда, ребят отбирают особенно ловких. Пока они в школе, их со всех сторон узнают и если уж очень неуклюжий попадется, такого отсылают обратно в лагерь. По-моему, правильно: зачем на смерть посылать? И других подводить? Другое чаще бывает: некоторые ходят на ту сторону с заданиями по два-три раза и возвращаются невредимыми. Тут,

конечно, часто и доля авантюризма есть, вернее желание удаль свою показать, ловкость, молодечество проявить. Немцы таких особенно ценят. Слышал, кроме денег, награждают крестами, медалями и от плена освобождают. Причины, понятно, самые разные, есть и такие, что хотят только от плена спастись. Но есть, я бы сказал, и стойкие, жгучие антибольшевики. Да я и сам такой, -- признался сосед. — И как мне другим быть? Я был одиннадцатилетним пацаном, когда при мне, вот, рядом, отца и мать моих расстреляли, — за то, что бакалейную лавочку имели и жили в доме под железной крышей, где и лавка была. Подумаешь, "буржуи", "капиталисты", "враги рабочего класса", когда у них никогда никаких врагов не было и все наши соседи за них горой стояли. Но надо было чекистам выслуживаться, свой план выполнять, они и выполняли. А я рядом стоял и смотрел, как в отца и мать стреляют. Еще мало что понимал, не доходило даже до меня, что так вот сейчас и застрелят. Или был тут недавно отличный паренек, душа человек, я давно его знаю, — он сын священника в нашем пригороде. Священник был уважаемый всеми, все его любили. А пареньку было тоже чуть больше моего, лет двенадцать, когда пришли батюшку брать, даже и не брать, а убивать. Один особенный изверг был, за бороду старика по дому таскал, в лицо ему харкал, — и это при всей семье, при жене, при детях. Соседи в окошки смотрят, кричат: что делаешь, зверь! Он наверно совсем осатанел, вынул наган, — хвать в батюшку, да хотел помучить, первый раз только плечо прострелил. Второй раз, третий, — весь барабан, мерзавец, в свою жертву высадил, убил-таки. Вот таким зверям-садистам и дали над нами власть людей мучить. Парнишка, когда рассказывал, сам не свой становился, кровь у него и теперь кипит, через десять с лишним лет: разве такое забудешь? Говорил он, братишка меньший, на год младше, и мать бросались на расстрельщика, но с ним и другой был, тоже с наганом. Он рукояткой нагана сначала мать без чувств свалил, потом младшего сына, а за ним и рассказчика. Показывал шрам на голове, предлагал пощупать, — рана была в полголовы...

Я с экскурсией в Москву ездил, там нас в Третьяковскую галерею водили. Видел и знаменитую картину Репина, как Грозный убивает своего сына. Здорово нарисовано, — а все-таки

только картина. А как вспомнишь, как отца и мать стреляли — и сейчас темно в голове делается.

А потом, известно — лишенцы, классово-чуждое происхождение, как ни учись, хоть на одни пятерки, выше не пустят. В счетоводы или землекопы можешь идти, да и то после проверки, если разрешат. Это только в прошлом году, когда война к носу подперла, похватали нас, кто со средним образованием, в военные школы распихали: командиров-то нет, тоже постреляли или в лагерях уморили. А из нас какие командиры? За четыре, пять месяцев ускоренным порядком, — многому ли научишься? Да при нашем настроении? Мало у кого большое желание было командиром становиться, после всего, что мы пережили. Тут много и раскулаченных, из северных поселков взятых. Отцы-матери там погибли, а сыновей в армию взяли. Нет, такие по пять заданий в тылу на той стороне выполнят и назад придут, там не останутся! А впрочем, что же я вам об этом говорю, вы и так все это знаете...

Да, знаю, — подумал я. — Но наверно еще много раз буду слышать все то же. Сколько времени надо, чтобы люди могли забыть, отойти от своего прошлого? Сразу не отойдешь... А что знаю, удивительного нет. Даже так совпало, с рассказами саратовца, что и у меня ведь отца хотели расстрелять, у нас, у детей и у матери на глазах. В 18-м году, в особенное безвластие и произвол, соседний рабочий, горький пьяница, обрадовался, что в руки ему попала винтовка, — он был в самообороне, впрочем, как и мой отец, — и решил: непорядок, что на нашей улице еще ни одного человека не расстреляли, — вошел к нам во двор и сказал отцу: — Становись к стенке, ты буржуй, тебя кончать надо. — Хорошо соседи заметили, тоже рабочие, стали оттаскивать пьяницу, мешать ему. На счастье из-за угла выехали две двуколки пулеметной команды, недалеко казармы были, формировался полк. Рабочие остановили командира, говорят ему, тут самосуд совершается. Командир видно порядочный попался, подскакал, соскочил с коня, отобрал у пьяницы винтовку, отдал старшему по самообороне, сказал, что самосуд не допускается. Если в чем обвиняют этого человека, показал он на отца, — пусть все соседи проголосуют, виноват он или нет. Вскочил на

лошадь и ускакал. Родители, люди очень религиозные, потом служили молебны в благодарность за спасение...

Да, какой тут Иван Грозный, причем он тут. И время другое, другие и люди, нравы и поводы. Нет, все другое и именно с этим другим надо кончать, разделываться. Да беда, как говорил земляк Зернов, не дают разделываться нашему брату, ни Сталин, ни Гитлер не дают...

На другой день пошли строем на полевые занятия. Невольно обратил внимание на то, что мои соседи с явным удовольствием "печатали шаг", — застоялись, что ли, как лошади? Наверно привыкли маршировать, — мне внове, я плохо за ними поспевал и иногда сбивался с ноги. Шли по асфальтированной дороге, среди широкой улицы, щедро заросшей садами. Кое-где дома едва выглядывали из зелени. Потом свернули на мощеную булыжником: мостили, вероятно, еще до первой мировой войны, когда эти места были русскими.

За поселком начались рощи, поля. У одной из рощь остановились. Инструктор, — тоже молодой парень, видел его первый раз, — разбил нас на несколько групп, по пять-шесть человек, с одной группой куда-то ушел, но скоро вернулся, один. И объявил, что сегодня займемся "хождением по азимуту". Что это за "хождение", я не имел ни малейшего понятия, но понадеялся, что соседи мои, в военных школах все же чему-то учившиеся, знают и объяснят.

В этом я ошибся: в нашей группе в шесть человек не нашлось ни одного, кто бы мог сказать, в чем состоит "хождение по азимуту". И я, штатская "штафирка", должен был разбираться в деле. Инструктор каждой группе дал заранее составленные записки-маршруты. В нашей стояло: "На север на самую высокую вершину — пройти двести шагов. Оттуда направо взять ориентир колокольню церкви, пройти триста шагов. Затем налево, на запад, на одиноко стоящее дерево — сто шагов. Оттуда назад, на правую опушку густого кустарника". Э, проще пареной репы. Вот тебе и азимуты. Поискал глазами "самую высокую вершину" — она четко выделялась на безоблачном небе. Отсчитали двести шагов, нашли колокольню церкви — еще триста. Одиноко стоящее дерево — сто. Опушка кустарника —

дошли, там встретил один из тех, с кем инструктор уходил от нас. Вернулись, — инструктор, видимо, был не очень доволен, что мы так быстро справились со своей задачей. Потом стали подходить другие группы, а одна запуталась и ее пришлось искать.

В другой раз полевое занятие посвятили чтению карт, затем — составлению крок местности, — то и другое для моих соседей оказалось тоже неизвестным делом. Но где бы им и узнать его? Я хорошо разбирался в картах со школы, потому что увлекался географией и путешествие по разным странам, по атласу мира, по которому учились в гимназии старшие братья, было одним из любимых моих занятий.

Удивлялся я другому: обилию у немцев карт. И даже вот этих мест под Варшавой: мы могли определить по карте, где проводили полевые занятия, до того эти карты были подробны и точны. Они были немецкого изготовления, с немецкими надписями и отметкой, в какой типографии напечатаны. И их было столько, что инструктор не считал, раздавая нам, сколько выдал, — а у нас карты были государственной тайной и тайну эту нигде нельзя было достать. Все командиры, которых я встречал в Крыму или уже в плену, жаловались на отсутствие карт: действовать подчас приходилось наугад, по сведениям разведчиков и по расспросам...

Неприятным было только одно полевое занятие: переход воображаемой линии фронта, — я фронт переходить не собирался, а занятие не было легким. Инструктор уходил вперед с группой курсантов, где-то расставлял их, затем объявлял задачу: впереди, может быть на линии вот того кустарника и на опушке леса, должно быть сторожевое охранение противника. Надо проникнуть за него и уходить дальше в тыл, не нарвавшись на патрули и заставы. Осторожно, пригибаясь к земле, мы продвигались первое время вперед, к воображаемой линии охранения, потом надолго застывали в кустах, в канавке или овражке, пристально всматриваясь, нет ли какого движения перед нами. Признаться, я относился к задаче халатно: не было терпения сидеть без движения, да я и не гнался за лаврами и почти всегда попадался "противнику". Но были среди нас и настоящие виртуозы, неизменно пробиравшиеся через "линию" неза-

меченными. Инструктор ставил их всем в пример, но меня это нисколько не интересовало.

Во время полевых занятий открылся и занимавший меня секрет: я заметил, что соседи нередко варили за бараком картошку. Питание, как и говорил в холмском лагере Сизов, было довольно скудным: немцы явно объедали своих подопечных. Мне было мало еды, — молодым ребятам, соседям, тем более ее не хватало. И они ухитрялись где-то что-то доставать и варить за бараком, где из кирпичей было сложено подобие небольшой печки. В поле тайна раскрылась: наши занятия проходили иногда у самых картофельных полей и ничего не стоило раскопать, хотя бы только руками или заостренной дощечкой, кусок картофельной грядки: стоял август, картофель был уже крупный. Иногда за этим занятием нас видели польские крестьяне, хозяева полей, но они не препятствовали нам.

Теперь и я старался принести с полевых занятий в карманах или за пазухой десяток картошек. Потом пек их в золе печурки за бараком: получалось вкусно и ощутительно дополняло кухонный паек.

Классные занятия проводились большей частью после обеда, во втором, среднем бараке. В нем была аудитория человек на тридцать, за столом инструктора висела классная доска. И на этих занятиях пришлось удивляться: первым же предметом, на который я попал, была "организация Красной армии". Проводил занятия советский командир средних лет, может быть капитан, или майор. Опять-таки: слушатели были советскими офицерами, казалось бы, организация армии, в которой они служили, не могла остаться им неизвестной. Но так оно и было и если кто-то что-то в этом понимал, то очень смутно и приблизительно. По-видимому, в Красной армии ее организация тоже считалась государственной тайной, почему командирам точно и детально о ней не сообщали. А какой же может быть разведчик, если он по отдельным частям не может определить состав войск, за которыми наблюдает? И немцам приходилось учить бывших советских офицеров тому, чему их не выучили в советской же армии. Предмет меня нисколько не интересовал, но по необходимости надо было слушать объяснения инструктора и

рассматривать схемы построения дивизий, полков или штабов, которые он развешивал на доске.

Еще два инструктора, помоложе, смахивали будто бы на иностранцев, хотя были они явно советскими. Был и еще один инструктор из советских командиров, словно бы старший над другими, средних лет калмык, звали его все "майором", но он ничего не преподавал, был чем-то вроде заведующего учебной частью. Помещались инструктора в третьем бараке. А о смахивающих на иностранцев я даже подумал, что нам так вдолбили в головы представление о шпионах-иностранцах, что и эти казались иностранцами: они преподавали сугубо шпионские предметы. Например: как узнать, что и сколько выпускает завод, за которым вам поручили наблюдать. Расспросы рабочих, соседних жителей опасны, легко могут навлечь на вас подозрение. Потолкаться в пивной около завода, в лавках, на станции и слушать, о чем говорят, всегда полезно, но много этим путем вы можете и не узнать. Постарайтесь поселиться так, чтобы вы видели, сколько вагонов сырья ежедневно поступает на завод — и сколько вагонов готовой продукции уходит с завода. Сколько доставляют вагонов топлива? Эти сведения сообщите тем, кто вас послал — они сумеют заключить, чего и сколько выпускает завод. Завод может работать на электроэнергии, — сообщите, сколько и каких, поточнее, сечений проводов протянуто к заводу, питающих его электроэнергией.

Говорили они о других сходных сведениях, — например, как определять пропускную способность одного или другого участка железной дороги, или сколько грузов, примерно каких, проходит в том или ином направлении, никого об этом не расспрашивая. Ваше дело — считайте поезда и вагоны и сообщайте эти цифры в центр, а там сумеют обработать ваши сведения.

Все это было элементарно и в сущности примитивно, но никому из нас прежде не приходилось с этой элементарщиной сталкиваться: она была для нас новой. Загадкой пока оставалось, как же сообщают "в центр" сведения, об этом никогда не говорилось. При случае спросил у соседа-саратовца, он просветил:

— На задания, на ту сторону, отправляют вдвоем: раз-

ведчика и радиста. Через проулок, напротив, где кухня, склады, управление, в таких же бараках живут радисты. Им пожалуй хуже приходится: часов по пятнадцать в сутки зубрят азбуку Морзе, практикуются принимать на слух, изучают аппаратуру, зубрят и шифры: они должны первоклассно знать свое дело, иначе немцы отправят обратно в лагерь. Для каждого здешнего "учащегося" там готовится радист, о котором мы тут чаще всего и понятия не имеем. Но немцы стараются, по своему разумению, конечно, подбирать сходных по характеру людей. А за некоторое время до отправки на задание разведчика и радиста поселяют вместе, чтобы они узнали друг друга и сошлись...

В другой раз спросил саратовца, чем объяснить такую беспечность немцев: кроме патруля, проходящего мимо нашего забора несколько раз в сутки, охраны нет. Может же кто-нибудь отсюда бежать и потом сообщить сведения об этой школе советчикам. Саратовец покачал головой:

— Не так это просто. Прежде всего: а много ли каждый знает об этой школе? Для того и предлагают ни о чем личном и здешнем не говорить. Доносчиков, шпиков среди нас у немцев хватает. Кроме того, здесь, как и вообще вокруг Варшавы, размещено много немецких войск и их патрули всюду шныряют, за всеми следят. В этой нашей форме, — куда от них уйдешь? Еще одно есть: здесь, в поселке и в окрестностях, размещено несколько "легионов" — частей из добровольцев из советских националов. Точно не знаю, но слышал, что тут грузинский легион есть, татаро-башкирский, туркестанский, кажется, есть и казачьи части, — за всеми немцы следят, так что ускользнуть из их поля зрения трудно. Уйти можно было бы наверно только связавшись с поляками, но за ними немцы следят еще строже, чем за нами.

Он говорил об этом с таким знанием и словно бы заинтересованностью, что подумалось, он тоже наверно был бы непрочь отсюда уйти...

Вечером случайно почти столкнулся на аллее с ротмистром. Поздоровались, он спросил, как себя чувствую. Сказал, что похвастаться хорошим самочувствием не могу.

— Что так? — будто с искренним участием спросил ротмистр. Ответил, что он же обещал хорошие условия, интерес-

ную работу, — пока ничего из этого не вижу. А заниматься тем, что тут преподают, не вижу для себя никакого смысла. Он спросил, как с питанием, — тоже слабо.

— Вашего партнера, с которым вы приехали, я на кухню определил, — сообщил ротмистр. — До того истощавший был, что пришлось доктору его показать, сказал, что надо подкормить. Но на кухню можно было только одного устроить. Потерпите, может быть я что-нибудь придумаю...

Я ему однако больше не верил. Перспектива стать кухонным мужиком тоже не прельщала, хотя на кухне и будешь сыт. Насторожило, как он сказал, что я приехал с "партнером": не намечает ли он, что моздокский служащий будет радистом и его отправят со мной? Может быть, ротмистру надо послать куда-то людей постарше, поопытнее?

При всех условиях здесь жить лучше, легче, чем было в Умани и Холме и чем будет наверно в любом другом лагере военнопленных. И на "шпионское гнездо" не очень похоже, если даже быть слишком чувствительным к таким словам. Скорее здесь — лагерь переподготовки или дополнительной подготовки младшего комсостава. Но уже вторая неделя пребывания здесь шла к концу, неопределенность в отношении будущего угнетала и заставляла думать о том, чтобы как-то изменить свою судьбу.

Соседей моих вопрос о будущем, похоже, совсем не занимал. Они попрежнему лихо маршировали по шоссе, на полевые занятия, то одним, то другим шагом, совсем сбивая меня с толка: я в шагистике не разбирался совершенно. И бывало, что сбиваясь с ноги, бил их сзади по ногам или по мягким частям, однажды едва не сбил переднего с ног. Они крыли меня, — я не оставался в долгу:

— А куда вас нелегкая несет? Вы что, на параде на Красной площади? Выслужиться хотите? Идите, как нормальные люди ходят, это вам не цирк.

Впрочем, я понимал, что не прав. Этим молодым ребятам хотелось почувствовать себя опять строевыми командирами, показать, какие они ловкие и умелые. Тем более, что и ротмистр, оказывается, был большим поклонником строевой выучки: сказывалась может быть прусская кровь. Да и по главному шоссе нередко проезжали немецкие офицеры высших чинов: этой

военной кости молодечество шедших в четком строю наших ребят тоже было по душе. Ну и пусть тешатся, — лишь бы не плакали...

Ротмистр любил не только строй. Иногда приходил вечером, перед сном, — соседи, увидев, тотчас же выбегали из барака и окружали шефа. Это означало, что сейчас начнется концерт. Среди ребят двое-трое были с хорошими голосами: запевалы были, составлялся приличный хор. Ротмистр, правда, не признавал советских песен, он любил старые солдатские, — кто же из наших молодых ребят мог их знать? Ротмистр добывал и приносил тексты, ребята разучивали, — в темноте залихватски неслось:

Из-за леса, леса
Молнии мечей,
Едет сотня казаков, —
казаков — да лихачей!

Пели и "Ермака", "Бородино" и другие "не осовеченные" старые песни. Эта "самодеятельность" поднимала настроение, соединяла людей, облегчала души.

Через день-два староста сказал утром, чтобы не шел на занятия, оставался в штубе и ждал. Чего ждать? Говорит, что тоже не знает.

Вскоре пришел немецкий солдат, пошли с ним на станцию, сели в пригородный поезд на Варшаву. Куда едем, зачем? — я терялся в догадках. В Варшаве сели в трамвай, тоже с надписью "Только для немцев", — я попадал в число чистокровных арийцев. Долго плутали по улицам, старался их разглядывать, но трамвай шел быстро. Наше представление, что Варшава разрушена почти полностью, было далеко от действительности: разрушений было еще не так много. Где сгоревший дом или несколько домов, кое-где развалины, наверно от взрыва бомбы или снаряда.

Доехали до неведомой площади. Разыскали требуемый дом — в нем оказался вроде бы аптекарский склад, военный: работали немцы в военной форме. Принявший нас немец провел в другое помещение, где был окулист и в ящиках на столах разложены очки. Значит, ротмистр решил выполнить хотя бы одно свое обещание, снабдить меня очками. Вот тут пожалуй хорош

подойдет: с паршивой овцы хоть шерсти клок, — подумал я.

Немцы посмеялись над моими склеенными очками, выбросили их в мусорный ящик под столом. Окулист проверил зрение, — оно было то же, что и год назад. Подобрали мне круглые стекла в тонкой железной оправе. Они долго служили мне: я переменил их только в конце сороковых годов, когда очки легко можно было купить в любом оптическом магазине.

Обзаведясь очками, тем же порядком вернулись в школу. В дороге я почему-то все больше укреплялся в мысли, что отсюда надо куда-нибудь убираться, как говорится, по добру, по здорову.

Продолжение следует

Г. Андреев

*

Направо кумиры, налево табу.
От них отдохнешь ты в холодном гробу.

Вот идол Работа, божок Чепуха,
А вот, порицаемый, Демон Греха.

И крики шаманов, и жертвенный нож,
И бубны, и маски, и дымная дрожь.

Ах, Демон Греха, он милее других:
Прелестные девы в цветочках одних.

Но, может быть, лучше дышать ветерком
Далекой планеты, где сядем рядком,

Забыв, как лежали, скучая, в гробу,
Средь мертвых кумиров и мертвых табу.

*

Романтики твердили нам о сердце
И скорби мировой, земном "вельтшмерц

Тот лунный полумрак в глухих руинах
И фосфор глаз змеиных и совиных...

Но кладбища, осенние, в Италии
Меня сильнее клонят к меланхолии.

Я там из-за больного миокардия
Всегда прошу у Бога милосердия.

Но жалоба моя,что скоро тризна,
Смешная смесь лиризма и трюизма.

*

И я свидетель обвинения
(Я плакал чаще, откровеннее),
Но, принимая во внимание,
Что при ближайшем рассмотрении
Черты божественной гармонии
Заметить можно в мироздании;

Что предусмотрены заранее:
Мое ночное задыхание,
Житейские колючки-тернии,
Большое небо предвечернее
(Оно становится печальнее);
Что, что скажу я в заключение?

Что из небесной Руритании,
Где встретят нас благие гении,
Приплыло облако весеннее?
Что нет состава преступления?
И что Виновник мироздания
Заслуживает снисхождения?

Игорь Чиннов

РЕЛИГИЯ И ИСКУССТВО

Без религии и в особенности без церковного христианства не было бы не только большой художественной музыки, но не было бы АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ НАУКИ О МУЗЫКЕ, не было бы даже столь удобного для сольмизации и для сольфеджио общепринятого названия музыкальных тонов нашей диатонической мажорной и от нее происшедшей натуральной минорной гаммы. Все это вырабатывалось около церковных стен и можно сказать внутри самой церковной ограды, у алтаря во время богослужений или во время выпевания отшельниками их любимой и основной в публичном христианском богослужении книги — ПСАЛТИРИ. То же касается и жизни святых и мучеников, которые на разные гласы (церковные тона) выпевает церковь, создавая дивные церковные мелодии и монументальные композиции, которым в светской музыке нет равных, не говоря уже о том, что и серьезная художественная музыка буквально пропитана церковно-религиозными элементами и взошла на религиозных дрожжах.

Но это же придется сказать и об искусстве слова, то есть, как художественной прозе, так и о высококачественной поэзии. Мы здесь не будем останавливаться на том, что вся античная до христианская поэзия может быть определена гениальным двустишием Пушкина:

Гимны важные сложенные богами
И песни мирные фригийских пастухов,

ибо трагедии и комедии и отдельные лирические произведения и эпика - все это ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПОРЯДКЕ ВНЕРЕЛИГИОЗНОМ И ВНЕМИФОЛОГИЧЕСКОМ. Стоит изъять из Гомера, Пиндара, Феокрита, Овидия и проч. религиозно мифологическую тематику и от них буквально ничего не

останется. Именно НИЧЕГО не останется. Да и вообще от всей античной культуры НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ КРОМЕ СМЕРТНОЙ СКУКИ НЕ ИМЕЮЩЕГО НИ МАЛЕЙШЕГО НАУЧНО ФИЛОСОФСКОГО ЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ФАНТАЗИРОВАНИЯ ДЕМОКРИТА, ЛЕВКИППА или ЭПИКУРА. Мы говорим именно фантазирования, ибо современное энергетическое учение материи имеет столько же общего с древним материализмом, сколько челнок древнего финна рыболова имеет общего с новейшей термо-ядерной подводной лодкой.

К сожалению марксо-коммунизм приблизительно так и "изучает" древний мир. Но у нас нет никаких оснований, изучая историю литературы древней и новой, употреблять метод, который в философии давно уже получил классическое именование звучащее как — "ПРИБЕЖИЩЕ или (убежище) НЕВЕЖЕСТВА". Если не прибегать к этому методу, в котором марксо-коммунизм, кажется, видит единственный выход из тупика, в который его загнал материализм (как древний так и новый), то история литературы, как древней так и новой, как русской так и мировой, включая сюда поэзию, дает картину сплошного использования религиозной тематики в своих лучших образцах. Впечатление решительно такое, как будто бы без религиозной тематики применяемой прямо или косвенно в больших или малых дозах, РЕШИТЕЛЬНО НЕВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО МАЛО-МАЛЬСКИ ИНТЕРЕСНЫМ, что называется "заинтриговать" читателя. Все становится пресным, безвкусным и даже беспомощным в техническом смысле искусства письма, особенно по сравнению с произведениями МАСТЕРОВ ХРИСТИАН. Создается даже такое впечатление, что ВНЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕМАТИКИ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВЫСКАЗЫВАЕМОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО НИ ЗАДУМАТЬ, НИ ВЫПОЛНИТЬ МАСТЕРСКИ. ВСЕ РАСПОЛЗАЕТСЯ КАК ГНИЛАЯ РОГОЖКА, В КОТОРУЮ ХОТЯТ НАЛОЖИТЬ ПОБОЛЬШЕ КАМНЕЙ. И при том не драгоценных, но просто булыжников.

Обратимся для доказательства сказанного к нашей отечественной русской литературе и поэзии.

Величайший памятник древнерусского художественного слова "СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ" переполнено мифологией, как христианской, так и языческой. Оно переполнено также тем, что можно назвать духовидением, пророческими снами и предчувствиями. Можно сказать, что для автора "Слова", как и для древнего эллинского философа ионийца Фалеса Милетского - ВСЕ ПОЛНО БОГОВ. Стоит изъять из поемы этот религиозно мифологический мистический и визионерский элемент и от гениальной поэмы останется простая "корреспонденция", бойко написанная о несчастном походе Князя Игоря. И уж наверное эта "корреспонденция" никак бы не вдохновила гениального Бородина на его изумительную музыку. Да он бы просто и не заметил такого выхолощенного и вычищенного слова. Хорошо что во время написания "Слова" не было Емельяна Ярославского с его сторонниками. От древней литературы и поэзии, конечно за малым исключением, ничего бы не осталось. Мы уже не говорим о таких непосредственно церковных вещах как "Слово о законе и благодати" Киевского митрополита Иллариона, "Проповеди" митрополита Кирилла Туровского, "Изборник Святослава", "Толковая Палея", "Повесть временных лет" и вообще ВСЕ, ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛЕТОПИСИ. Своим литературно мыслительским "перцем" они обязаны исключительно религиозно мистическому элементу. Без него они бы просто превратились в бездарные учебники древнего периода Русской истории. То же самое касается, например, и XVII века с такими изумительными вещами как "Повесть о Горе-Злосчастье", "Сказание о Савве Грудцыне" и проч. Осталась, пожалуй, полупорнографическая повесть о Фроле Скобееве, также как в XVIII в. осталась бы пожалуй одна комедия Фонвизина "Недоросль" (уже совершенно устаревшая), да еще знаменитая в свое время легкомысленная повесть "Пригожая повариха или похождение развратной женщины".

Такие же произведения, как важнейшие стихи гениального Г.Р. Державина или Россияду Хераскова, все это пришлось бы изъять или так изуродовать, что от художественного гения осталось бы столько мудрости, сколько от древней философии и литературы по ученении над ними материалистической цензуры, то есть, не осталось бы буквально ничего. Обратимся к двум та-

ким совершенно противоположным, но имеющим громадное значение "тузам" как "консервативный" (будто бы) Гавриил Романович Державин, и "радикальный" (будто бы) Александр Николаевич Радищев. Лучшая, вполне гениальная вещь Державина — ОДА "БОГ" - говорит за себя. Далее следует "ОДА НА СМЕРТЬ КНЯЗЯ МЕЩЕРСКОГО". Она тоже говорит за себя. Это мистика того, что на языке современности можно назвать экзистенциальным ужасом смерти. Но зато стихотворенье "Лебедь" полно несказанной райской красоты. Так же, как и стихотворение "Ласточка" — гениальная песнь о бессмертии души и о воскресении.

Душа моя! Гостья ты мира.
Не ты ли перната сия?
Воспой же бессмертие лира!
Восстану, восстану и я, —

Еще сильнее и убедительней звучит ангельская мелодия "Лебедя":

Необычайным я парением
От тленна мира отделюсь
С душой бессмертною и пеньем,
Как лебедь, в воздух поднимусь.

Очень важно, что темпераментный и вакхически упоенный автор смог соединить этот христианский мотив с древним дионисическим в потрясающе прекрасной и полной дикого упоения "Цыганской пляске":

Под лесом нощию сосновым
При блеске бледныя луны
Топоча по доскам гробовым
Буди сон мертвой тишины.
Жги души, огнь бросай в сердца
От смуглого лица.

Стоит отнять от Державина эти мистические мотивы древние и христианские — и от него останутся пышно яркие описания обедов, кутежей, да стихотворения на случай, то есть, все временное и уходящее навсегда с веком. Но религиозно мистические мотивы Державина делают его поэзию золотой и неподвластной времени. Временами кажется, что эта дивная

громовая и небесно окрыленная муза великого певца, столь близкая Баху, стала еще свежее в наше время. То же самое придется сказать и о религиозной музе Ломоносова, например, об его "Размышления о Божием величествии" - вечернее и утреннее.

Говорить о религиозности Жуковского — значить ломиться в открытые двери и отрицать ее — значит выдавать себе свидетельство об умственной бедности. Раннее вольнодумство и дерзкие выходки Пушкина могут послужить при недобросовестном их истолковании к скороспелым выводам. Но попробуем у Пушкина совершенно изъять религиозно христианскую мистику и тематику. Посмотрим, что придется выкинуть и что останется от Пушкина. Придется выкинуть "Моцарта и Сальери". Придется выкинуть "Каменного Гостя" и многие места "Скупого Рыцаря". Надо будет распроститься с такими шедеврами как "Пророк", как "Отцы пустынники и жены непорочны", как "Когда для смертного умолкнет шумный день". Придется равным образом вычеркнуть великолепное "Странствование христианина", взятое из грандиозного духа религиозной мистики в английской поэзии 17-го века и еще многое другое. Не надо договаривать, что будет представлять Пушкин хотя бы только без Бориса Годунова и какой бы ущерб при этом потерпела бы русская музыка, лишенная оперы "Борис Годунов" Мусоргского. А уже о Лермонтове и говорить не приходится. Тут придется ВЫКИНУТЬ СПЛОШЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ У ЛЕРМОНТОВА и притом без исключения — все начиная с "Демона". И что сделать с "Веткой Палестины" и со строфой "колыбельной песни":

Дам тебе я на дорогу
Образок святой
Ты его моляся Богу
Ставь перед собой.

Это — личный опыт самого глубокого религиозного поэта, после которого осталось "ЧЕТЫРЕ ОБРАЗА и СЕРЕБРЯНЫЙ ВЫЗОЛОЧЕННЫЙ КРЕСТ С МОЩАМИ". И эти святыни от дивной бабки поэта вдохновили его на лучшее, что есть в Русской поэзии.

А что мы сделаем со строфой Тютчева:

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые
Душа готова как Мария
К ногам Христа навек прильнуть.

И если из Тютчева выбросить всё мистическое и потустороннее, то от него так же мало останется, как и от стихов Лермонтова, то есть почти ничего, и оставшееся окажется третьестепенным и лишенным соли и огня.

Не будем говорить о религиозно мистических мотивах Достоевского и Льва Толстого, ибо это тоже значит ломиться в открытые двери. Тема это особая и заслуживающая специального рассмотрения. Нас интересует теперь нечто совсем другое, именно ярко выраженное использование религиозно-мистических и христианских мотивов в лагере бунтарско революционном. Не будем говорить о мелюзге, ибо это не интересно. Примем во внимание таких трех гигантов, как Некрасов, Герцен и Максим Горький.

Некрасов, воспитанный глубоко религиозной матерью, НИКОГДА НЕ БЫЛ АТЕИСТОМ И МАТЕРИАЛИСТОМ. На свое служение народу он смотрел как на выполнение религиозного долга. Славянофильское преклонение перед Святой и церковно православной Русью раз навсегда врезалось в душу этого бунтаря с его "музой мести и печали". Вот одно из его лучших стихотворений, посвященных этому любованию Святой Русью:

Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор.
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор.
Храм Божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Я понял, я детски умилился
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
ЧТОБ ОСЕНИЛ МЕНЯ КРЕСТОМ
БОГ УГНЕТЕННЫХ, БОГ СКОРБЯЩИХ,

БОГ ПОКОЛЕНИЙ, ПРЕДСТОЯЩИХ
ПРЕД ЭТИМ СКУДНЫМ АЛТАРЕМ.

Это не случайное стихотворение. В некоторой весьма существенной части своего творчества, особенно характерной для этого поэта, он можно сказать, весьма пропитан ароматом церковного ладана. Стоит вспомнить такие пленительные его стихи, как "Влас", "Крестьянские богомолки", "Несчастные", "Тишина" и ряд других. Да и знаменитое двустишие из "Рыцаря на час".

От ликующих, праздно болтающих
Умывающих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

Это великолепное за душу хватающее четверостишие могло исторгнуться из души поэта, воспитанного на Евангелии, на Житиях Святых и на церковных службах.

Знаменитый Герцен, столь чтимый всеми революционерами до марксокоммунистов включительно не раз негодовал на материалистов и атеистов за их склонность к деспотической тирании и за то, что они подобно всем тиранам царят на горах трупов. Последнее выражение принадлежит Радищеву, который никогда и не был материалистом, но был идеалистом лейбницианцем и написал большой труд в защиту существования и бессмертия души. Романтически настроенный Герцен, переехав за границу во многом сблизился со своими прежними врагами, со славянофилами. Он не верил в террор, в политическое насилие и ему были глубоко чужды и противны лица типа Чернышевского, Писарева и Добролюбова, вообще всей группе "Современника" и "Русского Слова". Трудно себе представить выражения более резкие чем те, которые он употреблял по адресу МАРКСИСТОВ, ненавистных ему до глубины души и омерзительных до судорог душевных. Вот, например, "Марксиды — серная шайка, проповедники классового насилия, коммунистической барщины, режима людоедов". И далее фраза несомненно внушенная христианским отношением к своим врагам: 'Мы давно не хотим пить из черепа своих врагов... Террор легок и быстр, гораздо легче труда: гнет — не царит,

ломит — не тужит, освобождает деспотизмом, убеждает гильотиной".

Здесь Герцен встретил полное сочувствие Льва Николаевича Толстого, для которого по его собственным словам никакая шайка разбойников так на страшна, как коммунисты у власти. Герцен дошел до признания религиозного смысла национальности, совпав в этом с славянофилами. Вот что пишет он о России: "Европа нас не знает. Расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который как чудо умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины, под позорным кнутом татарским, который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры". В сущности то же самое придется сказать и о самом Герцене и его же словами. Поэтому и сохранилась в нем и в его блистательном литературном творчестве живая отзывчивость к лучшим сокровищам христианских преданий и живой христианской струи, сказавшейся в ЖИТИЯХ СВЯТЫХ. Здесь он уже говорит таким языком, который заставляет думать о пробудившейся в глубинах его души ВЕРЕ В ПРОВИДЕНИЕ. Он пишет "Легенду о Святой Феодоре", "Сороку воровку" и "Кто виноват" - все вещи вполне христианские.

Вот что он пишет по поводу Житий Святых, которые он вычитывал в древних сборниках месячного круга чтений: "Я читаю с восторгом Четии Минеи: вот где божественные примеры самоотвержения! Вот были люди!... "ЕСТЬ ПРОВИДЕНИЕ" ... О безбожии и материализме такого человека, который пил из одного источника с Лесковым и Мельниковым-Печерским и восхищался тем же, чем восхищались они и чем восхищается ныне Пастернак, надо говорить с большой осмотрительностью и оглядкой. Герцен слишком ценил живое художественное слово, слишком ценил свободу творчества, чтобы пренебречь роскошной и грандиозной сокровищницей христианской мудрости и христианской красоты.

Совершенно невозможно себе и представить Лескова вне мира древнехристианских сказаний, старообрядческой красочной среды ("Запечатленный Ангел") или вне быта русского православного духовенства ("Соборяне"). Даже хитроумный

затейливый словесный узор, плетение словесной ткани, где он такой несравненный мастер, невозможно было бы без русских иконных фресок и орнаментов: все это явления одного источника и одного художественного порядка. А между тем, Лесков явление литературного мира столь большого калибра, что его можно смело упоминать рядом с Толстым и Достоевским или сечас же вслед за ними. Это, кроме того, учитель литературного народного вкуса. Но вкус этот воспитался вокруг церковных стен и взошел на почве Святой Руси. Религия и народность — вот почва, из которой вырос гигантский дуб лесковского гения. Мы не можем здесь не вспомнить, как поносил Лескова Писарев — "классик" нынешней коммунистической литературной критики. Кажется только один Пушкин потерпел еще больше, чем Лесков. Оба нашли своего второго Дантеса, восторженно приветствуемого марксо-коммунизмом.

Влияние Лескова, а значит через него русско-православной литературной культуры — колоссально, буквально неучитываемо ... Это касается столько же дореволюционной литературы, сколько и пореволюционной, и столько же эмигрантской, сколько и советской. Максим Горький, Ремизов, Замятин, Шмелев, Леонов, Пришвин, Пильняк и др. Да и сам Горький чрезвычайно многим обязан прицерковной почве и нисколько не скрывает этого. Учился грамоте по церковно славянскому шрифту и по ПСАЛТИРИ, которая навсегда осталась любимой книгой этого писателя, которого надо считать самым талантливым из всех русских марксистов. Самое лучшее, что этот "марксист" написал — "Мать" и "Детство" — буквально насыщено православным бытом.

Ученый архиерей Владыка Хрисанф обрисован с такой симпатией и любовью, с такой силой дано почувствовать его святую незлобивость и несмотря на громадную ученость, детски незлобивую душу, что эта зарисовка заставляет вспомнить об о. протоиерее Туберозове (из "Соборян" Лескова).

То же самое следует сказать и о А.П. Чехове. Его шаржи на низшее духовенство веселы и безобидны, касаются внешнего житейского быта и ни в коем случае не затрагивают ни Церкви, ни христианства, ни веры.Зато крупные и серьезные зарисовки пропитаны любовью к Церкви, ее быту, к его красоте. Следует

здесь вспомнить такие шедевры, как "Студент", "Святою ночью" и повесть "Архиерей". Повесть "Архиерей" написана с любовью и величайшим участием. А мастерски исполненный очерк "Студент" наполнен морально-богословским содержанием, что у Чехова встречается редко. Вещь эта несомненно удалась и в ней веет тем же духом, что и в гениальных "ЖИВЫХ МОЩАХ" Тургенева. Все это величайшие шедевры русской и мировой литературы.

В. Н. Ильин

ЖИВОПИСЬ ФРАНЧЕСКО ГВАРДИ

Дамский скрипичный концерт в честь графов Северных — в.к. Павла Петровича и в.к. Марии Феодоровны (1782 г.)

Не разглядите ни одной фигуры.
Рассеянный запечатлелся взгляд.
Пятнисто-бело, приглушенно-буро.
Мерцающие люстры серебрят.

Скрипели виолинные девицы.
Не зрится северный курносый граф.
Венеция, любая, зыбко снится
И у-ле-ту-чи-ва-ет-ся стремглав.

Юрий Иваск

ЗАМЕТКИ ХУДОЖНИКА

Когда познает человек форму, цвет, запахи? В детстве, конечно, играя кубиками, делая "скульптуру" из влажного песка, чиркая цветными карандашами. Это познание еще не осознанное. По мере роста впечатления усложняются, открытия обретают осмысленность, делаются первые сравнения и выводы.

Именно этот период полу-детского, полу-взрослого восприятия мира кажется мне наиболее важным и плодотворным для человека и для художника. Раннее детство слишком туманно, начало взрослой жизни слишком перегружено желаниями, смятениями, неудовлетворенностями. Перебирая в памяти многие впечатления этого познавательного периода своей жизни, я нахожу в них, конечно, массу смешного и глупого. Но разница между смешным и серьезным и умным в искусстве — несколько другая, чем в обыкновенной жизни. Смешное и глупое так же необходимо для творчества, как умное и глубокое. Вот что мне припомнилось.

*

В конце нашего огорода была помойная яма — большой, врытый в землю ящик с крышкой. "Сбегай, брось на помойку" — говорила мать и я бежал с кульком отбросов. Летом помойка пованивала и над ней стояло легкое жужжание. Я приближался медленно, даже немного боязливо. Сам запах гниения меня не отталкивал — дети не брезгливы. Но зеленые мухи, метавшиеся над крышкой и ощущение чего-то "нездешнего" — вот что заставляло замедлять шаги. Смутно я чувствовал, что мир гниения — это именно другой мир, по-своему живой, таинственный, даже увлекательный. Но немного страшный.

Когда люди ругают "гниение" в искусстве ("Какая мерзость! Какое гнилое воображение!") я понимаю, что эти люди не знали в детстве таинственности старой помойки. А если знали, то не поняли. Помойки, свалки, старые кладовки и чуланы — все это необходимые этапы экзистенциального познания мира. Нюхнуть вони и пыли так же важно, как и глотнуть свежего воздуха. Нужен позитив и негатив.

Отапливалась наша квартира дровами. Получив ордер на кубометр "швырка", мать отправлялась на дровяной склад, захватывая с собой и меня, так как я, не ходивший еще в школу, страшно любил эти походы. Все было интересно на дровяном складе — лошади, телеги, возницы-чухонцы, штабеля дров. Я с наслаждением вдыхал запах древесины, конского навоза и махорки, слушая ржание коней и людские выкрики и брань. Земля на дровяном складе была мягкая как ковер, так как на ней лежал слой щепок, коры и опилок. Штабеля дров, разных по размеру, тоже привлекали меня и я старался угадать, где "наши дрова". Пока мать оформляла ордер и договаривалась с возницей, я рассматривал поленья, нюхал и ковырял кору, трогал острые щепки. В голове моей, конечно, не складывались еще мысли — я просто "плавал" в каких-то приятных "древесных ощущениях". Сучки и волокна дерева представлялись мне застывшими волнами, кольца и сердцевина среза были таинственными кружками, значения которых я не знал, но смутно ощущал как нечто важное.

Когда взрослый человек видит ребенка, на первый взгляд бессмысленно водящего пальцем по камню, доске забора, штукатурке, он должен помнить, что в этот момент ребенок (если он потенциально одарен художественными способностями) приобщается к основам будущего своего искусства, к элементам, на которых будет строиться его художественное мироощущение.

В зависимости от характера первых детских впечатлений художники становятся на всю дальнейшую жизнь "полянами", "древлянами", "горцами", "водяными" и т. д. Дело не в сюжете произведений, а именно в первоначальном ощущении материи, фактуры.

Мне лично сучки, волокна, изломы ветвей навсегда привили

вкус к крепкой линии, поворотам, завиткам. Не живши около воды, я не чувствую отражений, атмосферической игры света, дымок и далей. Это — не мой элемент. Зато складки одежды привлекают логикой падения ткани, своеволием фактуры, ложащейся именно так, а не по-другому. Как дуб растет по-своему, а яблоня — совсем иначе. Иными словами, все мы — "из лесов", "из вод", из камней и пещер в нашем искусстве.

Но вот вспомнил — а современный городской мальчик, знакомый только с пластмассовой игрушкой, да светом телевизионного экрана? Что ж, отсюда идет совсем другое искусство — поп-арт, фотореализм, полированные металлические конструкции. Это логично. Тут — другой "ландшафт", другая "древесина".

Про нашего рыжего пса Томку родители говорили "умный пес". Действительно, у Томки были умные, внимательные глаза. Он смотрел и все понимал, только сказать не мог по-нашему.

Как-то летом в наш город приехали иностранные туристы — диковинные для нас, советских мальчиков, люди. Группа иностранцев посетила дворец-музей и стояла, ожидая автобуса "Интуриста". Проходя мимо, я поймал на себе внимательный, умный иностранный взгляд — как у пса Томки. Только по-русски человек этот не говорил — совсем как Томка. И я понял, что Томка тоже немного иностранец, из далекой собачьей страны. Да и все другие животные — иностранцы из разных стран — кошачьих, лошадиных, коровьих, козьих и пр. У каждой страны — свой язык, обычаи, еда. Все они умные, но по-нашему не говорят. Конечно, я давно уже знал сказки о животных, но то было другое. А вот живой взгляд иностранца — туриста или Томки — вот когда все становится понятно!

"Иностранцы вы все" — говорю и сейчас всем животным.

Лет девяти отроду влюбился я в одиннадцатилетнюю Галочку. Она была родом из Пятигорска, смугленькая,

насмешливая. Любила изображать живые картины, причем себя в роли царицы Тамары. Хорошо (волшебно, как мне тогда казалось) танцевала, то есть разводила руками, грациозно склонялась, делала прыжочки и повороты.

Я, как говориться, "пропал". Ходил надутый, насупленный, а она смеялась.Однажды выдался жаркий день и в саду нашего дома группа девочек (Галочка среди них) с чем-то возилась, заливаясь смехом и вскрикивая. Раздался плеск воды. Я подошел к окну и с любопытством выглянул. И увидел: Галочка разделась до гола и ее окатывали водой из ведра — убогий, домо-рощенный душ в жаркую погоду.

Смотрел я какую-то секунду-другую, увидел только смуглую ее спинку и белую кожу там, гда были трусики. Эта белизна маленьких ягодиц ослепила меня, как вспышка магния. Каким-то особым чутьем девочки догадались, что за ними под-глядывают, и взвизгнули. Я отскочил от окна, потрясенный.

С тех пор (Фрейд сказал бы — ну, конечно) как белизна тела, так и белый цвет вообще имеет для меня громадную привлека-тельность. Белизна — одна из красок жизни. Недаром она — сумма красок спектра. Чистота, девственность и прочие качества, олицетворяемые белым цветом, кажутся мне верными, но узкими, не исчерпывающими смысла белизны построениями.

Недаром живописец исполняется творческой страсти при виде белого полотна, а рисовальщик — при виде белого листа бумаги.

*

Как ученику Средней Художественной школы, мне дано было право доступа в натурный класс Академии Художеств, находив-шийся в большом зале-амфитеатре. Решил пойти, хотя никакой подготовки к рисованию обнаженной натуры не было. И вообще и увлекательно и странно было представить себе, что обнаженная натурщица так откровенно будет стоять у всех на виду. Я видел наготу и до этого, но не в откровенно-допустимом виде.

Пришел, занял место. Кругом масса студентов, громадные блокноты, вид у всех страшно деловой. Как машинисты перед

отходом поезда. Загляделся на них и только потом заметил, что за ширмой, где раздевается натурщица, какое-то движение. "Пришла". Напряжение — как перед открытием занавеса. Наконец, ширма качнулась.

"Выходит!" понял я... и зажмурился. Через секунду-другую открыл глаза. Натурщица была крепко сложенная рыжая женщина с крутыми боками и большой, слегка висящей грудью. Меня потрясла во всей ее фигуре страшная (для меня тогда) агрессивность форм. Как будто бы нагота ее совсем не была чем-то уязвимым, незащищенным, а наоборот — чем-то "вооруженным". Как броненосец с наведенными орудиями.

Когда много лет спустя я познакомился со скульптурой Жана Арпа, Генри Мура и многих других модернистов, работы которых выражают многообразие органических форм, я вспомнил это ощущение агрессивности и вызывающего самоутверждения при виде первой для меня обнаженной натурщицы. Так оно и есть. Жизнь по всему естеству своему агрессивна. Если не чувствовать этого, то многое поблекнет в работах художника, многое не удержится и не закрепится.

*

Это было уже в конце войны, в Германии. Бежали от наступающего фронта и от бомбежек. Ехал с толпой беженцев на юг, вдаль от города, который уже третий день дымился пожарами. Вдруг поезд стал и в создавшейся тишине сразу услышали гудение самолетов. А потом что-то защелкало. Истребители. Стреляют. Говорят — "горохом рассыпаться". Как верно это подмечено! Мы вывалились из дверей вагонов и рассыпались в оврагах вдоль полотна. Обстрел оказался случайным, но гул сверху продолжался. "Бомбардировщики летят". Начались поотдаль глухие удары и земля отдавала в живот. "К нам подбираются, к поезду" — подумалось — и жарче стало.

Лежал я в сырой и довольно глубокой канаве, лицом вниз. А носом уткнулся в какую-то пахучую весеннюю травку. Она щекотала ноздри и запах ее был невыразимо-весенний, зеленый, свежий.

"Выжить бы только, а потом уж как любить буду каждый лепесток, каждую былинку".

Какое хорошее слово "благоухание". Это не просто "хорошо пахнет". Тут несется благо человеку, в то время как в слове зловоние несется зло. Запах свежей весенней травки остался поэтому для меня своего рода экзистенциальной "крайней ситуацией", когда все вспыхивает и в предельно ярком свете этого момента познаешь благо.

В детские годы смущал меня глагол "лобызать". Представлялось, что это — лбы лизать кому-то. Странно как-то.

Вырос — и все же что-то от этого детского образного непонимания осталось. Что-то чувственно-животное, ласковое. Корова с добрыми глазами, лижущая морду теленку. Или мужчина, уткнувшийся лицом в ароматную теплоту женских волос, ищущий губами ее тело.

БРАТЬЯ

Когда вечером переешь или перепьешь — ночью черти снятся. Не черти, а так... Несешься куда-то по наклонной плоскости, вздымаешься на качелях. Чьи-то морды вплотную подлетают к закрытым глазам (через которые видишь). Отрывки речи смешиваются с собственным дыханием. Подсознательное разыгралось.

Утром просыпаешься с головной болью и нытьем в теле. В окне серое небо и темновато. Жужжит и постукивает радиатор, наполняя комнату сухим теплом. Рывком вскакиваешь с постели со слипшимися еще глазами, обхватываешь голову руками и с напряжением думаешь: что же дальше? Куда? Зачем? Потом отлегает. Вымоешься, поскоблишь морду бритвой. Во рту сладко от невыполосканной до конца зубной пасты. Потом чай. А после чая — за мольберт.

Образовалась у меня привычка беседовать с "братьями". Художник, даже самый одинокий, одичалый, всегда член семьи, "брат". Семья же громадная, разноплеменная. Но все близки. И

все — умершие. С ними контакт легче. Нельзя же говорить, например, с живым художником, живущим где-нибудь во Франции или Италии, меня не знающим? Он — в своей кипучей жизни, в кругу друзей, в семье. Неудобно его беспокоить. А с ушедшими — очень просто. Они откликаются мгновенно, ибо находятся в другой реальности и немой зов им понятен.

В зависимости от душевного состояния в определенные дни, обращаюсь то к тем, то к другим. Как и с живыми людьми, с некоторыми говорить легче. Они общительнее, отзывчивей. Другие придут, но нехотя. К третьим уже соберешься обратиться, но в последний момент что-то останавливает. Робость ли, или просто догадка — "не поймут" — не знаю.

Конечно, они, братья мои, не отвечают мне в буквальном смысле слова, то есть, голосов я не слышу и во сне они мне не являются. Это был бы ужасно дурной вкус, театральщина. Забыл сказать, что обращаюсь я, естественно к большим мастерам, как младший, сопливый братишка к старшему брату, который уже все познал.

Бывает, однако — и тут-то поразительный, страшный и трогательный момент — что тот, к кому взываю, умер в молодом возрасте. И я, седой и плешивый — каким же "младшим братом" могу ему быть? Смешно! К такому рано умершему брату появляется у меня какая-то особая братская любовь. Видишь, что перегнал его в летах и хочется вскинуть руки, извиниться — "прости, браток, что так получилось... Не виноват. Везут меня по жизни, сойти нельзя. Да... и не хочу".

В то же время чувствуешь, что в его, братка, ранней смерти было что-то бесконечно благородное и красивое. Он остался для нас навеки молодым. Ведь право же хорошо, что мы не знаем плешивого и беззубого Рафаэля, страдающего старческим слабоумием Караваджио, обрюзгшего, еле двигающегося Жерико. Впрочем, это пустые размышления. Мы любим старца Тициана, старого, бородатого Леонардо, морщинистого Микельанджело.

Но в этом-то все и дело. Прошлое зафиксировано для нас в ярчайших сильнейших образах, в то время, как динамика нашей сегодняшней жизни мутна, вне фокуса.

Возвращаюсь, однако, к братьям моим. Когда "дохожу до

точки", подыскиваю себе наиболее подходящего собеседника и "бухаюсь на колени". "Браток, услышь меня! Помоги! Укрепи линию, освежи краски мои! Благоустрой композицию мою! Ведь ты все это прошел, отмучался. А я все еще терзаю кисти — и терзаюсь!"

И где-то надо мною понимающее око брата глядит, не мигая — и объемлет мои муки. Сразу как-то легче становится. Даже шморгнешь носом и улыбнешься, почувствовав облегчение. Несколько часов работаешь бодрее и правильнее. Потом устанешь и присядешь, благодарный брату за помощь.

Один раз, однако, померещилось — он, мне внимавший и меня ведший в эти часы работы, прощаясь и удаляясь, прошептал буззвучно: "А я и сейчас все еще мучаюсь, после этого . От неисполненности". Жалость, как говорится, резанула по сердцу от этих слов.

"Неужели все еще?"

"Да" — и скрылся.

Снова сидишь, зажав голову руками. И все же легче после контакта с братом. Думаешь "Так вот оно, значит, как. Нет ни начала ни конца, ни прошлого ни настоящего, ни живых ни мертвых. Все едино в искусстве".

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТЕЛЕ

Полнота или худоба людей вызывает, как мы знаем, определенные представления о их характере. Полных людей считают добрее, худых — желчнее, злее и т. д. Это, конечно, пустые разговоры. С медицинской точки зрения объяснения совсем другие. Но для художника физический облик людей имеет свою особую логику, не совпадающую ни с обычными бытовыми представлениями, ни с научными тем более.

Тело человека выражает суть его, является как отражением его внутренних качеств, так и причиной его поведения, интенсивности его чувств, даже обозначает место его во вселенной.

Вы скажете — глупости! Для художника — совсем нет. Вспоминаю иногда отрывки фраз, слышанных мною давным-давно, смешные замечания, не помню кем и когда сказанные — и с улыбкой думаю: "А ведь верно!". "Видите, какой у него нос —

лакомый. Сластолюбец!" "А вот у того, смотрите, уши бледные — определенно эгоист и педант". "У девушки с такими пухлыми коленками не может быть ума. Но зато масса доверчивости". И так далее.

Многие возмутятся — что за вздор! Да и неверно ведь все! Может быть. Но не в этом дело. Тут происходит игра формы и содержания, выясняется, путем произвольных сочетаний, особая художественная правда. Кто-то сказал, что весь род человеческий произошел путем случайной мутации клеток. Кто знает. Но в творчестве случайные мутации формы рождают художественные образы.

"У него шишка на лбу — от того и художником стал!". Не смейтесь — и это бывает!

*

Многих видел людей, перенесших большие страдания — аресты, концлагеря, потерю близких. Все это наложило отпечаток на их лица, изрезало их морщинами, сморщило, скривило, сжало. Но ни на одном лице не видел я такой безысходности, такого отчаяния и одичания, как на лицах людей, проживших одиноко и без любви. Жизнь наказала их (справедливо или несправедливо - роли не играет) и сделала их смешными и жалкими - и даже физически отталкивающими. Ибо жизнь не терпит неестественности и карает ее уродством.

Мы все — физические уроды в том размере, в каком не исполнена любви наша жизнь.

*

Тело должно себя оправдывать, как хорошая машина, физически.

Видел сухонькую, кривую, но молодую еще женщину, на редкость непривлекательную.

Как неоправдано было ее тело!

Как убого было все то, что должно радовать глаз и делать эту женщину желанной!

В тайнах чрева слагаются физические возможности

будущего человека, предначертывается его жизнь. Вот рождается человек, а впереди, им незнаемое, лежит физическое будущее. Носик ребенка вырастет в гулю, ножки превратятся в большущие ступни, а походка — как у утки, вразвалочку. Вот и живи!

Действительно, от этого всякие мысли в голову приходят — о назначении человека, о наказании Божием, об инкарнациях, о какой-то системе и логике, назначающей человеку определенное тело, о греческом понятии этоса, соединявшего красоту и мораль воедино.

Смотрю на людей, идущих по улице. Все наказания Божии идут, в физических своих искажениях и уродствах. Физические и эстетические неоправданности.

"БУРГЕР КИНГ"

Часто завтракаю в ресторанах "Бургер Кинг" — их по Америке тьма тьмущая. Заведения эти отличаются чистотой, ярким цветом столиков и стульев и хорошей, дешевой едой. Бесчисленные семейства с детьми, молодежь, группы пожилых женщин поглощают в них мясные котлетки "хамбургерс", жареную картошку и ядовитого цвета напитки.

Особое ощущение охватывает меня, когда, оглянувшись по сторонам, вижу десятки и десятки ртов, сотни пальцев (тонких, толстых, морщинистых, с блестящими ногтями), так по-разному держащих булочку, в которой зажата котлетка. На столах —белые хлопья скомканных бумажных салфеток, надломанные соломинки, торчащие из стаканов. И взгляды — задумчивые, сосредоточенные, пустые, отсутствующие. Питание человека. Как-то раз пришлось мне увидеть дерево, листья которого на моих глазах уничтожались тысячами зеленых гусениц. Их головки качались, тельца слегка изгибались в ритмичном движении пожирания листвы. Подобное чудится мне и в помещении ресторанов. Процесс питания приобретает самодовлеющее значение, отмежевывается от всего остального и весь ресторан движется жевательным ритмом.

Только дети с полуоткрытыми, мокрыми ртами и крошками на губах блуждающими взгдядами водят по стенам и людям. Для них питание — навязываемая родителями необходимость.

РАЗНОЕ

Искусство зиждется на мироощущении, а не на мировоззрении. Мне всегда как-то не по себе становится, когда люди (обычно сами живописью не занимающиеся) говорят о "духовных ценностях", заложенных в искусстве. Для них эти ценности — в значительности сюжета, мастерстве исполнения и т. д. Все это верно, не спорю. Много произведений искусства с несомненными, неоспоримыми духовными ценностями. Но сухо было бы искусство, если бы не было в нем ценностей "недуховных". Беру "недуховность" в кавычки, так как для меня в ней всегда есть злемент какой-то Божьей улыбки, любви, жизнеутверждающего начала, которое в конце концов восходит к тем же высотам, что и "прямая" духовность.

Больше всего боюсь мистики, трансцендентного, философских глубин в искусстве. Обычно, это иллюстрации духовных переживаний, а искусство — никогда не иллюстрация.

В искусстве можно себя даже загипнотизировать на духовность. Тогда совсем беда. Как религиозный фанатик — все дальше от Бога, так и тут — все дальше от искусства.

*

Мы все обладаем некой абстрактной симпатией и антипатией, нам самим не всегда ясной. Бывает, слышишь от женщины: "Я, знаете, ненавижу стулья с гнутыми ножками". А почему? Задумайтесь. Если спросить саму женщину, то она скорее всего ответит "потому, что не люблю, некрасиво". Но это не ответ. А объяснение — не та абстракция, несозвучная. А вот стул с прямой спинкой и ножками — "Ах, какая прелесть!". Абстракция совпала.

То же самое с красками. "Ненавижу зеленый цвет! Обожаю

бежевый". У женщин эти абстракции сильнее выражены, в силу большей животной витальности, очевидно. Эти абстрактные созвучия и несозвучия суть проявления каких-то глубинных, фундаментальных качеств человеческой природы. Настоящий художник умеет их выявить и развить.

*

Споткнулся. Остановился. Оглянулся. Кругом — дома, люди идут, машины едут. Надо всем этим — небо в тучках. Картина.

Пришел домой и долго писал. Без сюжета, без задачи, даже без определенного настроения. Только для того, чтобы понять, что именно я тогда, в тот момент, почувствовал? Ибо я совершенно определенно что-то тогда почувствовал.

Так рождаются образы. Так живопись помогает жить.

*

Самое значительное начертание тела — это перевернутый "игрек", т. е. вилка жизни.

"Ах, подайте ножик-вилку
Я зарежу мою милку!". Эта вилка одновременно и число 3, магическое.

*

Нужно жизненно оскудеть, чтобы "заостриться". Через зубную боль жизни смотришь на мир. Не ноет — не видишь. А как занудит, заноет — пятнами цветистыми проступают образы, сочетания, формы. Неужели у всех так было?

*

Человеческие жизни — как сжатые кулаки, одни крепче, другие слабее. В каждом зажато что-то — цветок, гвоздь, сгусток крови, несколько слезинок. Или нечистоты.

Когда жизнь кончается, кулак разжимается и руки моются.

С. Голлербах

ПОСЛЕДНИЙ ПРИВЕТ

ПАМЯТИ ЖАКА РИВЬЕРА [1]

Le vrai sage est celui qui fonde sur le sable Sachant que tout est vain dans le temps éternel;

H. de Regnier

Перечитывая то, что осталось у нас от J. Rivière'a — и между прочим его "Introduction" к "Miracles" [2] безвременно погибшего Alain Fournier (введение, которое нам не меньше рассказывает о самом Riviere'e, чем о Fournier) — я, дойдя до места (ст. 17), где он делится с читателем своими впечатлениями от чтения Tel qu'en songe Henri de Regnier, вспомнил другие когда-то поразившие меня стихи этого же поэта:

Le vrai sage est celui qui fonde sur le sable
Sachant que tout est vain dans le temps éternel. [3]

И теперь они мне показались еще более глубокими и значительными. И еще показалось мне, что когда J. Rivière писал свое introduction, они как бы стояли пред его глазами. Он чувствовал, что, если он захочет "строить на прочном граните", может быть и удастся сохранить для потомства кое-что из написаного Fournier, но самого его спасти не удастся. "Вечное время" беспощадно пожрет и проглотит и его, как уже пожрало и проглотило несметное количество молодых и старых человеческих жизней. Знания, самые прочные, возведенные на самом твердом граните

1. Jaques Rivière был редактором журнала Nouvelle Revue Française с 1919 по 1925 год. Он скончался в Париже 14 февраля 1925 г. Статья Шестова была напечатана во французском переводе в апреле 1925 г. в N.R.F. (numero d'hommage a Jaques Rivière). По-русски она печатается впервые.

2. Alain Fournier. Miracles. Gallimard. Paris 1925.

3. "Истинная мудрость покоится на песке,
Зная, что все ничтожно в вечности".

— все, что кажется нам несокрушимым in saecula saeculorum, все рано или поздно, станет добычей тления. И можно ли спасти от ярости времени юношу, хотя и высоко одаренного, но не успевшего за свое кратковременное существование даже приобрести в глазах людей право на monumentum aere perennius? История не впишет его безвестного имени на свои страницы, и люди, память которых и без того обременена нужными и ненужными знаниями, скоро о нем забудут.

Ривьер это чувствовал, когда начал писать свое Introduction и с той смелостью, которая его отличала еще в молодости и которою запечатлены все его юношеские статьи, собранные в вышедшей в прошлом году книге "Etudes", решился бросить вызов самому исполину — времени. Он передает, что известное признание B. Constant'a: "Je ne suis peut-être pas tout à fait un être réel"[4] потрясло необычайно Fournier и что "il nous recommanda solennellement de ne jamais l'oublier quand nous aurions en son absence, à nous expliquer quelque chose de lui..."[5] И так он толкует это требование: "Je vois bien ce qui était dans sa pensée: il manque quelque chose à tout ce que je fais, pour être sérieux, évident, indiscutable. Mais aussi le plan sur lequel je circule n'est pas tout à fait le même que le vôtre; il me permet, peut-être, de passer là où vous voyez un abîme: il n'y a peut-être pas pour moi la même discontinuité que pour vous".[6]

Так начинает свое "Introduction" Ривьер. Он понимает, что во всем, что делал его друг, строгая критика найдет ничем не оправдываемые недостатки. Защитить его нет никакой возможности, пока приходится бороться на той почве, на которой обычно люди сталкиваются. Очевидность, бесспорность, даже то, что люди превыше всего чтят — значительность (sérieux), на стороне его противников. Но побежденным он себя признать не хочет. Как Макбет у

4. "Я не совсем существо реальное".

5. "Он нам торжественно предложил никогда не забывать, когда в его отсутствие мы будем что-нибудь говорить о нем..."

6. "Я хорошо понимаю, в чем была его мысль: чего не достает во всем, что я делаю, чтоб быть значительным, ясным и бесспорным. Но к тому же план, в котором я живу, не совсем тот, что и Ваш; он мне позволяет пройти там, где Вы видете бездну: может быть для меня не существует той прерывности, которая есть у Вас".

Шекспира, он вызывает самоё судьбу на поединок. Он поднимает вопрос: точно ли то, что мы считаем очевидным и бесспорным, точно ли значительность, за которую мы воздвигаем людям памятники из бронзы, меди и мрамора — во всех сферах бытия пользуется тем же признанием, как у нас на земле. Вопрос столь огромный — и вместе парадоксальный — чтоб ответить на него нужно было бы пересмотреть все наши представления о существующем. Да и полагается ли на такие вопросы отвечать? Время и человеческий разум, к которым эти вопросы обращены, — способны ли они их услышать? Ведь и время, и разум при всем их столь принижающем людей всемогуществе слышать не умеют! Это им не дано. Ривьер знает это не хуже других. Он дальше пишет (12): "Quand je la compare à la sienne, toute ma vie qui pourtant fut occupée par beaucoup des mêmes événements, m'apparaît affreusement positive. J'ai saisi bien des choses qu'il laissa échapper; mais c'est lui qui volait, moi qui reste..."[7]

Но не только жизнь Ривьера, и жизнь его друга была affreusement positive. Не говорит ли он нам сам — с той проницательностью, которая не изменила ему даже и тогда, когда он наталкивался на неуловимейшие движения своей и чужой души, что биография Fournier, как бы добросовестно ни рассказать ее, была бы только récit des faits qu'il n'a pas vécus. Я думаю, что и биография Ривьера была бы только récit des faits qu'il n'a pas vécus. Но о себе даже Ривьер, при всей своей неустрашимости не решился бы сделать тех признаний, которые он сделал за своего друга. За ушедшего в иной мир можно сказать, что в каком-то плане бесспорность, очевидность и даже значительность утрачивают свою власть и обаяние. Как о себе сказать это? Легче назвать себя affreusement positif, легче сравнить себя с пресмыкающимися, только бы сохранить право признаваться всеми реальным существом. Умерший обойдется и без памятника — живому же без признания и содействия людей никак не просуществовать. Ривьеру не только в жизни, но и в писаниях своих (даже в Introduction, о котором у нас идет речь) приходится

7. "Когда я ее сравниваю с его жизнью, вся моя жизнь, которая была полна теми же событиями, казалась мне чудовищно статичной. Я схватывал многое из того, что ускользало от него; но это он, кто парил, а я оставался на месте..."

большей частью быть affreusement positif. И, нужно думать, что как раз то, что было наиболее позитивного в его писаниях нашло себе наиболее сочувственный отклик у читателей и дольше всего сохранится и будет цениться людьми. А все мимолетные как бы замечания, как те, которые я уже привел здесь из Introduction, так и те, которые я не привел не потому, что они того не заслуживают, а только потому, что в краткой заметке я не располагаю достаточным местом, чтобы извлечь из оставшегося после Ривьера литературного наследия все те "мимолетности", которые он противопоставлял "бесспорностям" обычного мышления, — будут скоро забыты, хотя они нам говорят о жизни не только Fournier, но и самого Ривьера больше, чем может рассказать самая обстоятельная биография. Я не могу закончить эту заметку, не приведя еще нескольких поразительных цитат из Introduction. Все они относятся к Fournier, но, думаю, нет надобности каждый раз напоминать читателю, что они больше всего говорят о Ривьере. "Il ne trouvait jamais faciles que les chemins inexplorés" (45).[8] Или "Fournier n'est lui-meme et ne trouve toutes ses forces que dans l'instant ou il se sent vide de tout ce dont il a pourtant besoin" (47)[9]. Или еще: "Sachant bien qu'il ne l'obtiendra pas, c'est un trésor qu'il exige, qui lui est du" (48). [10]

Прослеживая судьбу, не жизнь, а судьбу своего друга, Ривьер все больше и больше убеждается, как мало занимает других людей, иначе говоря, как мало имеет объективного значения как раз то, что для человека наиболее важно и существенно. "Dure tache que de s'accomplir! Que de liens il faut briser! Que de contacts il faut rompre! Comme il est seul l'homme en qui bouge le pauvre et impérieux devoir de créer!" (80).[11]

В конце Introduction мы читаем следующие загадочные слова,

---

8. "Он находил легкими только нехоженные пути".

9. "Фурнье похож на себя и находит все свои силы только в момент, когда он опустошен от всего того, в чем он, казалось бы, нуждается"

10. "Зная хорошо, что он его никогда не достигнет, он именно это недостижимое и требует, считая, что он имеет на него право".

11. "Что за тяжелый долг выявить себя! Сколько связей надо порвать! Сколько отношений надо разорвать! Как одинок человек, в котором горит властная творческая сила!"

которые я считаю необходимым привести целиком, хотя знаю так же хорошо, как знал и сам Ривьер, что в них не только нет ничего бесспорного, но что они никогда не войдут в человеческий обиход, ибо они бросают вызов всем нашим очевидностям. "S'il (Fournier) acceptait de n'être pas ici-bas tout à fait un être réel, n'était-ce pas dans le pressentiment qu'il le pouvait devenir ailleurs? Oui, je ne résiste pas, par instants, à cette impression que la mort fut pour lui... comme une rame tout à coup pour s'aider vers plus de réalité et d'existence. Le son de cette voix qui l'appelait plus loin... quand il l'eut laissé pénétrer jusqu'à fond de son coeur... Esprit timide et sans peur, il s'enfonça dans ce monde même qui avait toujours regné sur sa pensée... D'un nouvel acte de foi.. il se l'ouvrit, j'en suis sûr, et de toute son âme, en un clin d'oeil, le rejoignit. Il faut que nous pensions à lui, toujours, comme à quelqu'un de "sauvé". [12] Такие мысли "par instants" посещали J. R. И такие мысли, далекие и чуждые людям, он ронял тоже только в редкие минуты, в своих статьях. Они не могут назваться бесспорными и опереться на твердый гранит наших самоочевидностей: сам Ривьер, еще раз повторю, сказал нам это в начале своего "Introduction". Но ведь в те минуты, когда такие мысли приходили к нему, он переставал верить и в гранит и все другие человеческие твердыни. И теперь, когда вслед за своим другом, он ушел в ту страну, из которой ни один путник еще не возвращался к нам, теперь, перечитав его "Introduction", мы чувствуем себя вправе послать покойному, как последний привет свой, летучий стих любимого поэта его молодости.

Le vrai sage est celui qui fonde sur le sable,
Sachant que tout est vain dans le temps éternel.

Лев Шестов

---

12. "Если он соглашался здесь не быть совсем реальным существом, не было ли это в предчувствии, что он может им стать в другом мире? Да, я иногда подчиняюсь тому впечатлению, что смерть для него была неким веслом в достижении более существенной реальности в полноте бытия. Звук того голоса, который его звал все дальше и дальше, когда он разрешал ему проникнуть в себя. Дух стыдливый и бесстрашный, он углублялся в тот мир, который всегда царил над его мыслями... этим новым актом веры... он открыл его для себя, я в этом убежден, и всей своей душой сразу вошел в него. Мы должны о нем думать всегда как о спасшемся".

ЭМИЛИЯ ДИКИНСОН

Мчится колесница.

Даты Эмилии Дикинсон: 1830-1886. Почти все эти годы она прожила в Долине пионера, в штате Массачузеттс, в городке Амхерст, где родилась и умерла. Там до сих пор стоят десятки домов, выстроенных в начале прошлого столетия. Выделяются кирпичные корпуса Амхерст-колледжа. Здания этого георгианского стиля можно увидеть и в старой Англии, которой Новая Англия тогда подражала.Хороши классические фронтоны с белыми колоннами — не каменными, а деревянными, полыми и гулкими, если постучать по ним. Один из основателей этого мужского колледжа был дед Эмилии: Самуэл Фолер Дикинсон. Щедрые пожертвования колледжу почти разорили его и он принужден был продать свой дом, в котором родилась его внучка Эмилия. Но ее более осмотрительному отцу Эдуарду Дикинсону (1803-1874) удалось эти пенаты выкупить. Дом сохранился, хотя и не в первоначальном виде: тоже кирпичный и с деревянными колоннами. Вокруг — обширный сад, переходящий в другой — с домом брата Эмилии — Остена (1829-1895). Всюду ели, дубы, клены. Высятся тюльпановые лириодендроны, кажется, посаженные уже после смерти Эмилии. Были и плодовые деревья. Осталось только несколько одичавших яблонь. За несколько миль от Амхерста женский колледж Маунт-Холиок, где Эмилия недолго училась.

Судя по ранним девическим письмам, Эмилия была очень впечатлительная, но все же достаточно обыкновенная барышня 40-х г. г. Училась, танцовала, ездила верхом. Ее остроумие привлекало студентов-кавалеров. Но никто руки и сердца не предложил. Эмилия была некрасива. Большеротая,

плоскогрудая. Нос — толстоватый и как будто башмаком. Хороши только глаза — большие, туманные. Нет основания думать, что в кого-нибудь влюблялась. Любимый брат Остен и подруги заменяли кавалеров.

Когда Эмилии было лет двадцать пять, она с младшей сестрой Лавинией (1833-1899) совершила свое самое далекое путешествие: в Вашингтон, к отцу-конгрессмену. В Филадельфии она слышала огненную проповедь пастора Чарльза Уодсуорта (1814-1882). Сохранились копии или черновики ее писем Мастеру (учителю): им мог быть Уодсуорт, но это не доказано. Существует гипотеза: мастер — вымышленное лицо. Письма к нему обращенные беспомощно-патетические. Таких неистовых посланий она никому не писала. Ей мерещилось: "Если бы я обросла бородой, как вы, а вы покрылись бы маргаритками...". "Если бы Карло (любимый пес) и вы, и я, прогуливались бы часок по лугам — и никому не было до нас дела... кроме боболинка". Это американская птица: рисовый трупиал, питающийся диким рисом. Есть андрогинные черты в этом бредовом видении бородатой девы и "маргаритового" Мастера. А в одном из поздних стихотворений Эмилия к кому-то взывала: — Ампутируй мою веснушчатую грудь, вырасти мне бороду... Она же писала в другом, очень загадочном стихотворении: — Моя жизнь — заряженное ружье, поставленное в углу. А всякое оружие — мужской символ. Критик Джон Коди говорит о бисексуальности Эмилии, но его подход очень уж "медицинский". Андрогинность Эмилии — духовная, как у Платона или Якова Бема, а также у Владимира Соловьева или Бердяева. Но воздержимся от преувеличений. Есть и женственность в Эмилии и, главное — человечность.

С годами Эмилия все больше чудила. Жители Амхерста называли ее полоумной дочерью сквайера Дикинсона, почтенного конгрессмена, юриста, казначея амхерстского колледжа. А неизбежные кумушки перешептывались: мисс Эмилия — старая дева, а все еще невестится в неизменном белом платье. Последние 20-25 лет Эмилия жила в добровольном затворе. Выходила только в свой сад и изредка навещала брата-соседа. Не выносила людей, кроме домашних. Даже не присутствовала на похоронах своих родителей. Уже в 80-х г. г.

сестру Лавинию посещал профессор астрономии Тодд с женой Мэйбл (1856-1932). Она понимала поэзию, подготовила к печати первый — уже посмертный сборник стихов Эмилии Дикинсон. Рисовала, пела, играла, а амхерстская затворница слушала ее из соседней комнаты. Они переписывались, но так и не встретились. Чем объясняется этот добровольный уход из мира? Лавиния, отвечая на нескромные вопросы поклонников сестры, говорила: — Так уж случилось... Это, конечно, не объяснение. Повидимому, Эмилия ненавидела то, что мы, начиная с Гоголя, называем пошлостью. Для нее были непереносимы все условности общения, даже с друзьями. Ее отталкивало любое общество: элита на лекциях прославленного новоанглийского мудреца Эмерсона или в салоне интеллектуальной львицы — невестки Сюзан. А также и паства в церкви, и не только лицемерные, но и на самом деле набожные прихожане. Она как-то назвала себя эмигранткой. Замечу: в США было немало таких внутренних эмигрантов. Некоторые из них навсегда уезжали в Европу: Хенри Джеймс, Т. С. Элиот или Эзра Паунд. А Эмилия "эмигрировала" в Хомстэд — отцовскую усадьбу. Писала — Душа сама избирает свое общество: преимущественно книжное (поэтов, мыслителей) или эпистолярное (друзей-корреспондентов). Публикацию называла аукционом. Предпочитала быть Никем, а не Кем-нибудь.

Вполне согласен с большинством американских критиков: не загнала ее в затвор насчастная любовь. Тот таинственный Мастер не мог быть ее любовником. Эмилия — монахиня в миру, но не смиренная, а бунтующая. Родной Хомстэд стал ее эрмитажем-конвентом. И уж, конечно, не башней из слоновой кости! Эмилия жила в измерении напряженного, мучительного, но и блаженного уединения. Но, пребывая в экстазе, сохраняла чувство комического. Будто бы какая-то непрошенная посетительница спросила ее: где можно найти в Амхерсте дешевую квартиру? Эмилия ответила: — Самая дешевая на кладбище.

В настоящее время пересматриваются некоторые установившиеся мнения о семье Дикинсонов. Отец — тщеславный домашний тиран. Мать глупая, ко всему равнодушная женщина. Брат Остен стеснялся чудачеств сестры. Властная невестка Сюзан хотела как-то поработить Эмилию.

Сестра Лавиния — Марфа: ушла в хозяйство и любила одних кошек. А один из биографов впал в другую крайность: увидел в Дикинсонах героев Достоевского. Это уже явное преувеличение. Но, несомненно, по свидетельству самой Эмилии, вся семья была особенная, непохожая на другие семьи: и дружная при всех различиях и разногласиях.

Между тем, "тиранический" отец позволял дочери не ходить в церковь, а это ведь, в Америке того времени, было чуть ли не публичным скандалом. Запрещал Эмилии читать книги и все-таки покупал их по ее заказу. Чем-то нужна была и "безразличная" мать, за которой нежно ухаживали обе дочери: она долго и мучительно болела. Брат Остен оставался близким другом. Лавиния-Марфа издала непонятные ей стихи Эмилии-Марии. Невестка Сюзан понимала поэзию и с ней долго дружила. Правда, в последние годы жизни они были в ссоре.

Все Дикинсоны по крови любили друг друга. Сестер глубоко потрясла смерть отца и матери. А Эмилию совсем подкосила агония племянника, сына Остэна и Сюзан — Гилберта (1875-1883). Она вспоминала — мальчик кричал в бреду: — Откройте двери, они меня ждут... и "маленькая послушная тетка" исполнила его последнее желание. Ей было тогда 53 года. Она прожила еще три года. Часто болела, падала в обморок. Умерла 15-го мая 1886 г. По устному завещанию ее одели в белое платье и вынесли гроб с заднего крыльца.

В 1870 г. Эмилия нарушила свой затвор: приняла Томаса Хиггинсона (1823-1911). Он сотрудничал в журнале *Антлантик Монтли*. Одно время был пастором. Во время гражданской войны дослужился до чина полковника. Еще за 8 лет до встречи с Эмилией он обратился с призывом к молодым талантам Америки... Эмилия послала ему несколько стихотворений. Его вердикт: плохие рифмы, "спазматические ритмы", отсутствие авто-контроля. Тем не менее, советовал ей писать, но по установленным правилам стихосложения.

Странная барышня заинтересовала Хиггинсона и он посетил ее в Амхерсте. Этот весьма посредственный, но влиятельный в ту эпоху литератор, был ошеломлен не стихами Эмилии, а ее *явлением* в белом платье, с двумя лилиями. Но как будто был и напуган необычностью этого *явления* и малопонятными

монологами Эмилии. Повидимому, покровительствуемая им амхерстская затворница сбила его с толку, поставила в тупик. — Я не хотел бы жить близко от нее, писал он жене, она действует мне на нервы.

Даю несколько выдержек из его все же интересных воспоминаний и из писем к нему Эмилии.

Любимые книги? Китс, оба Браунинга, Апокалипсис. Добавлю: Шекспир, которого она постоянно перечитывала, Джордж Элиот, сестры Бронте.

Читала ли Уолта Уитмена? — Нет. Мне сказали, его стихи неприличны...

Мои спутники? — Холмы, сэр, закат, пес Карло, который с меня ростом. Они лучше людей: ничего не говорят, но (все) понимают.

"Если читая книгу, чувствую во всем теле озноб — такой, что никакой огонь не согреет: я знаю — это поэзия. Когда я физически ощущаю — мне снимают голову: я знаю — это поэзия".

"Мои глаза цвета недопитого гостями шерри".

Она же говорила: мой дом, мой сад — мой мир. Все же, отсутствие литературной среды могло ее удручать и она ценила литературного педанта Хиггинсона. Даже несколько позировала перед ним при встрече да и в письмах, хотя всякое кокетство было ей несвойственно и мало, слишком даже мало было у ней литературного честолюбия. Эмилия кротко выслушивала его наставления, но продолжала писать по-своему, не по викторианским канонам той эпохи и, тем самым, обрекала себя на неизвестность. Кажется, только 7 ее стихотворений были изданы при ее жизни и, к ее неудовольствию, в исправленном виде.

Первое посмертное издание стихов Эмилии Дикинсон произвело известное впечатление в узких кругах преимущественно новоанглийского общества. Но, по-настоящему, ее оценили гораздо позднее. То, что не нравилось девятнадцатому веку, пришлось по вкусу двадцатому веку. О ней начали писать в конце 20-х г. г., а за последние годы Дикинсониана непрерывно растет. Даю некоторые отзывы.

Критик и поэт Аллан Тэйт: Ни у кого в Америке не было такой глубокой внутренней жизни.

Не очень вразумительный, но острый Р. П. Блэйкмур блеснул афоризмами: в своем уединении Эмилия вышла замуж за самое себя. Едва ли это так. Любовника у Эмилии не было, но был таинственный возлюбленный *он* и совсем не тот Мастер: об этом речь ниже. Другой афоризм Блэйкмура: Эмилия игривый котенок, который не знал, что он тигренок. Это верно: таились в ней страсти крупных хищников.

Джон Кроу Рансон, как и другие критики, сравнивал Эмилию Дикинсон с Уолтом Уитменом, которого амхерстская барышня не читала из-за его "неприличия". Эта аналогия допустима, хотя оба они были очень разные. Уолт — экстроверт. Уолт — нью-йоркская улица. Бедняк. Иногда босяк. Демократ. Эмилия — интроверт. Затворница в усадебном доме. Мало тратила, но в деньгах никогда не нуждалась. Принадлежала к старому роду Новой Англии. Установлено 7-8 поколений ее родословия. Предки были фермерами. Воевали с индейцами и англичанами. Занимали выборные должности. Отец и брат учились в университете. Можно говорить о знатности Дикинсонов, и Эмилия разделяла некоторые предрассудки своего класса: недолюбливала ирландцев. А Демократом она называла всех уравнивающую смерть.

Сходство между Уолтом и Эмилией: их варварская оригинальность, их варварская стихийность. Здесь в слово варварство я вкладываю положительный смысл. Так, величие русской литературы (после Пушкина) тоже отчасти варварское — несколько бесформенное, но могучее, пророческое и, как многие думают на Западе: Толстой или Достоевский куда значительнее своих более оформленных западных современников, будь то Стендаль и Флобер, Бальзак и даже Диккенс. Отмечу: лорд Дэвид Сёсил гордился тем, что английская литература более варварская, чем французская. Это своего рода "скифство" и, конечно, не нужно преувеличивать такого рода "дикости"...

Эмилия была хорошо образована, впитала в себя уже совсем не провинциальную культуру Новой Англии. По сравнению с ней — Уолт неуч. А на воображаемом Парнасе они разгуливают вдвоем: воспитанная барышня Эмилия и "неприличный" босяк Уолт. Или даже втроем: с грубоватым моряком Херманом Мелвиллом.

Уолт Уитмен, порывая со всеми традициями, сближал поэзию с прозой. Поэтику Эмилии связывают с протестантской гимнологией. Но духовные песни легко поются, а Эмилия не напевна. Ее спондеи невоспроизводимы вокально. Она тоже, хотя и менее резко, порвала с традициями и, поэтому, не доходила до современников. Поэзия Эмилии Дикинсон казалась непонятной и по смыслу: викторианские читатели не могли уследить за ее перескоками от одного образа к другому. Но такая эллиптичность стала каноном для многих — и не только американских поэтов 20-го в. Этим отчасти объясняется пробудившийся интерес к стихам Эмилии. Замечателен ее язык: иногда высоко-патетический, книжный, но смешанный с разговорными выражениями, бытовыми словами. Ангелов она называла сапфирными парнями. А змея — узенький парень (fellow). Молния — желтая вилка или желтый клюв. Гром — гробовой бас. Облака — слоны (но еще Гамлет сравнивал их с верблюдами...). Солнце — заоблачный мак. Догадка мчится галопом, загадка едет верхом. Небеса — колокола, бытие — ухо. Ради тебя я хотела бы быть сразу и носорогом и мышью... Библейский Иаков — атлет (гимнаст). Предлог "до" и наречие "опять" она превращала в существительные и писала эти слова с большой буквы. Умела сжато передавать мысли (как оригинальные, так и не новые): Смерть отнимает у нас способность убивать. Вечность кличка, данная Богом блаженству. Идя, мы не знаем, что идем. Семьдесят лет были быстро истрачены, как один доллар. Из обычного значения (слов) поэт извлекает (новый) изумляющий нас смысл.

Критика уже отмечала: причудливые образы и обороты барочного типа сближают Эмилию Дикинсон с английскими метафизическими поэтами 17-го в. Она их читала (напр., Джорджа Херберта), но, по существу, имела мало общего с теми пламенно-темпераментными, но и рассчетливо-изощренными маньеристами. У Эмилии маньеризма нет. Ее динамика иная: первозданно-стихийная. В основном она проста.

Викторианский слух современников резали мелодии-молнии Эмилии. Как спондейно-ударны хотя бы две строки ее богоборческого стихотворения, насыщенного страстью:

Should the glee — glaze —
In Death's — stiff — stare.

Здесь слышатся шумы аллитераций. Поражает сжатость речи: прерывистой, задыхающейся. Будто у нее "в зобу дыханье сперло" (и Эмилия едва ли бы обиделась за сравнение с крыловской вороной: она любила всех птиц). В русском языке эти короткие английские слова поневоле заменяются многосложными. Попытка перевода:

Должно ли блаженство остекленело
В окостенелую смерть заглянуть.

В этом стихотворении — победа искусства над хаотическим материалом. Поэту удалось художественно упорядочить бессвязные чувства и мысли (Берта Линберг-Сейерстэд). Я еще вернусь к этому драматическому стихотворению.

В английском языке много скоплений согласных — консонантных гроздей: и Эмилия умела их обыгрывать. Но ей также удавалось добиваться вокальной гармонии, несвойственной мужественно-жесткому и едва ли благозвучному английскому языку:

Away of home are some and I...

Эмилии нравилась экзотическая география. Что-то волшебное слышалось ей в странных названиях: Тимбукту, Тунис, Перу, Чимборасо, а также в русских "водах многих" — Дон, Днепр, Каспий, Балтика. Не была ли для нее эта топонимика субститутом магического слова в заклинании: Сезам, Сезам, отворись! Этой географической магией были одержимы и русские поэты (Державин, Цветаева или Пастернак).

Десятки стихотворений Эмилия начинала с местоимения "я". Но это не эгоцентризм и уж, конечно, не нарциссизм. Совсем она не вышла замуж за самое себя, как утверждал Блэйкмур. Собой она никогда не любовалась в поэзии (хотя и могла иногда позировать в письмах). *Эго* Эмилии не вполне женское. Оно отчасти андрогинное, и я уже говорил об этом. Вообще: очень индивидуальное и неповторимое по интонациям *эго* Эмилии часто выражает чуть ли не любое человеческое "я" в предельно драматической ситуации.

Эмилия Дикинсон выпорхнула из старого пуританского гнезда, которое уже не нужно было охранять от враждебных сил

природы, от ураганов и смерчей, а также от вооруженных томагавками индейцев, как это делали фермеры в местечке Дирфилд, расположенном в нескольких милях от Амхерста. Мужчины отстреливались, женщины обливали их кипятком, но дирфилдская "хижина" была захвачена краснокожими, убившими всех героических защитников. А в 19-м в. пуританские гнезда стали весьма комфортабельными культурными усадьбами, но мирная жизнь их обитателей оборачивалась ханжеством и иногда тщательно скрываемым безверием. Этих пороков у Эмилии не было и, если она изредка сомневалась в Боге, то этого не скрывала. Американские исследователи жизни и творчества Эмилии Дикинсон немало внимания уделили ее пуританскому наследию. Так, ей был свойственен суровый самоанализ пуритан. Но в своем "внутреннем человеке" Эмилия докапывалась не до грехов, вольных и невольных: и не всегда ее правда была благочестивой (Сьюволл).

От старых пуритан Эмилия унаследовала и огненный язык Библии. Ее можно назвать пуританкой на свой лад... Она не разделяла пуританского учения о возмездии, аде, о спасении немногих избранных — *чистых* праведников. В ее мире кальвинистического Иегову заменил Дух, который дышит, где хочет: Дух, не мстящий, но суровый, непереносящий лжи и лицемерия разжившихся псевдо-пуритан, среди которых ей приходилось жить. Но не доверяла она и периодическим "возрождениям" старой пуританской веры и, поэтому, перестала ходить в церковь.

Есть беспощадность, даже жестокость в этих стихах Эмилии:

Мила иногда агония,
Ибо правда она.
Не притворство — конвульсии,
Не симуляция, нет.

Есть загадочность и в том, уже упоминавшемся выше загадочном стихотворении, где Эмилия сравнивала себя с заряженным ружьем, а Его с владельцем этого ружья:

Я дольше могу прожить.
Он должен дольше, чем.

Я в силах убивать.
Не в силах убивать.

По крайней мере, четыре критика старались расшифровать это "темное" стихотворение, которое кажется написанным в 20-м в. Кто этот Он? Может быть Бог-охотник, приказывающий ружью, т. е. омуженной Эмилии убить оленя или кролика. Он — беспощадный Хозяин, а также Возлюбленный: и есть динамика, есть эрос в беспрекословном послушании этому Ему. Все же, это только гипотеза.

Чаще всего *Он* Эмилии — смерть, которая у ней всегда мужского рода. Иногда это страшный враг, но и правда, которая не позволяет человеку лгать в конвульсиях агонии. Иногда же смерть, пугающий, но чем-то привлекательный Он:

Прах — единая тайна.
Смерть — единственный Он.
Не узнаете какой
Его "город родной".
Не было у него "отца",
Не был мальчиком Он —
И с детьми не резвился.
"Ранней истории" нет.
Лаконичен. Прилежен.
Пунктуален. Невозмутим:
Корсар Он — отважен.
И бриг — неколебим...

Отсутствие смерти — пугает (неизвестное — страшно). Но разбойник (пират в моем переводе) чем-то привлекает. Кем бы ни был ее верховный Он — захватывает ее ошеломляющая, не дающая передохнуть, лирика в ритме лихорадочного сердцебиения.

Еще один образ "любезной" смерти:

Не могла остановиться.
(Меня) остановила любезно смерть.
Никого в колеснице —
Кроме нас — и бессмертия.

(Замечу: в советском и в общем удачном переводе этого стихотворения, Иван Лихачев умолчал о "любезности" смерти! А в этом вся соль!). Это всё тот же — захватывающий Эмилию

Он, который являлся ей и в образе смерти и в образе жениха, Бога, поэта.

По ложным на мой взгляд канонам современной "глубинной" психологии этот Он (под всеми своими псевдонимами) преимущественно возлюбленный. О нем будто бы мечтала любовью неудовлетворенная старая дева Эмилия, для которой поэзия была субститутом эротики. Эротичность образов охотника, разбойника и любезного ангела смерти — несомненна. Но эрос Эмилии поистине преображенный. К тому же, по всем биографическим данным она отлично обходилась без любовника. Поэзия для нее была тем, чем была мистика для Св. Терезы:

Порядок в перечне моем —
Сперва поэты — после солнце —
И лето. Божий рай потом.
А далее — концовка.

Существенно: во многих стихотворениях Эмилии смерть-жених-охотник-разбойник-Дух не сливаются в единого пугающего, но и желанного возлюбленного. Другие аспекты: иногда смерть, умирание — страшный физиологический процесс, а изъятый из преображающей эротики Бог — славимый Творец или отвергаемый Мучитель.

О своей собственной смерти Эмилия говорит в этих трех стихотворениях, которые справедливо считаются мастерскими: вполне законченными, а не фрагментарными. В первом она "ощущает похороны в своем мозгу". Есть здесь жестокий реализм:

Вот ящик стали подымать
И по душе моей
Скрипеть свинцовым сапогом...
(перевод Ивана Елагина).

Но есть прорыв в большой мир: Небеса — колокол, бытие — ухо. Далее опять реализм умирания: в мозгу сломалась дощечка и, падая вниз, ныряя, я ударилась — соприкоснулась с иным миром... Кончилась и узнала... А о том, что именно узнала — Эмилия целомудренно умалчивает...

В другом стихотворении драматические монологи: мои нервы в мраморе, а вчера я была живая женщина — дышала, и передо мной раскрывался рай (...). Кто облек меня в Каррару

(мрамор) и изваял мои мелодии? Все же, есть еще шанс — я вытянусь в бытие — в движение, дыхание. А в последнем стихе ее охватывает облегчающий трепет.

В третьем стихотворении не свинцовые сапоги, а свинцовый час. Это уже не только ее собственная смерть, а и любого человека. И здесь едва намечен просвет в последнем — напряженно сжатом стихе: Сперва дрожь, после столбняк, после отпущение. А в оригинале разговорное выражение — глаголы в значении существительного: the letting go.

Необыкновенная витальность Эмилии не мирилась с свинцовым реализмом смерти. Рассудку вопреки и наперекор стихиям слышался ей голос, говорящий: Смерть, где твое жало? Это ее личный опыт. Но перед чужой смертью у ней опускались руки. Ей было непоправимо жаль умерших, напр. утонувшего мальчика, которого она, может быть, лично не знала. В другом стихотворении она говорит: мало нужно умирающим, разве что стакан воды... может быть дружеское участие и уверенность в том, что когда он умрет — оставшийся жить не различит красок радуги (которая считается символом надежды). Здесь просвета нет.

Еще одно щемящее стихотворение: вероятно о смерти одного из близких. Мы в тоске замечали вещи, на которые прежде не обращали внимания, мы входили и выходили... она что-то говорила, но сразу забывала — что именно... и легко, без борьбы, тихо склонилась, как тростник над водой. Здесь же укор совести: как другие могут жить завтра, если она умрет сегодня.

Да, в *своей* смерти Эмилии иногда мерещился какой-то просвет, но не в *чужой*. Нежность, жалость не позволяли мириться с уходом близких и даже того утонувшего мальчика. В одном аспекте Эмилия "любила" агонию, но все же чужих страданий не прощала Богу. Это не противоречие, а антиномия, неизбежная в творчестве больших поэтов. Она могла быть беспощадной перед лицом смерти и могла быть жалостливой.

Эмилия напряженно жила в Боге, иногда являвшемся ей в образе жениха-смерти. Но чаще образ Божий — традиционно-библейский. Она хотела "стать Его полднем". Она возносила Ему хвалу "псалтырем лета". Иногда Он: "сияющий Отсутствующий" (если только этот стих обращен к Богу). Но в

другом аспекте Бог — "Присутствующий": Он — старый сосед. И к Нему обращен этот дерзновенный монолог:

Все забирай —
Одна есть вещь, достойная покражи —
Бессмертие.

Здесь Эмилия совпадает с апостолом Матфеем: От дней же Иоанна Крестителя доныне Царствие Небесное силою берется, и, употребляющие усилие восхищают его (11:12). А то, что силою берется, может быть метафорически названо "кражей". Замечу: под этими тремя строками мог бы подписаться и Достоевский...

Эмилия знала и богоборчество. Спрашивала: должна ли я прославлять Причину, которая меня уничтожит? А в другом стихотворении заявляет: не слишком ли далеко заходит шутка Бога (допускающего смерть и страдание). Здесь Эмилия совпадает с героями Достоевского Ипполитом Терентьевым и Иваном Карамазовым.

Еще один аспект: Бог, конечно, ревнивый Бог, и Ему не нравится, что мы скорей предпочли бы играть друг с другом, а не с Ним. Богоборчество: не безбожие. Богу был угоден боровшийся с Ним Иаков, которого Эмилия называла атлетом. Может быть, угодно Ему и богоборчество Достоевского или Эмилии Дикинсон. Оба горячились в духе. "Беспокоили Бога". Но никогда не были ни теплы, ни холодны.

Эмилия отожествляла себя с любимым учеником Христа: Иисусе, здесь твой маленький "Иоанн". Но в ее стихах о Сыне нет мощи стихов, обращенных к Отцу. Ей был понятнее ветхозаветный Бог, правда не мстительный, хотя иногда несправедливый и всегда живой. В этом смысле она протестантка. А для многих католиков и православных — не догматически, а в благочестии, высшая точка опоры: вера во Христа. Он мера человеку и, может быть, даже Богу... Еще отмечу: Эмилия не знала да и не могла знать православной пасхальной радости, неведомой протестантам.

Образы рая в поэзии Эмилии Дикинсон. В одном стихотворении она спрашивает: живут ли в раю "фермеры", "пашут" ли там, знают ли "Амхерст". Носят ли в Эдеме "новые башмаки". Есть ли "Отец" на небесах. А в эпилоге ирония: может

быть, в раю так же тоскливо, как в Новой Англии, хотя вообще она любила свой Массачузеттс и иногда ее новоанглийская усадьба казалась ей раем... В другом стихотворении Эмилия сближает небесное с земным — совсем не тоскливым: Кто не нашел неба внизу, не найдет его и наверху, ибо где бы мы ни находились ангелы снимают дом рядом с нами.

В Откровении Св. Иоанна Эмилию восхищало описание Нового Иерусалима, сходящего с неба и сияющего самоцветными камнями. Благочестивый ученый, ботаник и химик Эдуард Хитчкок показывал этот чудесный град своим студентам в Амхерсте! Был солнечный день и на обледенелых ветках *естественно,* но и волшебно сверкали алмазы, топазы и изумруды апокалиптического града (Сьюволл). Их видела и Эмилия, лично знавшая профессора Хитчкока и ценившая его книгу о единстве религиозной и научной истины. Но она не разделяла его оптимизма. Бывала иногда скептична, иронична. Рай оставался для нее чем-то желанным, но неясным — "сомнительной несомненностью". В поэзии ее стремление к вечности куда ярче ее описаний Эдема. У ней не было раевидения Св. Иоанна, Данта, Мильтона или Сведенборга. Есть в ее сложной метафизике и безумие порывов, но и трезвость ума. Есть скепсис, есть ирония при наличии пафоса. Никакого мировоззрения она не "выработала". Но в своей лирике задавала те же вопросы, что и Достоевский.

Если Эмилия и витала иногда на грани и даже за гранью бытия, то и была очень *здесь:* ей близко все сущее в природе, включая и то, что считается отталкивающим или безобразным. Жабы не внушали ей отвращения. Еще раз напомним: змею она называла узеньким парнем. А паук — художник, пренебрегаемый сын гения и она хотела взять его "за руку". Этих насекомых не следует выметать щеткой. Любила и тварь, часто прославляемую поэтами: псов, птиц и, в особенности, пчел и бабочек.

До родословия меда
Никакого дела пчеле.
Разве клевер в поле —
Не аристократ.

Жила полной жизнью в своём — для нее великом мирке сада. А то, что не видела, дополняла воображением:

Никогда не видала степи,
Не видала морских берегов.
Но знаю, как выглядит вереск
Знаю вид у волны каков.
Не беседовала с Богом.
Не гостила на небесах.
Но я знаю туда дорогу.
Словно карта в моих руках.
(Перевод Ивана Елагина)

В этих стихах и *физика* невиденного вереска или волны, и *метафизика:* обозрение недоступного, но в этой ситуации явно несомненного Царствия Божиего.

Не впадала ни в пантеизм, ни в спиритуализм. Не растворялась ни в божественном космосе, ни в трансцендентном божестве. Была чужда пассивному созерцанию. При всей своей наблюдательности — не только наблюдала. Была активна в своем уединении (Арчиболд Мак Лиш). Для нее жизнь не идиллия, а драма — с порывами и прорывами в вечность.

Мы знаем, как она жалела людей, но не меньше жалела животных. В одном стихотворении она говорит: я не жила бы напрасно, если бы могла помешать разрыву чьего-то сердца, если бы облегчила чью-то боль, охладила (жгучее) страдание, если бы помогла выпавшему птенцу малиновки вернуться в гнездо. Но повторяю, на слух — Эмилия-поэт могущественней всего не в жалости, почти всегда непоправимо-бессильной, а в динамике борьбы на вольной воле Духа. Есть мощь в ее Прении смерти и страсти:

Смерть сказала Страсти:
— Дай акр твоей земли.
Сказала, задыхаясь,
Страсть:
— Тысячу раз нет!

Та же мощь в ее скачке из смерти в бессмертие.

Лучшие американские критики отмечали динамичность ее творчества: электрические плюсы и минусы ее лирики. Мучение, но и упоение.

Еще раз дадим слово Мак Лишу: Эмилия постоянно писала о смерти, страдании, отчаянии. Жизнь для нее трагедия, но в поэзии она преодолевала трагизм. Есть свет в ее глазах цвета недопитого гостями шерри.

Ричард Уилбур: отчаяние и блаженство в стихах Эмилии Дикинсон — равносильны, и изымают нас из времени и пространства.

Ричард Сьюволл: агония в ее стихах преображается в торжество, в праздник.

Да, есть счастье, есть упоение в лирическом перпетуум мобиле Эмилии. И есть религия, т. е. связь — пусть иногда и обрывающаяся, с Богом — и в жизни, и в духе.

Некоторые аналогии. Есть что-то общее между Эмилией Дикинсон и Мариной Цветаевой. Если бы Марина знала английский язык или — ей вразумительно объяснили бы поэзию Эмилии, она, несомненно, увлеклась бы этой дикой американской барышней. Но Марине жилось неизмеримо трудней. Только первые 25 лет жизни прожила она в уютном московском особняке отца-профессора и, после замужества, в хорошей квартире, тоже в Москве. Дальше: холод, голод в годы гражданской войны. Нищета в Берлине, Праге, Париже и опять в Москве. Наконец, самоубийство в Елабуге. А чудившая амхерстская барышня никогда ни в чем не нуждалась, и гражданская война в США прошла почти мимо нее. Далее: Марина избегала литературных кругов, но ее юношескую музу пестовали Максимилиан Волошин и Эллис, безумствующий друг Андрея Белого. Она стала поэтом-мастером. Не следует жалеть о том, что у Эмилии не было достойного руководителя. Да и не у кого было ей учиться в 19-м в. Может быть, ей как-то параллелен тоже незамеченный современниками Джерард Манли Хопкинс, но не было у него первозданной стихийности Эмилии Дикинсон. Многие ее стихотворения неровные, но 30-40 — сплавлены в единое целое. А в незаконченных — потрясают отдельные строфы или строки. Эмилия находила лучшие слова, когда лирически взрывалась. Судить о ее поэзии нужно по силе ее земле-и-неботрясений. Случайные или лишние слова сами собой отпадают от ее стихов. Зато нет в них тех приписок-подделок, которыми грешат самые прославленные мастера поэзии.

При всех различиях у Эмилии и Марины та же лирическая взрывчатость и есть сходство в их спазматических ритмах — в спондеях Дикинсон и в "паузниках" Цветаевой.

У Марины был муж, было двое детей, были возлюбленные. Эмилия — старая дева: ее эрос преображался в духе. Но и Марина страстно стремилась в неведомые небеса:

Содружества заоблачный отвес
Не променяю на юдоль любови.

У обоих андрогинные черты: их женственность иногда переливалась в мужественность. Они платонические сестры-братья: и рядом с ними высится древнегреческая Сафо. Но у Эмилии больше лирического электричества, чем у Марины. Правда, амхерстской отшельнице легче было вылетать из налаженного гнезда в мирном Амхерсте. Марине приходилось подымать куда более веский груз жизни. Но и она вырывалась на свободные просторы своего Вакха (в трагедии *Ариадна*):

Ни до у меня, ни дольше,
Ни сетей на меня, ни уз.

И более трезвая Эмилия была сродни вакханкам: прославляла великое священное безумие.

Другая гипотетическая аналогия. Духовная динамика Эмилии, еретической монахини, — отчасти сравнима с экстазами Св. Терезы, никогда не отступавшей от церковного учения, но больше прозревавшей в не мешавших ей тисках догматов и канонов. Эмилия "беспокоила" Бога вопросами, но Он ей не отвечал. А с Терезой Авильской Бог говорил:

— За что Вы меня так мучаете, Ваше Величество, спрашивала она Христа.

— Оттого, что я люблю тебя, Тереза.

Скептики здесь усомнятся. Но, может быть, Эмилия поверила бы этому диалогу, если бы прочла *Духовный замок* Св. Терезы. Она ведь с увлечением читала книгу другого католического мистика: *Подражание Христу*.

Так или иначе: записанных Божиих речей нет ни у Дикинсон, ни у родственного ей Достоевского. Оба они жили не в богостремительную, а в *богобежную* эпоху. Но из духовной периферии страстно тянулись к центру — к Духу.

Осенью 1976 г. в театре Амхерст-колледжа была пред-

ставлена двухактная пьеса Уильяма Льюса *Красавица Амхерста,* а в декабре вся Америка могла увидеть эту пьесу по телевизору. Обстановка на уровне Мейнингенцев или МХАТа. Керосиновая лампа под красным абажуром. Безупречно белая постель — такая же, как в музейной комнате Эмилии. Нет роскоши, мало вкуса, но есть уют викторианского интерьера. Справа, легко ступая, вышла барышня в белом платье. Год: 1883-ий. Значит ей, Эмилии, уже стукнуло 53 года.

Играла выдающаяся актриса Джулия Харрис. Нельзя ее попрекать за то, что у ней правильные черты лица! Но для сходства — ей следовало бы утолстить нос, удлиннить рот. По всем отзывам современников Эмилия была привлекательна, оригинальна, но некрасива. Вместе с тем, отмечалось, что и на шестом десятке жизни она выглядела моложаво, даже казалась подростком. Есть что-то от девочки и у Эмилии-Джулии. Но ее движения легкие, порхающие. Нет застенчивости, диковатости. Скорее всего Эмилия была по-детски угловата, задевала столы, стулья. Все же, г-же Харрис удалось показать бытовую Эмилию. Она ведь не пренебрегала кулинарией. Два ее хлебца –- ржаной и "индейский" (без закваски)были удостоены второй премии на сельско-хозяйственной выставке в Амхерсте и ей выплатили 75 сентов: это, может быть, были первые деньги, которые она заработала. Пекла она и сладкие пироги, которыми нас угощала актриса!

Из быта Джулия Харрис как можно незаметнее переходила к поэзии. Видно хотелось ей показать будто бы очень естественный переход от пирогов к стихам! Или — от почти детской болтовни к поэтическому ладу-складу. И это ей артистически удавалось. Но нужно ли это было делать? Я вижу *мосты,* перекинутые от ее писем к стихам, но вижу *пропасть* между ее кулинарией и поэзией. В лирике Эмилии немало разговорных выражений, но в лучших ее стихах никакой домашности нет.

Судя по изданным воспоминаниям, у Эмилии был слабый голос и она тихо читала стихи. Но ее поэзия требует громкого чтения. Муза застенчивой амхерстской барышни — металлически звенящая. Конечно, на сцене нельзя показать их обеих: Эмилию и ее музу. Но можно было бы усилить контрасты этих несхожих двойников в одном лице.

Моя интерпретация: Эмилия нежно-тихо вспоминает об умерших или, осторожно отрезает кусок пирога — и вдруг резко меняется. Быстро встает, роняя ложки, тарелки и, пошатываясь, задыхаясь, читает стихи: и не так, как обычно читают актеры, с психологическими интонациями, паузами, а веще-самозабвенно, в быстром речитативе, *опираясь* на одну мелодию и зачастую вопреки смыслу. Так читал, и божественно читал поэт Диллан Томас: он бархатисто нежно произносил такое совсем неласковое слово, как неистовство, раж. Это не романтическая декламация. Такая читка сродни французскому классическому вою или даже магическим бормотаниям древних пращуров поэтов — теургов, пифий, шаманов. Некоторые звенящие интонации в голосе г-жи Харрис свидетельствуют о том, что она могла бы превосходно выть, как Сара Бернар, или вещать, как радящие хлысты или русские поэты... Может быть, помешали режиссеры, побоявшиеся испугать ту порядочную публику, которую Эмилия не жаловала и, "выбирая свое собственное общество", запиралась в свей комнате. А текст Уильяма Льюса совсем неплохой для исполнения. Но интерпретация разочаровывает. Зрители видели-слышали барышню-девочку 53 лет, любезную домохозяйку, но не поэта. Эмилия была и в быту, но была и в противоположном всякому быту праздично-трагическом бытии поэзии.

В эпиграфе одностроК, подсказанный Эмилией и, мне кажется, многое в ее жизни и творчестве объясняющий: мчится колесница. Неизвестно откуда и неизвестно куда мчится это средство передвижения: физическое (коляска сквайера Дикинсона), но и метафизическое (колесница пророка Ильи). Это динамика первозданных энергий, выявленная в лирике. Так бешено мчаться: мучительно. Перенапряженные нервы каменеют подобно гробницам (и это образ созданный Эмилией). Но есть в этом мучении упоение: нервы — камни, а голос все растет на вольной воле духа.

Из этой пламенной динамики Дант, Шекспир или Достоевский создавали огромные, многими героями населенные миры. На самых верхах добела раскаленного Духа — Св. Тереза Авильская, беседовавшая с Его Величеством — Спасителем.

Может быть, у Эмилии Дикинсон было не меньше взрывчатого материала, но ее лирика — узкоколейная.

Кое в чем Эмилия напоминает любимую ею шекспировскую Клеопатру и даже "вскидчивую" Настасью Филипповну Достоевского. Но ни та египетская царица, ни русская Магдалина стихов не писали, и Эмилия Дикинсон всем Антониям и Рогожиным предпочла свою Музу. Того же хотела и Марина Цветаева, но ей редко удавалось возвыситься над своими возлюбленными.

Но будем ближе к действительности: Эмилия по-детски застенчивая угловатая барышня, а в своей гремучей поэзии мятежная еретическая монахиня, жившая в затворе новоанглийского городка Амхерст. Это, конечно, миф, может быть и неудачный, но могущий быть опровергнутым только другим мифом.

Пусть доморощенные мифы уже знакомой нам подруги-невидимки Эмилии — Мэйбл Тодд или племянницы Марты Дикинсон Бьянки — малоубедительны, но неудачи не опорочивают мифотворчества. Американских критиков, истолкователей Эмилии Дикинсон, всякая мифология отпугивает. Но едва ли прав лучший биограф и комментатор Эмилии — Ричард Сьюволл, утверждающий, что в наше время "миф уступает место поэту". Да и так ли он последователен? Его "шекспиризация" Эмилии разве не мифологична? Вообще же, установленные факты и всякие новые аналитические комментарии должны быть учтены мифотворцами.

Нельзя забывать о том, что Эмилия Дикинсон жила в эпоху, когда Соединенные Штаты еще были потенциалом огромной неиспользованной энергии. Силы уходили на освоение Дикого Запада, на бешеное грюндерство в индустрии, на гражданскую войну. А бродящая духовная сила Америки еще ощущалась в периодических возрождениях пуританства, или в сектанстве, в особенности в крайних сектах: мормонов-многоженцев или шекеров (трясунов) — хлыстов Нового Света.

В торговле, в промышленности Америка начала полностью реализоваться только с начала 20-го в. А в быту как-то угомонилась. Выработала сдержанность. Приучилась повторять: не тревожьтесь (take it easy). Но под американской маской

спокойствия "хаос шевелится". Потухшие вулканы эмоций иногда начинают действовать. Никак нельзя сказать: эти извержения происходят лишь в преступном мире, в подполье наркоманов, в таборах номадов, именуемых хиппи. Есть пламенность в благородном риске американцев, в их желании, а иногда и в умении начинать жизнь на новом поприще. Есть, наконец, неудовлетворенность т. н. практической жизнью. Есть настоящая духовная жажда.

Нет ли предзнаменования или еще неразгаданного указания в жизни и в творчестве этих незамеченных в 19-м в. одиночек-чудаков американской литературы: у мятежной затворницы Эмилии Дикинсон, у уличного пророка Уолта Уитмена, у моряка-фантазера Хермана Мелвилла. На вольной воле души разыгрались в них свободные энергии творящего духа, непроявленного во внешнем мире. У Уолта сходили с ума его "листья травы". Эмилия мчалась с таинственным женихом в бессмертие.У Хермана "человекобог" капитан Ахаб воевал с белым китом Мобби Дик.

Все эти травы, женихи, киты — живые символы неисчерпаемой американской энергии, все еще ищущей точки приложения для духовных сил. Думается: недаром эти гениальные чудаки жили, мучились, упивались, писали и что-то творчески обещали в "царстве духа", а не только в литературе. Но осуществится ли то, что обещано?

Ю. Иваск

ДРЕВНЕЙШАЯ РУССКАЯ СВЯТЫНЯ

Среди древнейших памятников русского православия уникальное место занимают два замечательных серебряных сооружения — Большой и Малый новгородские Сионы. Впрочем, Сионами они стали называться лишь с XVI в., а до этого времени общеупотребительным было наименование их — Иерусалимы.

Россия богата памятниками культуры, однако, большинство из них претерпело все превратности русской истории, поэтому, сохранившиеся до нас памятники, как правило, бесчисленное число раз меняли свое местопребывание, документы об их происхождении и принадлежности утеряны, а современное местопребывание в том или ином русском городе обусловлено лишь случайными причинами. Исключение представляют, пожалуй, лишь храмы с фресками и мозаиками, однако, для более удобоперевозимых изделий, вышеприведенная судьба является обыкновенной. Тем более, что разрушительность времени особенно сказалась на предметах, исполненных из драгоценных металлов. Поэтому, большинство известных сейчас памятников домонгольской Руси обнаружено лишь случайно, обычно в земле. Однако, новгородские Сионы избежали "русскую обычность" судьбы, ибо начиная с XII в. и вплоть до сего времени хранятся в одном и том же месте — Ризнице новгородской Святой Софии (ныне музея). Более того, их редчайшесть объясняется и тем, что их существование подтверждается русскими летописями, начиная с XI в. и прослеживается в Описаниях новгородской Ризницы вплоть до XIX в.

Столь редкие и важные памятники русской истории, разумеется, привлекли к себе внимание почти всех исследо-

вателей русской старины, начиная с начала XIX в. Однако, несмотря на бесчисленные публикации, число которых достигает внушительной цифры — 73-х, до нашего времени Сионы представляют собой, вероятно, наиболее загадочные памятники русской культуры и русского православия. Действительно загадочные, если, несмотря на многочисленные попытки ученых, даже их церковное предназначение нам неизвестно. Если назначение икон, церковных сосудов, книг и шитья в богослужении русской церкви вполне определенно, то об употреблении Иерусалимов-Сионов можно строить только многозначные предположения. И такие предположения включают в себя широкий диапазон возможностей — от гипотезы Амвросия Орнатского, что Сионы заменяли в древности архиерейскую митру при службе Великого выхода на Литургии, до заключения А. П. Голубцова и Н. В. Покровского, что Иерусалимы суть лишь декоративные предметы, находящиеся в церкви лишь "лепоты ради".

Разнообразны и предложенные учеными датировки. В "Древностях Российского Государства" (1849 г.) они датированы XVI в., Архиепископ Макарий (1860 г.) — XV в., А. И. Конкордин (1906 г.) — XV в., А. С. Уваров (1919 г.) — XV в., Н. В. Покровский (1911 г.) — XII-XIII вв., А. И. Некрасов (1937 г.) — XI в., В. Н. Лазарев (1947 г.) — XI в., А С. Орлов (1952 г.) — XI-XIII вв., Б. А. Рыбаков (1948 г.) — различные детали датировал разным временем с XI в. по XIV в., В. Л. Янин (1957 г.) — XII-XIII вв.

Приведенные мною историографические справки рисуют нам картину полнейшей запутанности вопроса как о времени изготовления Сионов, так и о назначении их в качестве церковных предметов. Эта ситуация, казалось бы совершенно невозможная, учитывая важность этих памятников для русской культуры, истории и православия. Однако, пример с Сионами свидетельствует и о том, насколько несовершенны наши знания о собственной древней культуре. Даже в том случае, когда исследуемый памятник обладает столь уникальным для русской истории качеством, как наличием документов с XI в. и постоянным пребыванием на одном и том же месте.

Новгородские Сионы-Иерусалимы не являются един-

ственными памятниками этого рода предметов на Руси. В Московском Кремле (прежде в Синодальной ризнице) находятся еще два Сиона, принадлежавшие Московскому Успенскому собору. Оба они также имеют почти полную документацию. Как свидетельствуют надписи, сделанные на них: "В лето 6994 (1486) сделан был сей Иерусалим повелением благоверного и христолюбивого великого князя Ивана Васильевича Господаря всея Руси в лето 25-е господарства его в церковь Успения Пречистыя и ко гробу чудотворца Петра на Москве". Назначение этих двух московских Сионов XV в. также нам неизвестно. Это тем более странно, что от XVII в. сохранились до нас Чиновники церковных служб московского Успенского собора и Новгородской Св. Софии. Все приведенные в них указания свидетельствуют лишь о том, что к XVII в. Иерусалимы-Сионы уже утратили свое богослужебное значение и изредка выносились из Ризницы действительно лишь "лепоты ради".

Кроме двух сохранившихся Сионов (уже странно, что они существуют лишь парами), из летописных данных мы узнаем и о существовании Сионов в других русских соборах и в византийских. Например, русский паломник начала XIII в, архиепископ Антоний, описывая богослужение в храме св. Софии Константинопольской, отмечает — "И как понесут светозарный Иерусалим и рипиды, и тогда воздыхание и плачь бывает людем о гресех". Андрей Боголюбский, как отмечено в летописи по Ипатьевскому списку под 1175 годом, также устроил три Иерусалима для Успенского собора во Владимире и один для церкви Рождества Богородицы в Боголюбове. Этими сведениями и исчерпываются наши знания о существовавших в древности Иерусалимах. Таким образом, мы с достоверностью можем судить лишь о существовании 9 предметов идентичного наименования. А сохранилось до нас только две пары — новгородские и московские. Судьба московских более или менее определенна. Стилистические особенности их свидетельствуют или об изготовлении их западноевропейскими мастерами, или русскими, но использовавшими западноевропейские мотивы. Для русского искусства это несколько необычно, ибо, имеющие западноевропейские стилистические особенности русские церковные памятники, в этом случае, копируют западноевропейский предмет

и по форме и по назначению. Между тем, в католических церквах Западной Европы Сионы отсутствуют. Возможно, что аналогии для русских московских Сионов XV в. следует искать среди близких по форме западноевропейских ликвариев. Однако, предназначение ликвариев совсем другое, нежели у Сионов. Сионы всегда обладают раскрывающимися дверками, таким образом и их внутренняя часть предназначена для демонстрирования или использования, но католические ликварии — суть лишь футляры для хранения реликвий. Если прототипом для московских Сионов все-таки послужили западные ликварии, то, в первую очередь, это должно означать, что и в Москве к XV в. уже забыли истинное назначение Иерусалимов в богослужении. Тем более, что дверок на московских Сионах нет. Значит, московские Сионы действительно ликварии, но почему тогда их потребовалось сделать в столь непривычных для русской церковной утвари формах? В русской церкви уже давно были же в употреблении дарохранительницы. Кстати, и в "Древностях Российского Государства" даже новгородские Сионы отнесены в раздел дарохранительниц. Но ведь это мнение уже XIX в.

Историческая судьба новгородских Сионов начинается с XI в., так как, согласно летописным свидетельствам, в 1067 г. полоцкий князь Всеслав Брячиславович завоевал Новгород и взял в Софийском соборе Иерусалим церковный и сосуды богослужебные. Это похищение настолько крепко запало в память новгородцам, что даже летописное свидетельство об этом событии состоялось спустя 60 лет, в 1117 г. А через 111 лет после похищения, в 1178 г., новгородский князь Мстислав собрался войной на полоцкого князя Всеслава (внука того Всеслава-похитителя), с специальной целью отнять похищенные сосуды. Как видим, мысль о возвращении украденного Иерусалима владела новгородцами в течение 111 лет. Надо сказать, что с точки зрения потребностей самого богослужения, вряд ли новгородцы испытывали нужду в священных сосудах. Сделать новые взамен украденных для богатого города не представляло особого труда. Есть основания предполагать, что в течение этого времени ими был сделан даже новый Сион, а не только серебряные сосуды. Вполне правомерно, значит, следует

предполагать, что с украденными предметами, особенно с Сионом (единственным, упомянутым в летописи конкретно) у новгородцев были связаны воспоминания как о каких-то особенных памятниках-святынях, чье мемориальное или богословское значение значительно превышало стоимость самого серебра или художественные достоинства этих предметов.

Неизвестные нам причины уничтожили следы былого почитания новгородских Сионов уже к XV веку. Поэтому-то московские Сионы и отличаются от них конструкцией, то есть без дверок. Однако, безусловно сближать их с западными реликвариями неуместно. Подобного назначения (как реликварии) предметы были давно известны на Руси и носили названия: "Кивот", "Киворий", "Мощевик", "Ковчег". Но в московских Сионах нет никаких мощей или других реликвий и никогда не было. Кроме того, даже в самый момент изготовления они были названы Иерусалимами, и впоследствии, в качестве таковых фигурировали во всех инвентарных описях Ризницы. Не свидетельствует ли этот факт о том, что и в конце XV в. даже в Москве, а не только в Новгороде существовали легенды или отголоски воспоминаний о каком-то выдающемся значении Иерусалимов.

Может быть, не совсем случайно московские Сионы были воздвигнуты в честь 25-летия княжения Ивана III, поскольку именно этот государь впервые объявил себя "всея Руси". Именно Иван III присоединил к Москве Новгород, став таким образом и новгородским князем.

Задачи, поставленные в рамках данной статьи не позволяют мне долее останавливаться на судьбе московских Сионов. Факт их создания в XV в. и присвоение им наименования Иерусалимов важен для нас в данном случае лишь как косвенное свидетельство о каком то особенном почитании и значении на Руси предметов этого типа, в том числе и Новгородских Сионов, как древнейших на Русской земле. [1]

Историки русского искусства, как уже было мной отмечено, датировали новгородские Сионы в пределах пяти столетий. Однако, в настоящее время установилась более или менее общепринятая дата — XII-XIII вв.

В качестве решающего фактора для атрибуции, последние исследователи используют греческую надпись, расположенную на куполе Малого Сиона. Вернее, остатки надписи, ибо большая часть надписи закрыта еще в далекой древности припаянным сверху навершием с крестом. Именно по остаткам букв и пытаются ученые ресшифровать если не всю надпись, то по крайней мере восстановить имя лица, связанного или с изготовлением или с дарением Сиона. Однако, необъяснимый рок направлял по ложному пути даже исследователей с твердой научной репутацией.

Примером может служить обширное исследование члена-корреспондента Академии Наук СССР В. Л. Янина: "Из истории русской художественной и политической жизни XII в." (Советская археология. 1957. No. 1).

В своей статье В. Л. Янин главное внимание уделил именно греческой надписи, отмечая, что "нет сомнения в том, что надпись содержит драгоценные указания о верхней части Сиона". Не предлагая собственного чтения надписи и не реконструируя ее полностью, В. Л. Янин обратился к свидетельству предыдущего исследователя: "Н. В. Покровский демонстрировал эту надпись крупнейшим знатокам греческой палеографии В. В. Латышеву и И. И. Соколову. Оба исследователя затруднились в ее окончательном чтении, однако, оба считали, что в надписи упоминается некий протопроедр Никифор". Полностью приняв мнение цитируемых им ученых, В. Л. Янин предложил собственные изыскания для конкретизации этого "некоего протопроедра Никифора".[2] Результатом явилась новая датировка Сиона.

Однако, приходится уточнить, что в Новгороде сохранилось два Сиона. Разница между ними довольно значительна — различная сохранность, различные чеканные изображения, разнящиеся не только сюжетно, но и стилистически. Наконец, на Большом Сионе присутствуют русские надписи, а на Малом только греческие. Роковой ошибкой исследователя была попытка датировать сразу два Сиона, используя надпись лишь на одном из них. Кроме того, все рассуждения о принадлежности Большого Сиона протопроедру Никифору В. Л. Янин делал, ошибочно считая, что греческая надпись расположена на

Большом Сионе. В действительности, надпись принадлежит Малому Сиону. Перепутав памятники, В. Л. Янин перечеркнул тем самым и все остроумные свои выводы.

Заинтересовавшись исторической судьбой новгородских Сионов, я в 1970 г. взял для исследования и реставрации Малый новгородский Сион в Москву, в свою реставрационную мастерскую. В то время я был заведующим отдела методики реставрации металлов Всесоюзной Центральной Научно-исследовательской Лаборатории по Консервации и Реставрации Музейных Художественных ценностей (ВЦНИЛКР). Исследования, проведенные мною, были весьма обширны. Кроме изучения стилистических особенностей различных декоративных деталей, были произведены все доступные мне в СССР химико-технологические анализы. Результаты проведенного впервые в СССР столь комплексного изучения памятника были значительны, однако главною удачею надо считать увенчавшуюся успехом попытку отделения креста от купола, с целью раскрытия надписи. Не вдаваясь в подробности технологического порядка, сообщу лишь, что практическое выполнение было трудным и рискованным. Крест был припаян к надписи серебряным припоем, поэтому попытка расплавления припоя могла кончиться и расплавлением надписи и прилегающих частей купола Сиона. Напомню, что температура плавления серебра близка 960 град. С., а температура расплавления серебряного припоя меньше лишь на 50 град. С. Но благодаря специальным приспособлениям и особой методике нагрева, весь эксперимент закончился удачей.

В 1975 г. Малый Сион вернулся в Новгород. Это произошло почти ровно спустя 800 лет после его первого возвращения из полоцкого пленения. В XII в., наверно, это событие торжественно отмечалось всем Новгородом — народ и духовенство встречали возвращавшуюся святыню далеко за чертой городских стен.

800 лет спустя московский поезд подходил к новгородскому перрону ранним утром, а неведающие вообще о каких-либо святынях теперешние новгородцы слонялись вокруг железнодорожного вокзала в нетерпеливом ожидании открытия городских пивных ларьков. Близилась 60 годовщина объявления

Руси самым атеистическим и "самым прогрессивным государством" в человеческой истории.

И первая публикация вновь раскрытой надписи с русской святыни происходит в Америке на страницах русского "Нового журнала".

Вновь открытая надпись действительно оказалась драгоценным свидетельством о происхождении Малого новгородского Сиона. Первый же взгляд на нее отметил ошибочность всех прежних реконструкций. Увиденные прежними исследователями буквы "ФОР", что спровоцировали появление легенды о Никифоре, оказались лишь обрывком фразы, включающей в себя титул "ТРОПАЕФОР", что означает "трофееносец". Имя же вкладчика, или лица, к которому была обращена надпись, заключается в византийского типа монограмме, читающейся как Константин. Все буквы и само построение фразы свидетельствуют о византийском ее изготовлении. Несколько забегая вперед отметим, что и чеканный рельеф с изображением Христа на дне тарели в нижней части Сиона является типичным для византийского искусства XI в.[3]

Данные в надписи и все другие наблюдения привели меня к заключению, что новгородский Малый Сион византийское произведение, причем столичных, константинопольских мастеров. Однако, окончательная датировка всего памятника затрудняется наличием на нем дополнительных разновременных деталей. Перед нами сборное сооружение, значительно изменившее свой первоначальный облик. Вероятно, наибольшая часть изменений была сделана в период его столетнего отсутствия из Новгорода с 1067 года по 1178 год.

Почти во всех русских исследованиях Малый и Большой новгородские Сионы считались русскими памятниками. Вновь открытые данные доказывают его изготовление греческими мастерами. Тарель с чеканным изображением Христа следует признать безусловно константинопольской работой. Это изображение почему-то до сих пор не привлекло внимание исследователей и не было опубликовано, однако этот рельеф является редким образцом высокого стиля константинопольского искусства XI в., столь редкого в русских коллекциях.

Время изготовления Малого Сиона должно падать на первую половину XI в., во всяком случае до его похищения — 1067 г. Однако, новгородцы не могли испытывать потребность в создании или приобретении Сионов до 1045 г., ибо только в этом году, согласно 3-ей Новгородской летописи, был заложен собор Св. Софии, который строился еще 7 лет. Следовательно лишь с 1052 г. и по 1067 г. новгородцы смогли использовать Сион для богослужения. Надо уточнить, что все известные нам исторические Сионы-Иерусалимы предназначались лишь для центральных, кафедральных соборов, поэтому их использование в небольших, местных церквах и монастырях, повидимому, не соответствует их высокому статусу. Этим объясняется отсутствие упоминания о наличии Сионов среди церковной утвари всех местных русских церквей и соборов.

Все известные нам исторически Иерусалимы находились в Кафедральных соборах Константинополя, Новгорода, Владимира, Москвы. Разумно предположить, что в силу неизвестной нам ныне традиции, такой Иерусалим должен быть и в Киеве. Вероятно, присутствие Иерусалима в стольном городе, центре государственной и церковной власти данного региона, было необходимым, а сам Иерусалим являл для жителей олицетворение символа центральности этого города и собора, а для русских княжеств, возможно, и символа автономности. Не случайно ведь появление этих предметов в Москве XV века, когда собственно церковное употребление Иерусалимов было забыто.

Если бы Иерусалимы-Сионы были лишь прикладной утварью для церковной службы, необъяснимым остался бы факт III-летнего желания новгородцев вернуть данный предмет в Святую Софию. За 15 лет, прошедших со времени его первого демонстрирования народу (со времени открытия Св. Софии) до ее разграбления в 1067 г. ни один из церковных предметов не успел, конечно, приобрести в глазах новгородцев ореола древности или уникальности. Во всяком случае, будь Иерусалим простым предметом, используемым для богослужения, он не смог бы явиться серьезной причиной для сбора рати и начала специальной войны, спустя более ста лет, да в глазах уже нового, в большинстве случаев уже третьего поколения новгородцев.

Следовательно, значение Иерусалима было в том, чтобы быть символом новгородской государственности и церковной автономности. Его греческое происхождение придавало ему в глазах новгородцев и значение символа преемственности русского православия от византийского.

Возможно, что будь этот Сион изготовлен в самом Новгороде, он бы не привлек специального внимания русской летописи спустя 60 лет после его похищения. Вспомним, что русские летописцы домонгольского времени ни разу не отметили ни одно произведение русского художника, зато многословно и скрупулезно описывали факт появления на Руси каждой византийской святыни, внимательно отмечали все, даже малейшие перемещения греческих памятников по русской территории.

Особенная дань уважения к византийским памятникам прослеживается на Руси вплоть до XIX века. "Греческие" или "Корсунские" чтимые иконы или другие предметы фигурируют почти во всех описаниях русских, уважаемых древностью и святостью, церквях и монастырях. Большинство этих описаний оказались, увы, лишь легендой, однако, сам факт особого культа греческих православных древностей на Руси свидетельствует о вполне обоснованном, в глазах новгородцев XII века, желании вернуть утраченную святыню. Именно ее, настоящую, хотя новгородские ремесленники XII в. уже изготовили взамен почти точную копию. Но копия, являясь местным произведением, не обладала, конечно, тем комплексом "настоящего, нездешнего, святого", что было свойственно оригиналу.

Для пояснения этой мысли придется еще раз обратиться к истории московских Сионов. Описывая их создание в XV веке по повелению Ивана III, я ограничился замечанием, что они были сделаны или западными мастерами или русскими, но копировавшими западноевропейские образцы. В данном случае я следовал мнению русских историков XIX в. Однако, в 1928 г. P. B. Jurgenson доказал, что Большой московский Сион в XV в. был лишь смонтирован в Москве из разновременных частей. Совмещая предположения П. Б. Юргенсона с заключениями и уточнениями В. П. Даркевича (1966 г.), можно констатировать, что Большой московский Сион в своих главнейших частях

является, вереоятно, тем самым Сионом, что "устроил" Андрей Боголюбский для своего кафедрального собора во Владимире в 1175 г. Однако, Владимирский Сион не был изготовлен непосредственно во Владимире русскими мастерами, а был привезен с Запада. Ибо все стилистические его особенности свидетельствуют об изготовлении его в Кельне в 60-х годах XII в. и в манере романского искусства.

Получается любопытная ситуация, когда символом кафедральности и автономности всех главных русских княжеств с XI до XV в. являлись произведения иноземного искусства. Нет сомнения, что и в Киеве XI в. находился Иерусалим, вероятно, византийского изготовления. Но появление византийских памятников в только что христианизированной России логически вполне оправдано. Таковыми были Иерусалимы Киева и Новгорода. Художественные вкусы Андрея Боголюбского, предпочитавшего византийскому искусству романское искусство католической Европы являются загадочными для русской истории, но, в данном случае, почитание романского реликвария в качестве Иерусалима, можно объяснить личными привязанностями владетельного князя. Не случайно, что и для строительства собственного дворца в Боголюбове (1158 г.), Успенского собора во Владимире (1158-1160 гг.) и церкви Покрова на Нерли (1165 г.) князь Андрей призвал мастеров "изо всех земель". Конкретно, они были присланы германским императором Фридрихом I Барбароссой.

Преемственностью власти московских князей от Владимирского княжества можно объяснить перенос в Москву таких чтимых святынь, как Владимирская Богоматерь и Владимирский Иерусалим. Почти совпадают и даты окончательного перемещения в Москву Владимирской Богоматери — 1480 г., и реставрации-переделки Владимирских Сионов (теперь уже Московских) — в 1486 г.

Итак, мы можем заключить, что для утверждения Москвы как столицы русского государства в глазах населения XV в. было необходимым перенесение из Владимира не только чтимой религиозной святыни — Владимирской Богоматери, но и Иерусалима. Таким образом московский Успенский собор мог стать русским пантеоном лишь при наличии в нем наиболее

почитаемой иконы и Иерусалима — особого предмета, чье значение символизирует каким-то образом и общерусскую кафедральность московского Успенского собора.

Общественная значимость Иерусалима, как мы видим, превышала его собственно богослужебные функции. Возможно, они и с самого начала были относительно небольшими, ибо не оставили следов в Чиновниках соборных служб.

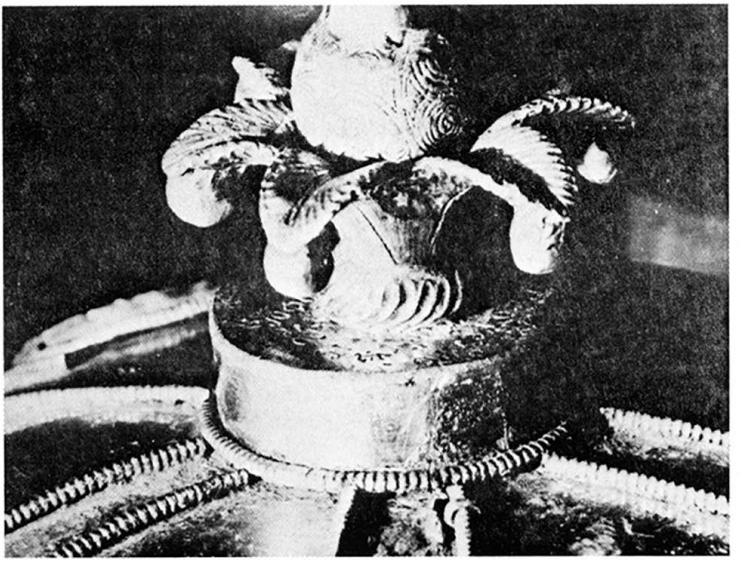
Если в соборах Константинополя, Киева и Новгорода XI в. их функции были двойственны — церковнослужебные и общественные, то в традициях Владимиро-Московской Руси уже с XII в. они играли преимущественно роль общегосударственных символов. Этим и объясняется использование в качестве образа византийских Иерусалимов западноевропейских реликвариев, чьи стилистические достоинства и функциональное значение были чужды и непонятны русскому православию, зато, вероятно, отвечали представлениям о "нездешнем, настоящем, святом".

Предлагаемая ныне читателям эта первая часть моего исследования о русских Иерусалимах-Сионах призвана была показать выдающееся значение этих памятников для русской истории, выделить их благодаря их особому назначению из многочисленных произведений искусства, сохранившихся с далеких времен древней Руси. Представляющееся мне значение Иерусалимов в качестве символов русской государственности и церковной кафедральности способно объяснить некоторые моменты их истории и воссоздать для нас нить рассуждений наших предков, так дороживших своими святынями.

Владимир Тетерятников

1.

3.



2.

1. Новгородский Малый Сион. (Серебро, высота — 63 см.)
2. Вид надписи до удаления навершия с крестом.
3. Раскрытая надпись.

Фото автора.

ПИСЬМА В. Н. МУРОМЦЕВОЙ-БУНИНОЙ

В скором будущем в издании "Посев" выйдет редактированная мною книга "Устами Буниных" (т. 1). В этой книге собраны дневниковые записи Ивана Алексеевича и Веры Николаевны за время до их отъезда из России, а также письма и другие документы, хранящиеся в архиве. Объем книги не дал мне возможности воспользоваться всем материалом (так письмами, которые печатаются ниже, я не воспользовалась).

Среди бумаг Веры Николаевны я нашла исписанные ее почерком листки. Это не то наброски, не то копии писем родным, не то не отправленные за неимением оказии письма, написанные в 1918 и 1919 г. г., после того, как Бунины, уехав из большевицкой Москвы, жили в Одессе, выжидая судьбы России. Привожу выдержки из этих писем, ярко описывающих жизнь и настроения в Одессе того времени. Они частично перекликаются с Одесским дневником Веры Николаевны, вошедшим в книгу "Устами Буниных".

Первое письмо обращено к брату Веры Николаевны, Всеволоду Николаевичу Муромцеву.

Милица Грин

Большой Фонтан, Херсонской губ., дача Шишкиной.
29 июня 1918 (Ст. Стиль)

Это письмо, дорогой Сева, доставит тебе племянник Александра Митрофановича Федорова. Как видишь, мы в Одессе. Счастливы и довольны, что вырвались из Москвы, только отравляет мысль, как переносят эти месяцы наши...

Переезд был довольно утомителен. В Одессе номер у нас был очень душный, так что, когда я переехала на дачу, то так ослабела, что ты и представить себе не можешь. Бедному Яну пришлось доканчивать устройство дачи, делать запасы одному. Мы уже 18 дней на даче, а я все еще не хожу лежать на берег, боюсь, что это будет утомительно. Дача у нас хорошая, большая, стоит в фруктовом саду, а сад выходит в степь.

1 августа (Ст. Ст.)

После перерыва в целый месяц я опять пишу тебе, т. к. до сих пор Вася, племянник Федорова, не уехал... У нас ничего особенного. Я немного поправилась, загорела, хотя июль был очень ветренный месяц, а потому и холодный... Несмотря на неважную погоду, мне кажется, что я живу в раю, и только томление о душах ближних, находящихся в аду, отравляет мне жизнь. Из Москвы получила письма — мало веселого. О тебе ничего не знают, значит, и ты не знаешь...

Жить здесь дорого. Одесса необыкновенно спекулянтский город, к тому же немцы вывозят все, и теперь уже запрещена продажа белого хлеба, хотя урожай только что собрали. Театры же полны, публика, как может, веселится. Чем больше бедных, тем более богатеет меньшинство...

Ян немного отдышался и повеселел, а то под конец зимы он совершенно перестал на себя походить, так угнетающе действовала на него московская жизнь. Сейчас пишет с него портрет маслян(ыми) красками молодой художник Шатан, который в то же время рисует меня сангиной, это нечто вроде пастели...

Следующее письмо коллективное. Дата — 1918 г. — приписана другими чернилами, как будто почерком Ивана Алексеевича Бунина.

Дорогие друзья, вас может удивит, что я пишу всем вместе, но почта не ходит и едва будет возможно переслать даже одно письмо с оказией...

Я в первый раз живу зимний сезон в Одессе, а потому все меня интересует, и на улицах, и в кафе — везде...

Теперь начало октября... Погода переменчива, но все тепло. В самом легком пальто жарко. Город очень загрязнен, конечно, не

так как в Совдепии, но все же по сравнению с тем, что было до революции, он грязен. Публика в среднем тоже посерела, нет той общей нарядности на улицах, какая была раньше. Чувствуется и самодельность — то в шляпке, то в башмаках.

Приближается зима, все озабочены дровами. И теперь неудивительно увидеть около тротуара на улице сваленные стволы деревьев, которые разрубают на дрова...

Дороговизна здесь не та, что у вас, но все же сильная. Одесситы спекулянты par excellence, а потому не спекулирует здесь только тот, кто совершенно лишен клеточки С. Особенно возросли цены на комнаты. Сюда стеклось много потоков бежавших из совдепского рая, не нашедших себя пристанища в Киеве, Харькове. Кроме того, началась реквизиция австрийцами, и вот все решили использовать свой клад, т. е. квартиру. Решили уплотниться и сдавать "беженцам" не очень нужные комнаты. Дело похвальное. Но одесситы сразу поняли,... что содрать можно здесь 7 шкур. А нужно заметить, что квартиры в Одессе очень дешевы... и вот интеллигентные люди хотят, (чтобы) худшая комната в квартире оплатила и квартиру, и топку во всех комнатах... Есть сдаватели комнат, которые требуют, чтобы жильцы, кроме платы за помещение, еще наняли прислугу и кормили бы хозяев...

Очень удобно спекулировать и обедами, и всякой другой кормежкой.

Третий род любительской спекуляции это продажа старых вещей и дамского тряпья...

Одесса принадлежит Украине, следовательно главный язык здесь украинский и, правда, на почте и в некоторых магазинах украинские надписи, но и только. Никто здесь не говорит на этом языке... Простой народ тоже не говорит на нем. Существуют здесь украинские деньги, но никто не хочет брать их...

Ходят слухи, что австрийцы уходят. Градоначальник предлагает обывателям вносить деньги на оборону, но никто ни гроша не дал. Меня удивляет, отчего не дали евреи? Ну, русская халатность известна, "зачем холера к нам придет?". Вероятно, евреи не доверяют властям, а, может быть, организовываются тайно...

4/18 октября (1918 г.)

Дорогие мама и папа, удается с оказией послать это письмо. От вас известий (нет) уже два месяца. Вы можете представить, как я беспокоюсь, питаясь только газетными сведениями.

Мы с 1 октября в Одессе. Последнюю неделю Яну пришлось похлопотать: у Буковецкого[1] реквизировали две комнаты, как раз наши, и в одну уже поместили морского украинского офицера с семьей. Пришли австрийцы и чуть ли не штыками прокладывали себе путь в комнату. Ян мгновенно поехал к Горностаеву, который его принял очень почтительно и сказал, что визитная карточка Яна будет для него реликвией. Вспомнили они свою первую встречу в Москве. Офицера удалось выдворить скоро, но официально реквизиция не снята, но, вероятно, снимут. Нам советовали переехать и жить, что мы и сделали. Хотя переехали мы, строго говоря, из-за того, что в ночь на Покров заболел Ян какими-то желудочными болями, расстройством и рвотой. Я провозилась с ним всю ночь. Мне помогал Кипен,[2] писатель, который жил у нас последний месяц. На другий день, когда мы переехали в город, мы пригласили врача, который определил интердит и сказал, что все скоро пройдет. Через час после его ухода со мной случилось то же самое, что было накануне с Яном. Ян перепугался... неизвестно для чего, растирал меня пенэкспелером, несмотря на то, что у него была температура... Как потом оказалось, он в глубине души боялся, что у меня холера, а потому и решил растереть. Вот и подите! Как огня боится холеры и в то же время решается возиться со мной... Мы оба совершенно здоровы теперь.

Устроились, не сглазить, мы очень хорошо. В такой обстановке не приходилось жить: у нас две комнаты, большие, высокие, светлые, с большим вкусом меблированные, но лишних вещей нет. Удобств очень много. Даже около моего письменного стола стоит вращающаяся полка с бальшим энциклопедическим словарем, — это то, о чем я всегда мечтала...

Кроме платы за комнаты, все расходы по ведению дома и столу будем делить пополам.[3] Деньги, взятые из Москвы и полученные в Киеве, приходят к концу. Ян делает заем в банке, тысяч на десять, чтобы не очутиться в безвыходном положении. Он очень озабочен, одно время был оживлен, а теперь снова

загрустил. Писать не начинал. Последний месяц он берет ванны, много гуляет, но вид у него почему-то стал хуже. Вероятно, заботит предстоящая зима, а теперь и здоровье Юлия Алексеевича.[4] Напиши, как ты находишь его. Меня очень тревожит, что ничего нет теплого у нас. Конечно, здесь до декабря можно будет проходить в драповом пальто, подниз поддевая вязанку, а потом, если зима будет холодная, дело плохо. Сшить здесь и думать нечего. Ни один город так быстро не повышает цены, как Одесса, а потому здесь уже все считают сотнями рублей. Катушка, например, для шитья шубки стоит 25 р. Это еще полбеды, но, когда эту катушку ты начнешь раматывать, то увидишь очень быстро конец нитки, т. к. ствол катушки очень толст. Мне пришла в голову довольно нелепая мысль. Здесь в Одессе ждут многих московских артистов, как Шаляпина, Собинова, Нежданову и др. Вероятно, с ними повезут костюмы и другой багаж и, вероятно, их багаж будет неприкосновенен. Вот, если бы найти путь к тому, кто будет этим заведовать, т. е. к антрепренеру или еще кому-нибудь, — то может, он и смилостивился бы и взял бы для нас чемодан. Конечно, это можно сделать только в том случае, если все это будет незатруднительно и без большого риска.

Ян для зимы совсем раздет, он взял с собой только две летних парочки. Ему необходим сюртук, т. к. он, вероятно, будет выступать за плату. Его приглашают во многие города. Толстой[5] по дороге из Москвы в Одессу заработал тысяч пять, выступая с чтением рассказов...

24 ок./6 ноября 1918

Дорогие друзья, хотя первое письмо у меня в столе, — отправить его вам не было никакой возможности, — но я все же пишу вам. Может быть, это письмо будет счастливее...

Теперь время самых важных исторических событий, за которые в будущем многие будут получать колы, т. к. трудно будет запомнить все девять республик, на которые разделена Вильсоном[6] Австрия, а сколько их будет еще в Германии и России, трудно даже представить. Теперь Вильсон главная злоба дня. И отношение к нему резко различное: одни, хотя и считают его человеком теоретическим, все же думают, что он делает

великое дело: демократизацию Европы; что по его мановению рушатся троны и создаются новые национальные государства. А другие, скептики, считают, что все выступление Вильсона сведется к ослаблению Европы и перенесению мирового главенства из Европы в Америку. И вообще здесь видят планомерное действие для ослабления держав. Ведь штаты соед/иненные/ тогда хороши, когда нет между ними национальной вражды!

21 н./4 д. [1918]

Почти месяц я не писала вам, дорогие друзья. За этот месяц произошло много: ушли немцы, пришли англичане, французы, сербы, поляки... Были перед этим произведены аресты гласных, смещена управа. Затем забастовка — мы сидели без света и воды — которую скоро прекратили тем, что исполнили все требования демократии. Мустафина оставили, думу старую разогнали, управу, смещенную, снова пригласили управлять городом. По слухам, это влияние Энно, французского консула... Ясское совещание произвело какое-то небольшое успокоение. Милюков, Гурко и др. уже отплыли к союзникам. Милюков был здесь несколько дней, делал доклад в кадетском клубе, но, к сожалению, я не могла быть на нем... Говорят, там было очень интересно. Кроме Милюкова, был там Гришин-Алмазов, приехавший из Сибири. Он не снял ни разу погон, минуя все большевицкие раи. Во многих местах не большевицких, как в уральском казачестве, оренбургском, он заметил, что народ в общем консервативен, а правительства их социалистические, и они относятся к этому равнодушно...

Одесская пресса взволнована Львовским погромом... Да, я забыла вам написать, что встречал англичан в числе трех лиц, не больше не меньше, как от лица России, Мих. Иг. Шрейдер. Я не буду писать, как мы все горды этим... Он был комиссаром Чорноморского флота во время Временного правительства. Теперь он член продовольственной управы, чему я очень рада, ибо я прежде всего эгоистка, и это нам дало возможность достать 10 ф. рису и материю Яну на костюм...

Живу я с комфортом, как не жила и в мирное время. Плохо мне только с одеждой — ни вещей, ни денег! Наконец, просту-

дилась — прошлось заказать шапочку плюшевую, совсем простую — больше двухсот рублей. Шубы нет, муфты нет, платья зимнего нет, хоть плачь! Сижу я почти все дома, это жаль, т. к. мало наблюдений. Не вижу я Одесского общества, хоть бы в один дом попасть! Людей посмотреть! Но зато я много работаю, перевожу...

2 января/15 января 1919

Я очень виновата, дорогие друзья, что так давно не писала вам. Причин тысяча, а первая та, что письмо все равно пролежало бы у меня в портфеле, а потому вам все равно — пишу я или нет. Конечно, в будущем будет приятно вместе прочесть о том времени, когда мы были врозь... Я почти два месяца нахожусь в полубольном состоянии: кашель, насморк. Зима здесь гнилая, туманы, грязь, сырость. Морозных дней было очень мало, как всегда в подобных случаях, утешают тем, что "старожилы не запомнят такой зимы". Но нам не легче. Бедный Ян, почти не переставая с повышенной температурой. Кроме того, всегда, когда пишешь вам, очень волнуешься при мысли о том, живы ли, здоровы ли... С каждым днем спасающихся все больше и больше. И когда видишь знакомого москвича, вновь прибывшего, чувствуешь радость. А москвичей здесь много. Почти вся редакция "Русского слова" с Благовым во главе. Бежал сюда и Яблоновский Сергей из Харькова, бритый, что ему идет, к слову сказать. Вообще, москвичи начинают объединяться и общаться. В воскресенье было собрание под председательством князя Евг. Трубецкого. Правление — временно инициативная группа — кн. Трубецкой, барон Врангель, Бурышкин, Луи и др. Я, к сожалению, не была там, говорят, что беспорядок и бестолочь были невообразимые, народу пришло человек 400, стояли все сплошь, как в церкви, помещение оказалось мало. Задачи этого общества пока экономические, устроить столовую, заботиться о комнатах и помещениях.

23 мая/5 июня 1919 г.

Сегодня, дорогой Юлий Алексеевич, [4] ровно год, как мы с вами распрощались на Савеловском вокзале и уехали из Москвы. Это даже странно — целый год я не была в Москве и

никого из вас не видала! Соскучилась сильно. Ян — тоже. Мы часто теперь говорим с ним о поездке в Москву, но как это осуществить, еще ясно не представляем. Разрешение на въезд в нее мы имеем, но этого мало, нужно еще разрешение на выезд из Одессы, — это, кажется, очень трудно, — нужно хлопотать. Впрочем, это формальная сторона. А существенная заключается в том, что чтобы жить в Москве нам нужно, вероятно, тысяч десять, — иначе медленная смерть, во всяком случае, для меня, т. к. все доктора, которые меня пользовали даже в Одессе, когда я была сравнительно в хорошем состоянии, говорили: есть и есть и никаких почти лекарств. За зиму я поправилась, но за последние 2 месяца опять сдала. Жить и здесь становится с каждым днем все труднее, — цены растут, а поступлений ждать неоткуда. Мне предлагают место рублей на 1200-1500 в месяц, но Ян все еще не соглашается, чтобы я служила.

Ваше письмо от 1/14 мая мы получили, большое спасибо за него, теперь мы имеем представление о московской зиме, огорчило оно нас сильно, как вы все намучились от холода! Как всем вам трудно жить.

Очень трудно нам бывает по вечерам, так как мы лишены по декрету права пользоваться электричеством, керосина в городе совсем нет, приходится сидеть со светильниками, т. е. с фитилем, опущенным в подсолнечное масло. Выходить из дому можно лишь до 12 ч. по советскому времени, т. е. до 9½ вечера.

Много знакомых разъехалось. Видаемся с Варшавским, [7] познакомились с Щепкиной-Куперник-Полыновой [8] и ее мужем, очень приятным человеком. Он Петрб. присяжний поверенный, повидимому, имел хорошую практику. С ними живет дочь Мар. Ник. Ермоловой. [9] Остальные знакомые местные: Недзельские[10], Тальниковы, [11] Лазурские [12] и Овсянико-Куликовские.[13]

У нас в доме, т. е. квартире, школа рисования, ученики от 10 лет. Преподают Нилус, Буковецкий, а лекции по истории искусств читает Лазурский. Я состою заведующей, школа отнимает у меня 2 часа в день. Представьте, я поддерживаю дисциплину прекрасно, жалко только, что не рисую.

Другими чернилами приписано:

Вот, что я писала в Москву в ответ на письмо Юл. Ал. Не

знаю, дошло ли оно до него. Писала осторожно, по понятным причинам. [14]

Август (1919 г. — М. Г.)

Дорогие друзья, опять хочу писать вам всем вместе, т. к. писать каждому в отдельности, когда не знаешь, дойдет ли письмо, бесполезная трата времени, т. к. конечно, будешь повторяться, а для писем, которые неизвестно, когда будут отправлены, это большая роскошь... Больше года я не видала вас всех, больше года я не дышала Москвой... Больше года мы в Одессе и скоро год, как мы безвыездно живем в одних и тех же комнатах. Для меня это еще не такая беда, для Яна же черезчур — ведь он в душе скиталец! На наше счастье лето прохладное — ни от жары, ни от духоты мы не страдали. А страдаем от других причин: скоро месяц, как нет в домах воды. Сначала приходилось ходить на Елизаветинскую улицу (от нас это минут 5 хода), а теперь вода поднимается только на Приморскую улицу, т. е. почти на уровень моря. Это уже целое путешествие! И бедные обыватели по целым дням спускаются и поднимаются в гору с ведрами, кувшинами, чайниками, банками, бутылями — тут и изнемогающие от усталости старухи, и si-devant дамы общества, и отцы семейств, и девушки, и дети, словом ровное, только не тайное, а явное, без различия пола и возраста (общество — М. Г.) Пострадали мы и от продовольственного кризиса во время немецкого восстания, прекратился почти всякий подвоз, и мы по несколько дней сидели без хлеба, масла, мяса, рыбы и т. под. продуктов. Из под полы же можно было кое-что с большим трудом и по очень высоким ценам (получить — М. Г.) — масло доходило до 300 рублей, десяток яиц до 200 р., фунт хлеба 100-150, мясо и рыба совершенно отсутствовали на рынке. Кабачки, Одесские кабачки, которых всегда бывает тут такое множество, доходили до 5 р. за штуку! Конечно, это время приходилось почти голодать. Ян страшно побледнел и еще похудел, теперь, слава Богу, хлеб появился по 20 р. за фунт, да кроме того, нет-нет и дадут паек. Словом, в смысле питания нам теперь жаловаться стыдно: едим яйца, селедки (посчастливилось достать), рис, оставшийся еще от благодеяний Мишеля, картофель, соус из овощей. Пьем кофе, чай с сахаром. Чего же

еще желать! Хуже обстоит дело с бельем. Уже три недели ничего не стирали. А белья у нас чуть!... Правда, голь на выдумки хитра, можно совершенно перестать дома обедать и т. обр. не тратить воды ни на мытье посуды, ни стирку полотенец и т. д. А ходить — вы думаете, в столовые или в кухмистерские — ничуть не бывало! А ходить по улицам и походя питаться. Вы удивлены? А между тем, я не шучу. На одном углу вы покупаете уже сваренную пшенку, т. е. кукурузу, и кушаете ее с аппетитом и что из того, что перед вами нет прибора, ведь все равно ее едят даже в самых изысканных обществах без помощи ножа, вилки, ложки — и никаких приспособлений, чтобы держать ее не прямо руками, еще не придумано. По секрету скажу вам, что я занята теперь этим изобретением и надеюсь получить патент не только в России, но и в Англии, где так строго всегда сервирован стол. Пора покончить с пшенкой, а то вы можете подумать, что я заговариваю вам зубы и хочу накормить всех ею. Ничуть не бывало! Купивши и съевши пшенку (за 3 р. штука), вы можете скушать одно или два яичка. Здесь все очень нежно настроены к этим продуктам, вероятно, за то, что они питательны. Вы никогда не услышите, чтобы одессит сказал "яйца", всегда — "яички". Ну-с, купите яички, они крутые, или по-здешнему, твердые. Но без хлеба и не сытно, и не вкусно. Как по щучьему веленью, не успеете вы сделать два шага, и хлеб перед вами. За столиком, на котором стоят весы и лежат несколько хлебов, сидит с книжкой девица или мужчина и с удовольствием отвесит вам 1/2 фунта, фунт, сколько пожелаете. Подкрепитесь яйцами, как перед вашим взором появятся пирожки под розовой кисеей, рублей по восьми штука, или пончики. Вот вы и сыты. А на десерт, если вы не боитесь холеры, вы можете купить яблок, груш, слив — и все это вам будет стоить так рублей 75, если у вас средний аппетит.

Кто знал Одессу раньше, увидел бы, что многое изменилось в ней. Поразила бы тишина на улицах, редко несется по ним автомобиль с матросами, а извозчик везет чаще всего не менее трех человек. Иногда два молодых человека сидят, развалившись на заднем сидении, а особа прекрасного пола на лавочке. Как я уже говорила, люди большей частью с ведрами или со свертками и корзинами с базара. Воздух оглашается щелканьем деревянных

сандалий, которые на ногах у многих детей и у некоторых взрослых.

Одно отдохновение для меня это архиерейский сад с аллеями и видом на море, на мертвый ныне порт. Туда я отправляюсь ежедневно, провожу там часа два, три, иногда за чтением иностранных книг, иногда ничего не делая. Лежу на плэде, смотрю на листву и небо и думаю, думаю. И, конечно, о севере, о всех вас, о красоте наших полей, лесов, рек и, представьте, чуточку успокаиваюсь, отвлекаюсь хоть на время от ужасной действительности. В этот сад пробираются многие, переживающие большевизм здесь... Бегают дети, им всегда хорошо, если можно проявлять свое я в играх, и они счастливы, ничего больше не надо, даже тощий обед не беспокоит их.

Многие стремятся уехать из Одессы, правильнее уйти на "дубках", парусных судах. Некоторые уплыли и благополучно добрались до Крыма. [15]

По вечерам, вернее в сумерках, мы собираемся в одном доме, и сообщается "самая вернейшая сводка", и сколько надежд, разочарований, биения сердца. А вернувшись домой, сидим при свете фитиля, опущенного в растительное масло — возвращение к древности. И какая тоска, какая скука. Принимаемся читать вслух...

Вот вам беглый очерк нашей жизни. Духом не падаем, надеемся. Уж очень здесь изжита настоящая власть. От слухов деться некуда.

Привет всем, поцелуи, поклоны на выбор, по желанию.

Верун Секрет.

1919 г. 25 декабря.

Дорогие мои, после такого длительного вынужденного молчания я снова берусь за перо, чтобы дать о себе весточку. Грустно писать в наши тяжелые дни, особенно, когда не знаешь, кто еще прочтет это письмо? Кто из близких жив, здоров и с кем еще свидишься? Мы накануне новых странствий, наша оседлая жизнь, кажется, на-днях прекратится. [16] Где мы очутимся, я пока не знаю. Планов, как всегда, у нас несколько, и, как всегда, мы до последней минуты не знаем, куда мы попадем. Может быть, к братьям славянам, а может быть, и в Париж. Мы здоровы.

Очень беспокоимся о всех вас... теперь ничего не ждешь от праздников и их почти не чувствуешь. Разве только острее чувствуешь тоску по Москве, живее вспоминаешь "бывшие праздники", бабушку, наш дом, вкусные обеды, Кузминишну, смоквы, варенья, печенья, словом весь тот быт, от которого теперь мокро осталось. И страшно — я во многих местах проводила эти дни — и в деревне, и на Капри, и в Египте, но поэзией обвеяны в моем воображении эти дни только в Москве и особенно в нашем доме с самого раннего детства при бабушке и после — до самых последних лет. Я все хочу представить, как вы живете, в чем у вас поэзия, но не могу: закрою глаза, так и вижу, скорее чувствую, холод, вижу изможденные лица ваши, вы все в шубках, шапках, калошах, вам холодно, неуютно, вы больны, и нет возможности помочь. Ради Бога, насколько можно, питайтесь, не жалейте вещей, на мои смотрите, как на свои. Помните, что ваши жизни нам дороже вещей. Я здорова, если не считать насморка. Ян — тоже. Здесь проф. Явейн, я пригласила его к Яну, он нашёл его сердце хорошим. Явейны нашли, что я за 13 лет совсем не изменилась, немного только возмужала, и румянец стал "менее живым", добавила m-me. Вы не подумайте, что у меня румянец всегда, это было с воздуха — я разогрелась и раскраснелась. Насчет теплых вещей у меня довольно плохо: все хожу в своем драповом пальто, из которого выпорола подкладку и сшила из нее блузку длинную. Вообще, платьями я обеспечена... Плохо лишь с пальто...

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Художник Евг. О. Буковецкий, приятель Ивана Алексеевича, у которого Бунины сняли комнаты.
2. Литератор А. А. Кипен.
3. Кроме Буниных, у Буковецкого жил и друг Бунина художник П. А. Нилус.
4. Старший брат И. А. Бунина, оставшийся в Москве.
5. Ал. Н. Толстой.
6. Президент США.
7. Б. Л. Варшавский, журналист и фотограф.
8. Писательница Т. Л. Щепкина-Куперник, по мужу Полынова.
9. Артистка.
10. В. О. Недзельский с женой.

11. Д. Л. Шпитальников (псевд. Тальников) с женой.
12. Проф. Лазурский с женой.
13. Литературовед и критик Дм. Н. Овсянико-Куликовский с женой Ир. Л.-ой.
14. В это время Одесса была уже в руках большевиков.
15. Имеется в виду поэт Максимилиан Волошин.
16. Буниным решили эмигрировать.

ТВОРЧЕСКАЯ ВЫЛАЗКА

"Первый Ангел вострубил..." (Откр. 8,7)

Перед поездкой в Москву на предстоящую выставку в Измайловском парке (29.9.74) в разговоре со старым знакомым, осевшим после аспирантуры в каком-то городском архиве, я пытался убедить его, что первая за долгие годы демонстрация свободного искусства — явление для советской России историческое. Это прорыв плотины! Если выставка все-таки состоится — после нее широким потоком разольется незапрограммированное творчество. По проторенной художниками дороге двинутся поэты, музыканты, прозаики — каждый со своими демократическими требованиями. А с искусством труднее бороться, чем с политическими противниками. И вам, историкам, нужно ехать в Москву, чтобы зафиксировать это знаменательное событие. Он нудно стал доказывать: "Выставку не дадут. Это невозможно. Как могут разрешить вытащить из фундамента хотя бы один кирич?"

Вскоре после возвращения из Москвы я случайно встретил его на Невском. Коротко рассказал о последних событиях и, торопясь поскорее взяться за дело, убежденно воскликнул: "Твои предсказания не сбылись! Теперь остановить уже невозможно."

Апрель 1975 года.

1. ВЫСТАВКА В ИЗМАЙЛОВСКОМ

Я буду рассказывать о событиях, в которых принимал участие. Оценка и освещение их субъективны.

Прежде, чем описывать ленинградские дела, следует остановиться на московской выставке в Измайловском парке. Не будь последней — ленинградские художники по-прежнему сидели бы в своих норах. Приподними головы — они испытали бы то же, что и участники хеппенинга 15 сентября 74 года, с той лишь разницей, что мир бы о них ничего не услышал.

О попытке московских художников устроить выставку заговорили все радиостанции: "Голос Америки", "Би-Би-Си", "Немецкая Волна". Протест Джексона, Вильсона... Сообщили: через две недели художники повторят свое выступление. Ни одно еще известие по радио не потрясло меня с такой силой. Наверное со мною было то же, что испытал мой знакомый А., когда очнувшись от сна, услышал: "С властью большевиков сегодня покончено". Он рассказывал: "Я вскочил и включил радио на полную громкость. Но вскоре пришлось успокоиться — это была всего лишь театральная постановка".

Поехал к Нестеровскому.

— Володя, ты слышал? Поедешь в Москву?

— Я-то поеду, мне терять нечего. А у тебя дети, ты к ним привязан...

— Детям в наследство нужно оставлять душу, а не трусость.

Направились к Юрию Жарких. С ним мы не виделись два года. Но участие в событиях 15 сентября реабилитировало его в моих глазах.Наш последний разговор состоялся вскоре после того, как опечатали мою мастерскую. — Каждую неделю, по пятницам, у меня были открыты двери для всех. Разговоры об искусстве, литературе, философии. Дискуссии политические я, по-возможности, притушевывал, опасаясь провокаторов. — Погромов и процессов вокруг подобного рода собраний было более чем достаточно. Я знал, что мастерскую рано или поздно прикроют — но сознательно шел на жертву. Поэтому было обидно год тому назад услышать от Юры вместо поддержки — осуждение:

— Не нужно было связываться с политикой. Погубил хорошее дело.

— Юра, тебя все оценили по достоинству и поддержали. А теперь ты свысока судишь.Разве не дала тебе толчок выставка у Овчинникова? Может и ему следовало сохранять свою мастерскую?

— Я хочу сказать, что искусство не нужно путать с идеологией и политикой.

— Искусство связано с идеологией. Все неофициальное искусство уходит корнями в свободомыслие. Нам не порывать нитей, которые всех нас связывают.

— Надо красить — наше творчество громче политических деклараций.

Юра, конечно, остался при своем мнении. Видно, окрыленный сбытом работ на Запад, Юра стал свысока смотреть на окружающую братию. Я не заходил к нему. Передавали: Жарких стал сытым барином.

Поднимаясь с Нестеровским в его мансарду, я размышлял: или Юра глубже понял задачи искусства, или логика сбыта работ привела его к участию в этой акции, поскольку лучшая реклама в наших условиях — политический скандал.

Он только что из Москвы. Рассказал о погроме.

— Мы ожидали расправы, но того, что творилось, не предвидели. Показал шрамы на руках. Еще болят.

— Переодетые молодчики заворачивали руки за спину и с размаху били по локтям ногами, пытались сломать. Рабин висел на ноже экскаватора, на Немухина три раза наезжал бульдозер — тот ни с места. Кого-то били в машине в пах и без сознания бросили в общую камеру. Картины ломали, швыряли в машины, устроили из них костер. Я заметил, как изменился в лице Нестеровский. Мелькнуло — не поедет. И действительно, он тут же отказался ехать, сославшись на творческую занятость. Бог ему судья.

Рассказ Жарких навеял мрачность. Но другого выхода нет — ехать придется.

— Юра, можно принять участие в предстоящей выставке?

— Если хочешь пострадать — давай. Ты можешь оказаться в трудном положении — тебя не знают на Западе, заступиться будет некому.

— Меня волнует одно — как доставить работы, чтобы не перехватили по дороге.

— Ничем не могу помочь. Чтобы не сорвать выставку, основная группа будет доставлять картины конспиративно. Могу дать тебе телефон Рабина. Обо всем справляйся у него.

— Почему разнобой? То сообщают, что выставка состоится в субботу, то в воскресенье?

— Как только всех художников выпустили из каталажки, Рабин заявил: "Выставка состоится на том же месте через две недели". Получалось воскресенье. А его дама в переговорах с Моссоветом дала согласие на субботу и поторопилась поделиться радостью с корреспондентами. Рабин продолжает стоять на своем. Не понимаю, зачем лишняя грызня с властями? Главное, ведь, выставка.

— Рабин прав. Нужно держаться твердо. Если пойти на поводу у них, то сначала скажут — суббота, потом пятница. У Рабина хватка. Это пригодится — художники выходят на уровень политики.

Юра по-прежнему рядился в маскировочный халат — отказывался видеть в выступлении художников политический аспект. Вместе с Ирой они набросились на меня. Видимо, я затронул уже поднимавшуюся в Москве тему. "Это не демонстрация, мы ничего не имеем против советской власти!" — Ира повторила эту фразу раза два-три, будто оправдываясь от обвинений КГБ.

— Юра, я понимаю, что из тактических соображений необходима эта иезуитская хитрость, но зачем играть в прятки друг с другом? Если же твои слова искренни, разве это не конформизм или того хуже...?

— Художники не могут брать на себя ответственность за всех. Нужно добиваться своего. Нельзя охватить необъятного.

— Не надо забывать, что в наших условиях требование независимой выставки становится политическим требованием. За иглой тянется нить. Конечно, если бы все произошло тихо и мирно — можно только радоваться. Не художники, а бульдозеры превратили выставку в ранг международной политики. Важно самим понимать, что мы делаем...

Юра молчал. Не боится ли он подслушивающих аппаратов. Разговор оборвался.

Идем с Володей по Гороховой. Он:

— Да, сытый голодному не товарищ.

Разговор с Жарких подействовал разлагающе. Зашевелились сомнения. Выставка стала восприниматься не столько ре-

шающим этапом в освободительном движении, сколько частным делом группы московских художников. Навязываться, примазываться к ним... — Скверное чувство. Но спокойно обдумав ночью, я понял: то, что совершается, глубже внешней поверхности. Всякий, кто трудился на поприще искусства, не умещающегося в рамки соцреализма, вправе принять участие в первой свободной выставке. И что бы мне ни угрожало, мой долг — ехать. Иначе все, что делал до сих пор, нужно зачеркнуть. Набат загремел в ушах — я не должен их затыкать.

Зову в Москву Овчинникова. Тот заверяет, что обязательно поедет и просит накануне позвонить ему.

В пятницу, 27-го, дозвонился до Рабина. Женский голос ответил:

— Выставка состоится. Получено официальное разрешение. Можно выставлять все, кроме работ с антисоветским, порнографическим и религиозным содержанием. Если сочтете необходимым выставить такие работы — будете нести личную ответственность. Не устраивайте на выставке продажу произведений, не ввязывайтесь ни в какие прения — возможны любые провокации. Сообщила время и место выставки. Лаконичное, деловое объяснение, уверенный тон настраивали на боевой лад. А я-то сомневался! За эти дни подготовил холст для хеппенинга. Запомнил по репродукции одну из интересных, на мой взгляд, композиций Кандинского. На выставке по памяти воспроизведу ее на холсте. В конце сожгу все. И объясню свой жест как символ неуничтожимости творчества: каким бы преследованиям искусство не подвергалось — оно бессмертно и потому свободно. Я напомню о светлой памяти Кандинского. О том толчке, который направил его по новому пути: об откровении, заставившем его осознать иллюзорность и уничтожимость материи и увидеть вечность и первичную значимость Духа, Творчества, Идеи.

Спросил, как насчет хеппенинга на выставке? И сразу же пришлось отодвинуть трубку от уха:

— Никаких хеппенингов! Это выставка, а не хеппенинг!

— Что ж, придется придерживаться ваших установок.

Позвонил Овчинникову. Он куда-то исчез. Как потом объяс-

нил — был у матери за городом. Как же я доберусь один с холстами?

Перед отъездом ночевал у Евгения Н. Он отговаривает меня от поездки:

— Игорь, твоя голова дороже и этого выступления и всей твоей живописи. Ты же знаешь чем может это кончиться: сумасшедшим домом, расправой на месте, лагерем.

— Евгений, спасибо за веру в меня. Но ехать придется — не презирать же себя?

Попросил его помочь добраться до Измайловского парка. Он, не раздумывая, согласился. В субботу, разработав предварительно план, мы садились на поезд. Прошли по Лиговке мимо вокзала и с головы состава пробрались в вагон. Мне казалось, что из Ленинграда будет паломничество художников, и, может статься, — выставят кордоны. Вся эта перестраховка сейчас выглядит смешно, но это не мания преследования. Мы все запуганы и правило, что личность от произвола властей ничем не защищена, — усваиваем прежде, чем научаемся писать и считать. Дома я, на всякий случай, распрощался — вдруг не вернусь. Настроил Тане приемник на волну "Голоса Америки", записал время последних известий. Посоветовал добираться до Сахарова, если что-то случится. Игорьку наказал, чтобы отомстил, если погибну.

В Москве, минуя вокзал, выбирались в город по путям. Уплатили по рублю за хождение по запретной территории и были признательны железнодорожникам, которых волновала лишь обязанность заполнить до конца месяца отчет по штрафам. Оставив работы у гостеприимного выпивохи, поехали на разведку в Измайловский парк.

В десять часов сошли на станции метро "Измайловский парк". Оглядываемся. Куда идти? На переходной площадке двое. Один напоминает классического шпика. Другой — свой, с черной бородой, ясными глазами. Спрашиваю у него, где будет выставка? Он отвечает невнятно, уклончиво. "А где дорожка к шахматным столикам?" — эти ориентиры мы получили, позвонив утром к Рабину. И будто услышав пароль, заулыбался. Объяснил, как идти. "Все спокойно. Турникеты стояли вчера. Все боялись, что они будут пропускать по одному человеку в час —

звонили корам (западным корреспондентам). Сегодня убрали. Художники уже подходят." Мы бегом в метро. У Ленинградского вокзала быстро сторговались с водителем грузового такси,и к одиннадцами часам были на месте. К поляне, позади которой должна быть канава, шли в сильном напряжении. Казалось, что за каждым кустом прячется охранка, что только с помощью Божией мы благополучно доберемся до места. Но как только приблизились к поляне, где должны разместиться художники с работами и где скопилось уже не меньше тысячи зрителей, я успокоился. На миру и смерть красна. Невдалеке от места выставки сложили свой груз. Я стал сколачивать подрамники и натягивать холст, Евгений пошел к художникам. Вскоре вернулся с Жарких и маленьким, неприятным на первый взгляд человеком. Это был Глезер. Юра познакомил нас. "Прониыра" — подумалось невольно.

Глезер внес меня в список участников, записал названия и размеры работ. На оба холста взглянули мельком — пойдет. На третью работу — доску с изображением плачущей Богоматери и Младенца, в восторге протягивающего руки, с подписью внизу — "Ждем чуда от предстоящей скорбной жизни", Глезер замахал руками: "Спрячь, увези, даже в завернутом виде держать рядом нельзя!" Пришлось Евгению отвезти ее на Белорусский вокзал и сдать в камеру хранения. К 12 часам у меня все было готово. Попросил двоих из зрителей помочь поднести. Подойдя к месту, увидел длинный ряд аккуратных аллюминиевых мольбертов. На них уже устанавливают картины. Линия протянулась метров на двести-триста. Порядок был, по-видимому, заранее определен. Впереди, я потом разобрался, весь костяк. Если не первым, то вторым Рабин; Жарких четвертым или пятым. Я не нашел ничего лучшего, как забраться вперед. Но, поскольку в общую линию невозможно было втиснуться, встал на боковую дорожку. И так уж случайно вышло, что я то ли открывал выставку, то ли выпадал из общей линии. Споров мое место ни у кого не вызвало — все занимались своими делами. Картины поставил на траву, подперев их сломанными ветками. Едва отбился от охранников парка — они долго доказывали мне, что ветки все же не сухие, а живые, и потому следует платить штраф.

Народ пошел сплошной стеной. Давка. Видеть могут только

первые ряды. Вся молодежь и те, на ком печать интеллекта, относятся с пониманием. Ни о чем не спрашивают, лишь иногда просят адрес, благодарят, идут дальше. Средний обыватель недоумевает: "Что за выставка? Что изображено?" И редкий вопрос у них звучит искренне — чаще нахально.

Я обращался к некоторым зрителям: "Как вы узнали о выставке?" Все, в ком интуитивно узнаешь близкого по духу, отвечали однозначно: "По голосу Америки". Остальные: "Бродили по парку, видим все идут — и мы пошли".

Придерживаюсь обязательства не вступать в разговоры. Но мое молчание превращается в демонстрацию. На все вопросы отвечаю:

Мы не можем устраивать дискуссий — опасаемся провокаций;

Я понимаю, народ изголодался по слову, но это не митинг, а выставка;

— Только катни ком снега — обрушится лавина;

— У нас замок на губах.

Прилип сбоку провокатор, не отвязаться. Настойчиво требует ответа:

— Почему вы молчите? Что у вас изображено? Что вы хотите этим сказать?

— Вы ставите вопросы в некорректной форме. Вы уверены, что все знаете и не хотите ничего слышать — вам нужен скандал. По-человечески прошу — оставьте меня в покое.

Внутри все дрожит, говорю срывающимся голосом. Публика заступается и гонит его прочь.

Постоянно фотографируют. Для этого приходиться поднимать аппараты над головой или усаживаться друг другу на плечи. Подходят иностранные корреспонденты, дают визитные карточки, берут интервью. Разговариваю с ними откровенно, но так, чтобы посторонние не слышали. Спрашивают — возможна ли выставка в Ленинграде?

— В Ленинграде все сложнее. Там католики почище папы. Местная власть всегда более консервативна, и ей приходится оглядываться на Москву. Там меньше художников и нет инкоров. Но вы о нас скоро услышите.

Подходит некто с портативным магнитофоном, представ-

ляется корреспондентом всесоюзного радио. Просит ответить на некоторые вопросы.

— Скажите, какие художники оказали на вас наибольшее влияние?

— На меня прежде всего оказали влияние религиозные деятели: Христос, Будда, Майстер Эккарт. И влияли они не только на формирование моей личности, но и на направление моих поисков в живописи. Затем такие инакомыслящие, как Сократ, Кьеркегор. Из художников — Кандинский, Рерих.

— Что у вас изображено на картинах?

— Первая работа — натюрморт. Это результат моего бродяжничества по Руси. Крестьянский, христианский быт. Мне близко это стремление к простоте и естественности. Вторая работа делалась в течение четырех лет. Под тем, что вы видите, еще несколько слоев отличных от конечного результата. Чисто формальная композиция. О сущности ее мне трудно говорить. В ней отразилось мое мышление чистыми формами, и перевести его на обыденный язык невозможно. Предлагаю смотреть и видеть то, что изображено, и ничего больше.

— Где вы работаете?

— Работа, которая дает мне кусок хлеба, не имеет никакого отношения к моим картинам. Я мечтаю о том дне, когда смогу отдаться целиком единственно достойному человека делу — свободному творчеству.

Бесстрастно поблагодарил и распрощался. Со своими тремя вопросами он обошел всех художников. Все решили, что это Они "работают".

Молодые ребята усаживаются на траву и внимательно, не отрывая взгляда от картины, кейфуют. Некоторые из них художники. И по всему видно, что нереалистическое искусство, впервые вырвавшееся на волю, найдет среди них своих верных неофитов.

Уговорив Евгения подежурить у картин, попытался просмотреть выставку. Но пробиться сквозь толпу зрителей, медленно передвигающихся от работы к работе, невозможно. Пришлось подлезать под мольберты со сторони художников и заглядывать снизу, упираясь подбородком в подрамник. За те двадцать минут, которые смог выкроить, посмотрел около половины работ. Много интересного, но ожидал, что уровень будет

выше. Как оказалось, опасаясь очередного разгрома, большинство принесло, что не жаль было терять.

После двух часов (прошла половина отведенного на экспонирование времени) я стал ощущать спад настроения. "Для чего мне эта, мельтешащаяся перед глазами, толпа? Да, все понятно — событие замечательное. Я буду гордиться, что был участником. Как никогда, я дышал здесь легко и улыбался счастливо. Но почему же я, художник, молча стою наравне со всеми? Вся и разница — они по одну сторону, а я по другую от линии картин. Вынужденное молчание давит. Радостное, приподнятое настроение обернулось унынием. Ошущение свободы оказалось недолгим.

К закрытию (4 часа) ощутил слабость. Я не пил и не ел с утра — не мог. Какая-то заботливая девушка распределяла среди участников бутерброды и наливала из термоса по стаканчику кофе. Как это было кстати! Ноги не держали и я улегся рядом с картинами на траву.

Ровно в 16.00 все, как по команде, свернули работы. Зрители не торопятся расходится. Они сбились в отдельные кучки и беседуют между собой.

Да, публика нас хорошо приняла. В целом внимание, радость. Но были и такие, кто сквозь зубы цедил: "Сюда бы атомную бомбу — Россия могла бы еще пятьдесят лет жить спокойно". Или полу-друзья, полу-провокаторы: "Хорошо поработало ЦРУ". Кто-то из правления МОСХа: "Первая официальная антисоветская выставка". Я думал, что будет встреча участников, какое-то обсуждение, планы на будущее. Спросил Глезера, тот пожал плечами: "Все..." Будто ложка пронесена мимо рта.

Работы решил оставить в Москве. Глезер предложил свои услуги. На следующий день прибыл к нему на квартиру со своими холстами.

— Вы молодцы! Вашей твердости можно позавидовать. Вы стояли в центре исторического события.

Глезер улыбнулся — ему польстили мои слова.

— Нельзя останавливаться. Нужно делать выставку в Ленинграде.

Он вяло, и видимо не только из-за бессонных ночей:

— У вас это тяжелее. Ленинградский КГБ известен своей жестокостью. И нет поддержки Запада. Дело трудное. Должен взяться кто-то из ленинградских художников.

Я ожидал, что он поделится опытом, но ленинградские дела его не интересовали.

Из сведений, полученных в Москве, сложилась противоречивая картина событий, связанных с подготовкой выставки в Измайловском. Всем было ясно, что решающую роль сыграла поддержка западной интеллигенции, иностранных корреспондентов. В остальном мнения расходились. Одни считали роль Рабина решающей, и готовы были видеть в нем знамя начавшегося среди художников движения. Другие скептически напоминали о его многочисленных, связанных друг с другом, родственниках, взявших на откуп левую живопись: "Картины Рабина стали падать в цене — вот и пришлось ему идти ва-банк". Одни уверяли, что КГБ не вмешивалось, другие доказывали, что о первой попытке оно знало и потирало от удовольствия руки, наблюдая как МВД, соседняя вотчина, опозорилась со своими медвежьими методами. И КГБ, мол, убеждало политиков: "Дайте нам в руки это дело — все будет чисто." Промежуток же между 15 сентября и 29 был заполнен диалогом узкой группы художников с КГБ — шла торговля за место выставки, за условия.

2. ПЕРВЫЕ ШАГИ

Я возвращался из Москвы, обдумывая предстоящую схватку за выставку. Выйдя с поезда, сразу же позвонил Овчинникову. Встретились в кафе "Сайгон". Рассказал о своей поездке и предложил начать кампанию.

Володя: "Да я хоть сейчас. Могу прямо на Невском."

Договорились: он соберет своих знакомых художников, а я схожу к Жарких.

— Пусть будут только художники. Юра нужен. После участия в московских событиях его имя имеет вес...

— Трудно заранее сказать — будет ли он заинтересован в ленинградской выставке? — в тон мне добавляет Володя.

— Будем расширять начатое предприятие, пока они не выра-

ботали инструкций, как с нами бороться. Нужно воспользоваться интересом Запада к нам.

Володя: "Только бы не сорвать дело. Надо обдумывать каждый шаг."

На прощанье я в виде шутки изложил ту мысль, что привез с собою из Москвы:

— Власти помогают нам осознать сферу свободы искусства: секс, политика, религия. Договорились, что собираемся на следующий день. И я сразу же направился приглашать Жарких. Пойдет ли он на это дело? Скандальной славы и рекламы у него достаточно, а идеи свободы личности ему чужды.

Но Юра, задумавшись на несколько мгновений, согласился.

— Глезер говорил о твоем предложении. Советовал не распылять силы, сосредоточиться на Москве. Но у меня может быть и свое мнение.

Он заверил, что знает кухню политических передряг, сопровождавших переговоры о выставках. Но это, мол, страшный секрет.

Я: Подводные камни надо знать, чтобы провести корабль благополучно. Но ты можешь молчать, в обиде не буду. Не исключено, что за время твоего отсутствия в Москве мастерская "радиофицирована".

— Что же, может быть. Но мне плевать. Скрывать-то нечего. Только не нужно придавать выставке политический характер. Вообще, советую забыть на это время о политике.

— Я не собираюсь рекламировать свое толкование событий, но и кастрировать себя не буду. И никому не посоветую разучиться соображать.

— Ты пойми, у нас бы там ничего не вышло, унюхай они хоть слабый душок политики в наших требованиях.

— Если бы не Запад, так хоть в три погибели перед ними согнись — не помогло бы.

Я оборвал себя, заметив, что Жарких напрягся и отстраняется от меня.

— Ладно, не буду...

Мне казалось, что согласие его висит на волоске. А без Юры, видимо, трудно будет собрать художников. И потому приходилось соглашаться с его исходной позицией. "Но ничего, —

думалось мне, — я сумею отстоять свои идеи в процессе организации выставки."

Жарких: Нам нужен хороший юрист на это время. У нас там был.

Я: Вряд ли мы найдем его здесь. Да и на какое право и на какие законы опираться? Заниматься талмудизмом? Как это делает демократическая оппозиция в Москве? Уволь. Для нас законов не припасли. Нам скорее нужен духовный подвижник, который бы разрешал наши внутренние проблемы. Они будут морально-психологического плана, а не юридического. Мы должны иметь внутреннюю духовную сплоченность. Не будет ее — нас разобьют.

Он: Все же нужно иметь незаинтересованного человека, который бы судил со стороны обо всем беспристрастно.

Указал на В.К. Было понятно, каким образом всплыло это имя: у Иры не пропал еще восторг от В.К.

— Что ты, Юра! Это уже не тот человек, что был раньше. Он в штаны напустил и стал поносить брата, когда тот по приезде на Запад не срятался за псевдоним и выступил в защиту Буковского. Либералы помогли ему издать книгу в Америке, так из страха, что не выплатят гонорар, он отказывается от всего и всех, проповедует растительный образ жизни. Даже от политических анекдотов трясется.

Спросил у Юры, как с переездом за границу? По-прежнему только евреи в привилегированном положении?

— Нет, сейчас полегче.

— Как ты думаешь, для смутьянов вероятность перемещения не только на Восток, но и на Запад возрастает?

Он внимательно посмотрел на меня и закивал. "Уклоняется от ответа", — решил я про себя. "Нет, нужно выяснить этот момент определеннее. Важно."

—Юра, а ты, как... — думаешь перебраться?

Он нехотя — мол, что ты из меня вытягиваешь: "Пока об этом рано говорить..."

Из меня вырвалось, словно призыв к совместному покаянию: "Нам нельзя браться за устройство выставки, если рассчитываешь облегчить себе этим выезд и приобрести славу дис-

сидентов. Надо очищать свои намерения..." Юра опять уклончиво: — Политика — дело грязное.

Нет, что-то не на равных идет у нас с ним...

Он трудится над холстом, где женщина с вывороченным чревом окружена множеством зародышей.

— Что это у тебя? — указываю на них.

— Это ее племя.

— А мне показалось — не загубленные ли это души абортов? — Не оскорблю ли я его намеком, который может услышать?

— Можно и так.

Его краткий ответ не звучит отговоркой. Для меня раскрывается тайна его живописи: нечеткая форма соответствует неопределенности содержания? Он продолжает разбивать блики младенцев, разгоняя контуры рисунка мастехином. Я невольно вживаюсь в стиль его работы. Смотрю за взмахами руки, отходами от холста. Насколько различен у нас процесс работы! Но эта обнаженность ненадолго удерживает мое внимание. Сообщаю, что завтра нужно подойти к Овчинникову. Он:

— Я занят. Давай встретимся у памятника Грибоедову. (Это рядом с его ателье). Мне неприятна ломка нашей договоренности с Овчинниковым, но я не протестую против этой претензии считать свое время более ценным и значимым. Со своей гордостью я не считался. Готов связать свои чувства, лишь бы дело продвигалось вперед.

Пусть горечь застревает в горле — стоит ли на это обращать внимание? Увы, позднее все эти задавленные комплексы вылезли наружу, беря реванш. Направился к Овчинникову и сообщил ему, что время и место встречи переносятся. У Володи перекосилось лицо. Я успокаиваю: — Не волнуйся. Может Юра и подставное лицо Рабина, но он был в центре событий, и это надо ценить.

Назавтра мы вдвоем (Володя никого не смог собрать) отправились к Жарких. Тот сильно помят — после вчерашней пьянки. Достал початую бутылку водки и вместе с Овчинниковым стал допивать ее. Я отказался: "Будет нерабочее состояние." Юра: "А мне нужно прийти в себя. Вчера хватил лишнего." — "Чего же жалуешься на время." Начали обсуждать

текст письма. Как и в Москве известим власти, что инициативная группа художников берет на себя организацию выставки и просит содействия в ее устройстве. Начинать со сбора всех художников не стоит — будет балаган. Окончательный вариант письма пусть каждый обдумает на досуге. В письме нужно указать, что отбор картин будут производить сами художники.

Письмо должно быть небольшого объема и содержать существенные пункты. Подробности будем разрабатывать и отстаивать в процессе переговоров. Тон письма должен быть не просящий, а требующий. Юра предложил адресовать письмо в ЛОСХ, поскольку, как он заявлял, постановлением, изданным сразу же после 29 сентября, всеми выставками обязали заниматься Союз художников (позднее оказалось — это была липа). Жарких считал, что если откажет ЛОСХ — переадресуем в исполком. Я предложил обратиться сразу в исполком, чтобы за выставку отвечала сама власть и не могла свалить ответственность на "стрелочника". Если же начинать с СХ, то тем самым мы признаем правомочность этой организации решать за все изобразительное искусство. Мы должны игнорировать организацию соцреалистов — пусть она занимается своими делами и не суется в наши. Кажется, Володя на это резонно заметил, что обращаясь в исполком, по этой логике мы признаем право за бюрократами управлять искусством, что еще более глупо. Я парировал: — Если мы, в нашем положении, можем игнорировать СХ, то игнорировать советскую власть нам не удастся — какой смысл тогда и испрашивать вообще выставку. Нужно было бы делать ее и никого не спрашивать. Это было бы еще логичнее. Юра: Правильно, мы и будем просить не разрешение на выставку, а помещение под выставку.

Решили отослать в исполком.

Я предложил перед выставкой устроить просмотр, чтобы отобрать весомые работы.

Юра: Пусть будет последовательно демократический принцип — всякий имеет право выставляться.

Я: Все помешались на демократии, будто это панацея от любых бед. Если демократия не направляется духовной элитой — она вырождается в охлократию.

Овчинников: Где критерий? На что ориентироваться при отборе?

Я: В этом вся трудность. Но работы так или иначе придется отбирать. Помещение — не безмерная поляна Измайловского парка. Если откажемся от отбора, может стать уже не трудно, а скверно.

О выставке выговорились. Перешли к своим житейским заботам. Это были еще относительно спокойные дни. Недели через две-три я буду говорить и думать только о событиях и проблемах, связанных с выставкой. Ложиться с ними, видеть во сне, вставать с маниакальным желанием — продвигать дело вперед. Не помню, что нас подтолкнуло заговорить о Боге. Может, водка, выпитая Володей и Юрой.

Жарких: Самое важное в таком деле — понять: в чем Истина!

Володя (уточняя его): Что такое Бог.

Я стал излагать свое кредо. Володя и Юра задумчиво, не перебивая, слушают мои сбивчивые слова:

— Основа бытия духовна. Это главное слово всякой Религии и в этом все они сходятся. Долг человека творить свою Веру на основе общечеловеческого религиозного опыта. Это мистическое творчество — высшее проявление человеческого достоинства. Всякое творчество настолько ценно, насколько в нем проявляется религиозное, мистическое начало.

Юра: Что-то не совсем ясно...

Овчинников: Да ты анархист.

— Тебе, Володя, можно позавидовать: тебя устраивает традиционная церковь.

— Вполне.

— Что ты во мне нашел от анархиста? По мне так лучше то, что есть, чем хаос.

Овчинников: Чем же это не анархизм? У них все относительно, кроме человеческого хотения. Провозглашают ничем не ограниченную свободу. Свободу не только от государства, но и от религии, от Веры.

— Если убрать контроль над обывателем, свобода превращается у него в распущенность и бомбометание. Только творческая личность способна пользоваться свободой. И творить ее.

Хлопнув меня по плечу, Овчинников стал уверять: "Нет, брат, что ты там не говори, к перунам тебя потянуло."

Жарких, подняв свой стакан: "Давайте выпьем, чтобы наши различные боги не помешали нашему будущему согласию".

— Юра, ты словно на литургии — превращаешь вино в кровь Бога. Налей и мне.

Все дружно допили остатки водки. Оцепенение, настороженность отлегли от души. К великому огорчению под письмом не оказалось моей подписи. Я не ожидал, что все будет сделано с такой быстротой, за два дня. Звоню Овчинникову — тот осторожно спрашивает, учитывая, что телефон наверняка прослушивается:

— А ты разве не был у Юры?...

— Нет.

— Так зайди к нему...

— Понятно, Володя.

Я едва держался на ногах после отравления грибами, но тут же сел на поезд и направился в город. Увы, письмо было отослано. Юра и Володя утешили:

— Ничего, старина, достаточно тех подписей, что есть.

Я: — Получается, что всех подтолкнул, а сам сбежал.

Овчинников смеется: — Зато будет кому передачи для нас таскать.

Письмо подписали четверо: Жарких, Леонов, Любушкин, Овчинников. Адресовали в ЛОСХ. Леонов тоже позднее недоумевал: "Зачем Юра отправил в ЛОСХ? Ведь договорились — в исполком. Может он своему начальству что-то хочет доказать? А в ЛОСХе были довольны, что не обратились "через их голову". Они объясняли исполкому: "Сказывается работа наша с молодыми. Здесь наш авторитет признают, не то что в Москве."

Жарких протянул мне копию письма:

"В правление ленинградского отделения союза художников РСФСР. Группа ленинградских художников обращается к Вам с предложением устроить выставку на основе следующего проекта:

1. Участвуют все без исключения авторы, зарегистрированные инициативной группой за неделю до открытия. Регистрация имеет своею целью составление каталога. 2. Каждый

автор имеет право выставлять до 4-х работ. 3. Сообщение о выставке транслируется по радио и телевидению за две недели до ее открытия. 4. Вход на выставку бесплатный и не ограничен ни членскими билетами, ни пригласительными.

Ответ дать не позднее 20 октября сего года. В противном случае будем вынуждены обратиться с аналогичным письмом в Ленгорсовет.

13. 10. 1974г. Подписи: Жарких, Леонов, Овчинников, Любушкин."

Наметили следующую встречу — в понедельник, крайний срок получения ответа.

Дня через три зашел к Овчинникову. Только что от него ушел некто из Правления ЛОСХа, просивший не называть его имени. Володя передает его взволнованный рассказ:"Прихожу в правление, а там шум такой, будто перевыборы верхушки или переустройство всей организации. Вы сейчас стреляете в десятку. Вам ответят, не торопитесь обращаться в исполком."

Мы смеемся: — Ага, зашевелилось болото.

Встретил Любушкина. Он считает, что выставку в Ленинграде не стоит сейчас проводить. Лучше где-то к весне. Не нужно распылять силы, надо подготовиться.

— Распылять? Что распылять? Силы ленинградских художников? Да их еще и нет, этих сил. Только выставка и соберет их.

— Видишь ли, хотелось бы как следует подготовиться, довести до конца работы.

— Готовиться надо было раньше. Может, ты в связи с намечающейся выставкой собираешься стать художником? Для чего же ты подписывал письмо? Видно, Любушкин выдавал мысли своего патрона: "Распылять" — это от Жарких и Глезера. "Подготовиться" — его личное. Можно, конечно, и понять Николая. Он не один в таком положении. Сидит художник в глубоком подполье. Что-то сделал, достиг. Но ни зрителя, ни покупателя нет. Сколько же тянуть впустую этот груз? И застывают некоторые в оцепенении, ожидая чуда. Я прекратил работу над картиной "Усекновение головы святого Иоанна". Художник с нимбом над головой в коленопреклоненной позе перед иконой, которую рисует. Над ним фигура врача с мечом. На мелькающем лезвии читается: "Нет иной жизни, кроме этой", "Покорись — и завтра

будешь казнить сам", "Кровь праведника да укрепит твердыню государства", "Карающий меч закона — десница Бога." Это не пойдет. Но что-то надо сделать к выставке свежее. Придется засесть за разработку чисто формальных композиций.

В понедельник мы с Овчинниковым пошли к Жарких. На лестничной площадке встретили Любушкина. Он спускается сверху — мастерская Жарких на замке. Прогулялись и через час заглянули опять. — Никого. Я пошел звонить Рабину в Москву. Тот сообщил:

— Юра собирался на юг.

— Странно, он должен быть здесь, предстоит важная встреча.

Любушкин решил: все, Юру забрали. Он, видимо, сегодня прибыл утренним поездом сюда. Его здесь и "повязали". Недаром у Овчинникова без всякой заявки и нужды сегодня с утра меняли телефон.

— Не спеши, Коля, с выводами.

Овчинников только что поделился своими опасениями: "Прошла неделя как мы отослали письмо в ЛОСХ. Это как раз тот срок, чтобы приказ сверху добрался до исполнителя — рядового монтера. Но может это даже добрая примета. Раз устанавливают телефон с чувствительной головкой — значит собираются подслушивать о чем будем говорить в соседних комнатах. Выходит письмо приняли всерьез, и работа с нами предстоит долгая."

Преданный в то время своему покровителю — Юрию Жарких, Любушкин напрасно переживал за него. Как позднее выяснилось, интимные дела направили Жарких расхаживать в зимних ботинках среди загорающих у Черного моря. К семи часам пошли опять к мастерской Жарких. Меня уже начинает раздражать это мотание вокруг Юры. Со мною Игорек. Я его решил прихватить с собою — пусть впитывает нашу атмосферу. Хоть он и не понимает всего, но что-то отложится. Темно. У подворотни какие-то фигуры. Решаем, что сопротивляться не будем, если начнут забирать. Но лучше удрать. А вообще-то, чего нам бояться? Игра идет в открытую — не подпольную же выставку устраиваем. Эх! Привычка. Соседи по мастерской открыли дверь и показали телеграмму от Юры, где сообщалось,

что он жив и здоров, находится в Сухуми. Любушкин: "Нужно сохранить бланк. Вдруг подлог". Пока стояли, размышляли — звонок в дверь: почтальон с заказным письмом на имя Жарких. Овчинников внушительно: "Это нам". Расписался за Жарких. И тут же вскрыл его. Это ответ на стандартном бланке ЛОСХа, подписан ответственным секретарем правления Логутенко В. С. Нас приглашали в ближайший четверг (24. 10.) для обсуждения нашего предложения в правлении. Мы, как дети, не сдерживали радости. Чуть ли не бросились обнимать друг друга. Дело вышло из нулевого цикла.

Не будь нас в эту минуту в мастерской, письмо бы застряло на почте, и могла начаться путаница. Любушкин заступился за Жарких: "Не будем его обвинять, он все же многое сделал." Будто речь на похоронах. Я: "Теперь это не имеет значения. И без него пойдет дальше."

Мы втроем — я, Любушкин, Овчинников — несколько раз встречались до четверга и обдумывали предстоящие переговоры в ЛОСХе. Решили, что главное — вести их твердо, без внутренних разногласий. Я предложил, чтобы кто-то один дирижировал, другие пусть его поддерживают и подсказывают. Любушкин указал на Овчинникова. Володя смущенно принял на себя эту честь. Я был не против, хотя и считал, что справился бы с этим лучше.

3. "ВЫШЕ НАС НЕТ."

В четверг сошлись у Овчинникова. Позвонил Игорь Росс (Захаров): "Подойдет куча художников." Мы забеспокоились, что застрянем в болоте, не добравшись до цели. Спешно оделись и двинулись упредить суету. На улицу Герцена, где расположился ЛОСХ, пришли минут за двадцать до назначенного часа. Там собралось человек шесть-семь. Почти всех я видел впервые. Игорь Иванов, Петроченков, Арефьев, Васильев, Путилин, Белкин. Узнав о письме из ЛОСХа, все зашевелились. У Овчинникова вчера весь день звонил телефон, спрашивали подробности, разыскивали меня. Все пришедшие собрались идти на переговоры. Мы это предвидели и подготовили ответ: пойдет только инициативная группа. В нее, кроме подписавшихся, входят Синявин и Игорь Захаров. Переговоры будем вести от

имени всех и в общих интересах. Будем требовать все то, что изложено в письме. Зачитали его всем. Васильев сыплет советы, нимало не смущаясь тем, что десять дней тому назад отказался подписаться под письмом.

Ровно к четырем часам направились к кабинету председателя правления. Хотел протиснуться Иванов. Я остановил его:

— Почему ты, а не всякий другой, кто захочет?

— Я только послушать.

— Такие импровизации ни к чему. Мы все обсудили и подготовились. Как пройдет — расскажем.

На ходу предупреждаю Леонова: "Беседу будет вести Овчинников. Пусть он дирижирует." Леонов промолчал. Крепкий орешек.

Кабинет председателя правления. Добротная мебель царских времен. Все на месте, напряженно поджидают нас. Вот они, новые господа. И напряженность у них — будто перед переговорами с претендентами на их места. Взаимно и корректно приветствуем друг друга. Усаживаемся в кресла напротив хозяев. Я сел справа, Овчинников в центре, слева Росс, Леонов, Любушкин.

Порядок размещения членов президиума правления четко символизировал их внутреннюю расстановку сил: за председательским столом сидел Фомин, старикашка, видно, ничего сам не решающий, по правую руку от него Угаров, заместитель, заправляющий всеми делами. Сбоку стола, воплощая идею партийной опеки, прочно расположился секретарь парторганизации, будто только что вылезший из окопов гранатометчик. Сзади, в тени, Логутенко, секретарь. На него кивают как на человека из Большого Дома. Двое последних по всему их виду весьма далеки от искусства. Так сказать, "освобожденные художники". Фомин начал с того, что уже при знакомстве сообщил, что мы видим перед собою всю верхушку правления. Убежденно заверил: "Выше нас нет".

На миг возникает ошущение выжидания. Подчеркивая нашу инициативу, я приступаю к делу:

— Мы пришли выслушать ответ на наше письмо.

— А мы вас пригласили с тем, чтобы познакомиться, — пытается парировать Фомин.

И продолжает:

— Вы понимаете, что у нас есть определенные правила. И коли вы обрашаетесь к нам, то должны знать этот общий порядок...

Я: Мы обращаемся к вам лишь потому, что желаем действовать в рамках законности. Согласно недавно изданного постановления всеми выставками заведует СХ. Мы пришли к вам не на поклон и не собираемся втискиваться в вашу организацию — мы пришли к вам как к равным партнерам за помощью. Ваши порядки мы знаем, но для того, чтобы разговор был деловой, предлагаем отправляться не от них, и не от принципов организации ваших выставок, а взять за модель прошедшую выставку в Москве, в Измайловском парке.

Леонов, не дав ответить Фомину, собравшемуся что-то весомо и с расстановкой ответить, провозглашает: — Сложилось нетерпимое положение. Начиная с 29 года наши пути разошлись. Мы стоим на разных эстетических позициях. Некоторые из нас уже не один десяток лет работают в искусстве и не имеют возможности выставиться. И это не потому, что публика их не желает видеть, или их произведения не имеют художественной ценности. Мы обращаемся к вам не как к судьям и ценителям наших работ, а к тем, кто держит ключи от выставочных помещений.

Фомин: — Но у нас планы выставок утверждены на год вперед. Втиснуть туда еще одну невозможно. Только зал освобождается — развешивается другая. Вы же требуете выставку в ближайшее время.

Леонов: Мы не настаиваем на помещениях ЛОСХа. В городе полно выставочных залов и помимо ваших.

Я: — Давайте сначала решим вопрос по существу. Идете ли вы нам навстречу, или нет? Будут ли у нас бесполезные препирательства или предстоит деловой разговор? Вы сначала скажите — "да" или "нет".

Овчинников не поспевал за ритмом беседы. Я краем глаза замечал, как он порывался что-то вставить. Я поначалу подчеркнуто поворачивался к Володе, но он не реагировал вовремя

на быстро разворачивающийся диалог. А нам нужно было удержать за собою инициативу, лишить противоположную сторону претензии на покровительство и потому приходилось оставлять позади нашего "главаря".

Фомин: — Кто участвовал в московской выставке?

Выяснилось, что участвовало из Ленинграда четверо, из присутствующих — я и Леонов.

— Расскажите. Мы о ней только по-наслышке знаем.

Логутенко торопливо вставил единственную свою реплику за все время беседы:

— Об этом писали в газетах.

Но никто и бровью не повел, будто не слышал. Официальным версиям не верит даже сама элита.

Коротко начал Леонов: — Был праздник, множество народа. Выставлялось все, кроме порнографии, религиозной и антисоветской пропаганды. И патетически воскликнул: — Но разве среди нас найдутся такие, кто занимается такой чепухой, как антисоветчина на полотнах?!

Я позднее Леонову: — Зачем заискивать перед ними? Даже если ты прав и таких художников не найдется, пусть они считают, что мы идем на жертву, отставляя в сторону опасные работы. Взамен можно выторговать уступки с их стороны. Если жажду выставиться поставить выше чести, они зад заставят себе лизать.

Вслед за Леоновым я добавил: — Было условие не вести переговоров о продаже работ и не устраивать провокационных скандалов. Все прошло организованно, милиции не пришлось вмешиваться. Можете быть уверены — на нашей выставке все будет так же мирно. Мы ручаемся.

Разговор становился все более спокойным, чуть ли не дружеским. Фомин попросил сообщить наши фамилии и адреса работы. Записал на листочек. Когда очередь дошла до Любушкина, тот нехотя что-то пробормотал. Наверное, опасался, что будут перерывать досье в поисках слабых мест. Чтобы соблюсти достоинство, я попросил наших собеседников назвать фамилии и должности.

Любушкин начал было рассказывать о погроме 15 сентября, но его не стали слушать, все дружно отмахнулись: "Кто старое

вспомянет — тому глаз вон." Но Николай не может остановиться — с победной торжественностью в голосе сообщает: "Человек, ответственный за безобразие 15 сентября снят с работы." Видимо, хочет предупредить правление ЛОСХа, что и им грозит опасность. Я снимаю надрыв, заканчивая за Любушкина его фразу: "...и переведен с повышением". Обе стороны дружно, понимающе засмеялись.

Перед уходом Любушкин стал хлопотать за Жарких, которого, якобы, пытаются нечистыми методами выжить с работы — из фонда (организация — подотчетная СХ). Фомин записал на память. И опять приходится наступать Николаю на пятки: "Это еще не проверенные факты." Коля мне позднее все припомнит. Но что делать?

Юра позднее Любушкину: "Ты оказал мне медвежью услугу. Пусть бы выгнали." Он сожалел, что Любушкин помешал ему обратиться к западной прессе. Достоинство и значение в среде оппозиции сплошь и рядом измеряются гонениями и преследованиями. Западная пресса и радио подхватывают прежде всего этот аспект в развивающихся событиях внутри России. И мазохизм процветает. Иные готовы сесть в тюрьму, чтобы "выбиться в люди".

К концу наших переговоров Любушкин еще раз сорвался: — Пора дать свободу не только соцреализму!

Я: "Коля, остановись. Идут деловые переговоры. Лозунги полезны на баррикадах."

Угаров Любушкину: — Давайте спорить работами.

Все дружно поддержали: — На этом языке мы и хотим говорить.

Угаров, к середине беседы начавший вести один за всю эту команду руководящих соцреалистов, усмехаясь, заметил: — Вот создадите второй Союз художников, и там и будете по-своему все решать.

Я отмахнулся: — Нет, нам этого не надо. Хватит одного...

Но как-то нерешительно прозвучали мои слова. Мы еще не знали, как все пойдет и куда нужно направлять движение. Нас волновала ближайшая задача — о следующих шагах мы не задумывались. Во всяком случае, если бы нам сказали, что на основе наших начинаний может возникнуть подобная бюрократия,

представители которой чопорно сидели перед нами, пришлось бы поставить под сомнение всю нашу затею.

Суть переговоров свелась к тому, что сейчас они не могут дать ответ, поскольку им необходимо посмотреть наши произведения. Но им достаточно эскиза выставки — наших работ. И Фомин обвел нас рукой.

Я сразу же отреагировал: — Мы ходатаи не только за себя, а выступаем от имени большого числа художников. И не будем противопоставлять себя им. Если мы инициаторы — не значит, что наши работы лучше, или по ним можно судить обо всех. Приходилось блефовать. Насколько велико будет число — никто не знал. У многих ли подпольных художников хватит решимости заявить о своем участии? Сколько из них пройдет отбор? — Все это было совершенно не ясно.

Фомин: — А сколько вас будет?

— Сейчас трудно сказать. Человек тридцать — может сорок. Мы открываем двери всем, кто пожелает.

— Вы не обязательно должны будете представить на просмотр все произведения. Достаточно по одной работе от человек пятнадцати.

Леонов: — Уточните, как вы понимаете просмотр? Мы настаиваем, чтобы это не было отбором или обсуждением. Мы представим свои произведения только на предмет отсутствия запретных тем.

Угаров: Раз вы не в нашей организации, видимо так и будет. Но вы же не можете нам отказать составить личное мнение о ваших работах?

Я: Вы не должны нас раскалывать. Мы представим вам наши работы все вместе, и не пойдем к вам по одному, как это у вас на ваших выставкомах, при отборе работ. А свое мнение вы можете высказать позднее, после выставки — в печати. Вот уж тогда разносите нас, как вам нравится.

Наши собеседники заулыбались. Уж эта-то кухня им знакома. Учить не нужно.

Я поднялся, заметив, что разговор начал сворачиваться. Поблагодарил за быстрый ответ на наше письмо и за корректный тон переговоров: — Мы так и передадим остальным худож-

никам: "Разговаривали с нами по-человечески". Пожали друг другу руки и распрощались.

Когда мы вышли, поджидавшие окружили нас. Подняв два пальца буквой "V", я воскликнул: "Ура! Победа!" Кругом зашикали — я нарушил благопристойную тишину. Оцепенение, которое обычно испытываешь от чувства неполноценности в этом заведении "настоящих" художников, исчезло. Мы завоевывали свое место.

Все оделись и направились в мастерскую Васильева.

Стали составлять список возможных участников. Набралось около тридцати человек. Я внес Таню Кернер и предложил позвать из Москвы Рабина и с ним человек пять-шесть по его выбору: "Рабин — главная фигура среди устроителей московской выставки. Нам нужно держаться вместе, устанавливать тесные связи." Решено было на просмотр представить как можно больше художников, чтобы ЛОСХ не мог заявить в дальнейшем отвод на том основании, что кто-то не участвовал в предварительном просмотре. На каждом шагу мы предполагали ловушку и, естественно, видели в тех, с кем вели переговоры, своих врагов, коварных и хитрых.

Я: И давайте все разговоры о выставке нагружать поменьше политикой — нас могут уже сейчас подслушивать. И потому лучше вести речь в терминах искусства.

Все: Это ты себе прежде наказывай.

Сбросились по рублю, кто-то сбегал за водкой, начался шум.

Куда-то исчез Путилин. Работы его я видел раньше и они мне понравились. Но странно, — сам он при первом взгляде произвел крайне неприятное впечатление. Вернулся он с шуточками: "Вы все арестованы!" Любушкин позднее: "А куда он ходил? Не доносить ли?" Редко кто вне подозрений, Если верить слухам - чуть ли не трое из четырех — осведомители. Петроченков пить отказался. Предложил записать нашу беседу на магнитофон — он у него оказался в сумке. Все испуганно отпрянули от него: "Эта запись нам не нужна, а КГБ до нее дотянется." Кто-то хотел было проверить — не включен ли магнитофон, потихоньку от всех. Вскоре разошлись. Перекрывая выход из арки подъезда, стоит подозрительная машина. Свет выключен, сидят

люди. Проходя мимо парадной, замечаю шпика, бросившегося за выступ двери. Подхожу вплотную. Он, смущаясь, отворачивает лицо и боком — прочь. Пошли с Любушкиным на переговорный пункт позвонить Рабину. Но автоматы работают плохо. Решили воспользоваться телефоном Игоря Иванова.

Мы оба впервые у него. Пейзажи в стиле фовизма, длинными мазками. Рисунки же кукол несут в себе необычность. Как объяснил автор: "Люди, как куклы, куклы как люди." Каждая кукла имеет свою судьбу и характер. С ними происходят разные истории — Игорь играет вместе с дочерью, оба сочиняют разворачивающиеся последовательно события. Остается зарисовывать характерные сцены.

Позвонил в Москву. С нескрываемой радостью сообщаю Оскару: — Только что в ЛОСХе договорились о предварительном просмотре работ. Говорили с нами очень вежливо.

— Почему им не быть вежливыми? Делать вид порядочных людей они умеют, — сбил Рабин мой пыл.

— Приглашаем Вас и еще человек пять художников из Москвы на нашу выставку.

— Благодарю, но положение здесь сложное. Обещать Вам ничего не могу.

Рабин был для меня окружен тогда ореолом. И я докладывал ему — будто сносил все сведения в единый управляющий центр. Уходим. Любушкин об Иванове: "С такими работами — вполне можно участвовать на выставках в ЛОСХе. Чего ломиться в открытые двери?" Позднее Иванов объяснил свое положение: "Я участвовал два раза в официальных выставках — находились знакомые в приемной комиссии. А на общих основаниях не получается — там одно жулье сидит. У них состояние хронической драки и войны, как между торгашами и уголовниками."

Продолжение следует

Игорь Синявин

КАК ПАЛА МОНАРХИЯ

Кто не уважает чужих заслуг, значит, не имеет их сам; а кто не умеет открывать их в людях, тот не достоен и не способен царствовать.

Екатерина II

К ноябрю 1913 года в Германии уже полным ходом шла подготовка к войне на отпущенный Рейхстагом миллиардный кредит. И в такое время в России высочайшим приказом увольняется "по болезни" опытный в политических делах премьер-министр граф В.Н. Коковцев, и на его место назначается престарелый И.Л. Горемыкин, только потому, что он был угоден императрице как не имеющий собственного суждения и беспрекословно выполняющий все предначертания императора. После начала войны Николай II должен был бы даровать ответственное министерство и возложить на него всю ответственность за ведение войны, но он не собирался ограничивать свою царскую власть, и взял на себя лично всю ответственность за ведение войны. По этому поводу Совет министров обратился к нему с коллективным письмом, в котором писалось: "Государь, еще раз осмеливаемся Вам высказать, что принятие Вами такого решения грозит России, Вам и династии Вашей тяжелыми последствиями". Председатель Гос. Думы М. В. Родзянко говорил Государю: "...если будет неудача — кто будет Вас судить. Как Вы, Ваше Величество, можете становиться в подобное положение и покинуть Столицу в такое время... Ведь в случае неудачи опасность может угрожать Вам, Государь, и всей династии". Император все же принял командование и покинул столицу, возложив часть своих обязанностей на Императрицу,

разделившую их в свою очередь с "нашим другом" Распутиным, на что указывают письма Государя к Государыне /23.9.15/ и письмо №341 Императрицы Государю.

9 февраля 1916 года открылась очередная сессия Гос. Думы, повторившая резолюцию о призыве к власти "людей, пользующихся доверием страны". Еще до открытия съездов в Москве был уволен министр внутренних дел А.Н. Хвостов в связи с влиянием Распутина на государственные дела через Императрицу, которого он пытался устранить из дворца. Против пребывания в стенах дворца Распутина протестовал, в свое время, Н.А. Столыпин. Протестовал и граф Коковцев, и поплатился недружелюбием со стороны Императрицы, и затем и отставкой.

I ноября открылась сессия заседания Гос. Думы, к открытию которой была подготовлена декларация, где министрам ставились в укор: "неосведомленность, некомпетентность в вверенной им области и враждебность к общественности". Правительству предлагалось "уступить место людям, готовым в своей деятельности опираться на большинство Гос. Думы и провести в жизнь его программу".

Речь П.Н. Милюкова на этой сессии слушали с огромным интересом и волнением. Он говорил о подозрительных личностях, окружающих премьера, обвинял он во многом и Императрицу. "Мы с вами будем бороться, пока вы не уйдете", — говорил лидер к.д. Милюков, "Да разве не все равно, господа, имеем мы дело с глупостью или изменой... Когда все с большей настойчивостью Дума напоминает, что надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что организовать страну, значит организовать революцию, что это, глупость или измена?". Постоянно прерываемый бурными аплодисментами Милюков закончил: "Именно во время войны и во имя войны, во имя того самого, что нас заставило соединиться, мы с ними боремся. Мы имеем много причин быть недовольными правительством... Но все частные причины к этой одной общей: к неспособности данного состава правительства. Это наше главное зло, победа над которым будет равносильна всей компании.".

Конец речи сопровождался шумной овацией, устроенной

Милюкову. Не во всем был прав Милюков, что было отмечено левым публицистом В.Л. Бурцевым, до войны находившимся заграницей. Речи Милюкова, Чхеидзе, Керенского не были помещены в газетах и газеты вышли с белыми столбцами, но население было с ними ознакомлено в огромном количестве распространенных по всей стране текстах речей, отпечатанных на машинке в правительственных учреждениях.

I же ноября Великий Князь Николай Михайлович лично передал Государю письмо. "В настоящее время, — пишет Вел. Князь, — стало известным во всей стране, что назначение министров происходит под пагубным влиянием окружения Императрицы. Если ты добьешься того, чтобы помешать влиянию этих темных сил, то Россия пойдет по пути возрождения. Ты восстановишь, таким образом, доверие большинства твоих подданных, которое ты потерял. Тогда, когда час пробьет, и он близок, ты можешь объявить, о чем твой народ тебя просит, т.е. правительство, ответственное перед палатами. Ты можешь это сделать свободно, без давления снизу, как это было 17 октября 1905 г.". 22 ноября Гос. Дума приняла резолюцию о том, что "влияние безответственных сил должно быть устранено" и что "всеми средствами надо добиться, чтобы был образован кабинет, готовый опереться на Гос. Думу и провести программу ее большинства". Гос. Совет принял большинством 94 против 34 резолюцию "о безответственных силах и о правительстве, опирающемся на доверие страны". Дворянским съездом 30 ноября была принята подобная же резолюция большинством 4/5 всего съезда. Из Гос. Думы и Гос. Совета, с дворянского съезда то же настроение распространилось на светские и придворные круги вплоть до чинов императорской фамилии. Всюду говорили о "темных силах" и о "министерстве доверия".

Но Государь оставался на старых позициях, упорно защищая свои державные права, не желая идти на уступки обществу. В ночь с 16 на 17 декабря был убит Григорий Распутин. Участниками этого были кн.Ф. Юсупов, Вел. Князь Дмитрий Павлович и В.М. Пуришкевич. После убийства Вел. Князь Дмитрий Павлович был отправлен на персидский фронт, и когда за него вступились Великие Князья, то последовала

высылка Вел. Князей в различные места России. Были слухи о желательности переворота, и эти разговоры докатились до фронта.

Германские агенты и русские предатели во главе с Лениным на деньги, отпущенные Германским министерством иностранных дел, разрушали тыл, а через него и фронт русской армии. Чужие деньги делали свое дело среди членов рабочей группы военно-промышленного Комитета, зараженных лозунгами вроде "немедленный мир без аннексий и контрибуций". Оказались заражены "влиянием Циммервальда" и солдаты Петроградского гарнизона и его окрестностей /около 200000 чел./, связанные с рабочей средой. В столице чувствовалось нарастание недовольства против правительства как со стороны общества, так, в особенности, со стороны рабочей массы.

Вел. Князь Александр Михайлович 25.12.16 обратился к Государю с письмом, в котором писал: "...чего народ хочет и общество, очень немного — власть разумную, идущую навстречу нуждам народным и возможности жить свободно и давать жить свободно другим. Разумная власть должна состоять из лиц первым делом чистых, либеральных и преданных монархическому принципу, отнюдь не правых, а еще хуже крайних правых, т.е. для этой категории лиц понятие о власти заключается — править при помощи полиции, не давать свободного развития общественным силам и давать волю нашему негодному в большинстве случаев духовенству. Председатель Совета Министров должен быть лицо, которому ты вполне доверяешь, он выбирает себе и ответствен за всех министров; все они вместе должны составлять одну голову, один разум и одну волю и каждый по своей специальности проводит общую политику, а не свою, как это мы видим теперь: ни один министр не имеет права высказать тебе свои взгляды на общую политику; он является докладчиком по своей узкой специальности. 25 января, как видишь, прошел месяц, а письмо свое еще не послал, все надеялся, что ты пойдешь по пути, который указывают тебе люди, верные тебе и любящие Россию не за страх, а за совесть. Но события указывают, что твои советники продолжают вести Россию и тебя к верной гибели, при таких условиях молчать является преступлением перед Богом, тобой и Россией... Не-

довольство растет с большой быстротой и чем дальше, тем шире становится пропасть между тобой и твоим народом. В заключение скажу, что как ни страшно, но правительство сегодня есть тот орган, который подготовляет революцию. Народ ее не хочет, но правительство употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно более недовольных и в этом преуспевает. Мы присутствуем при необыкновенном зрелище — революции сверху, а не снизу".

Зная, что когда их Величества вместе, то Государь всецело подчиняется Императрице, Вел. Князь решил добиться свидания с Царицей. Уже с первых реплик Царицы разговор принял запальчивый характер. Вел. Князь убеждал — изменить курс внутренней политики, призвать к власти других людей, убеждал Царицу устраниться от политики и предоставить государственные дела Государю. Вот что далее произошло по словам Вел. Князя: "Она презрительно улыбнулась. "Все, что Вы говорите, смешно — Ника самодержец. Как он может делить с кем бы то ни было свои божественные права". "Вы ошибаетесь, Алекс, Ваш супруг перестал быть самодержцем с 17 октября 1905 года. Надо было тогда думать о его божественных правах. Теперь это, увы, слишком поздно. Быть может, через два месяца в России не останется камня на камне. Не забудьте, Алекс, что я молчал тридцать месяцев. Я не проронил в течение тридцати месяцев ни слова о том, что делается в составе нашего правительства или вернее Вашего правительства. Я вижу, что Вы готовы погибнуть с Вашим мужем, но не забывайте о нас, разве мы должны страдать за Ваше слепое безрассудство?..". "Я отказываюсь с Вами продолжать спор", — холодно сказала она, — Вы преувеличиваете опасность..".

В этот же день 1 февраля председатель Гос. Думы М.В. Родзянко обратился к Государю с предупреждением его о возможной для него опасности. "Ваше Величество, я считаю своим долгом высказать Вам мое личное предчувствие и убеждение, что этот доклад мой у Вас последний", — сказал Родзянко. "Почему?". "Потому что Дума будет распущена, а направление, по которому идет правительство, не предвещает ничего доброго. Есть еще время повернуть и дать ответственное перед палатами правительство, но этого, повидимому, не будет.

Вы, Ваше Величество, со мной не согласны, и все остается по старому. Результатом этого, по-моему, будет революция, не пройдет и три недели, как она сметет Вас и Вы уже царствовать не будете, и наступит такая анархия, которую никто не удержит, спасайте себя".

Царь не внял вещему предостережению Великого Князя и председателя Гос. Думы Родзянко, и все осталось без всяких перемен. Но не осталось без перемен настроение Гос. Думы относительно правительства: 15 февраля в своем выступлении Керенский призвал с трибуны перейти к открытой борьбе с властью. Керенский уже имел за своей спиной некий Штаб революционных сил, хорошо замаскированный от глаз полиции. Речь Керенского не осталась незамеченной рабочей массой столицы и призывными, их собратьями по труду, заполнившими казармы столицы и ближайших к ней районов. Их революционное настроение уже могло угрожать порядку в столице.

Такое возможное положение предвидел ген. Алексеев еще летом 1916 г., имея агентурные сведения о работе германских агентов. Тогда он обратился к Государю с докладной запиской о посылке в столицу частей гвардии, и получил на это ответ, что "в настоящее время нет надобности в этом, Вы, Михаил Васильевич, вмешиваетесь не в свои дела — это дело военного министра". Главной же причиной отказа была боязнь переворота при участии гвардии.

В этот критический период Государь несколько раз созывал министров во главе с кн. Голицыным, чтобы обсудить вопрос об ответственном министерстве. Совещания закончились решением Государя прибыть в столицу и объявить о своей воле — о даровании ответственного министерства, но вдруг Государь сообщил кн. Голицыну о том, что уезжает в Ставку. "Как же, Ваше Величество, — изумился кн. Голицын, — Ведь Вы хотели завтра быть в Гос. Думе". "Да, но я изменил свое решение. Я сегодня еду в Ставку". Кн. Голицын объяснил себе такой неожиданный отъезд в Ставку желанием Государя избежать новых докладов, совещаний.

На следующий день после отъезда Государя в Ставку начались политические демонстрации, совпавшие с недостатком

хлеба в пекарнях, вследствие плохой работы транспорта из-за снежных метелей и воинских перевозок, и в особенности этот недостаток чувствовался в рабочих районах. Этим воспользовались враги власти, разжигая революционные страсти толпы. 23 февраля уже бастовало 90000 рабочих и комитет партии большевиков выборгской стороны постановил использовать народное волнение для организации всеобщей забастовки. Появились красные флаги и плакаты — "долой самодержавие" и "долой войну". День 23 февраля надо считать первым днем февральской революции. 25 февраля волнение распространилось на Невский проспект и на всю центральную часть города. Знаменская площадь перед памятником царю Александру III превратилась в арену непрерывного митинга. С пьедестала памятника произносились революционные речи. Уже были жертвы среди полиции.

Государь, получив 25 фавраля сообщение о том, что в столице беспорядки разрастаются, телеграфировал ген. Хабалову: "Повелеваю завтра же прекратить беспорядки в Столице, недопустимые во время войны". 26 февраля усилились столкновения толпы с полицией, казаками и вызванными на помощь учебными командами некоторых полков, приняли кровавый характер. 26 февраля газеты уже не вышли. Того же дня председатель Гос. Думы М.В. Родзянко отправил ген. Алексееву телеграмму, прося доложить Государю, что причина волнений полное недоверие к власти и настаивал на образовании правительства, пользующегося доверием всего населения. "Иного выхода нет" — писал Родзянко. В это время уже восстали части гарнизона столицы. Таврический дворец — место пребывания Гос. Думы — оказался в районе восстания. Толпа ворвалась внутрь здания Таврического дворца, и с этой минуты Гос. Дума перестала существовать.

Рабочая группа военно-промышленного Комитета, освобожденная из тюрьмы революционной толпой, как и все арестованные ранее, в числе которых находились как уголовный элемент, так и германские агенты, стали во главе революционных масс и кровавой расправы.

Председатель Совета Министров кн. Голицын 27 февраля умолял Государя, что для спасения положения и даже Династии

Государю необходимо немедленно пойти на уступки общественному мнению и поручить составить новый кабинет министров, ответственный перед законодательными палатами, или кн. Г.Е. Львову или Родзянко. Того же мнения был и Вел. Князь Михаил Александрович в разговоре по прямому проводу с ген. Алексеевым. Государь просил ген. Алексеева передать Вел. Князю, что он благодарит его за совет, но сам знает, как надо поступать.

Через ген. Алексеева кн. Голицын получил от Государя указания, что при создавшейся обстановке Государь не допускает возможности производить какие-либо перемены Совета министров и требует принятия самых серьезных мер для подавления бунта среди войсковых частей петроградского гарнизона и предоставления временно председателю Совета министров диктаторских прав по управлению Империей вне района, подчиненного Верховному Главнокомандующему. После этого ген. Алексеев предложил Государю немедленно отдать распоряжение Главнокомандующим Фронтов Западного и Северного о посылке войск для подавления мятежа. В то же самое время непосредственно из Ставки снаряжается отряд в составе Георгиевского батальона с придачей к нему еще нескольких рот для усмирения восстания в Петрограде и по личному желанию Государя и против желания ген. Алексеева начальником этого отряда назначается престарелый ген. Иванов. Ген. Алексеев желал видеть во главе этого отряда более молодого и энергичного генерала. Когда ген. Алексеев доложил Государю телеграмму ген. Рузского — "при существующих условиях меры репрессии могут только обострить положение", Государь, по словам ген. Алексеева, не хотел с ним разговаривать.

28 февраля Государь неожиданно отбыл из Ставки, спеша в Царское село к больным корью детям, не смотря на увещевания ген. Алексеева не покидать ставку. В ставку же непрерывно поступали сведения о мятеже одно грознее другого. Командующий Петроградским военным округом ген. Хабалов доносил, что он восстановить порядок не может, т.к. большинство частей перешло на сторону мятежников. Командующий Московским военным округом доложил в Ставку, что Москва охвачена восстанием и войска переходят на сторону мя-

тежников. В Кронштадте мятеж гарнизона принял особо кровавый характер из-за проникновения туда уголовного элемента из Петрограда и германских шпионов, по указанию которых была произведена расправа над высшим морским начальством. Среди зверски убитых и штыками приконченных раненых находились: военный губернатор Кронштадта адмирал Вирен, комендант крепости адмирал Куроша, начальник штаба порта контр-адмирал Бутаков, командир экипажа ген. -майор Стронский, старший священник Собора и много десятков других моряков и офицеров. Из экспедиции ген. Иванова ничего не вышло. Дойдя до станции Семрино, состав эшелонов был распропагандирован и частично разбрелся. Не дошли и другие части, посланные по распоряжению Ставки, ибо были возвращены приказом самого Государя по настоянию Родзянко.

Еще до прибытия литерных поездов в Псков ген. Алексеев послал Государю телеграмму с просьбой утвердить проект манифеста об учреждении ответственного министерства. В ту же ночь /с Iго на 2е марта/ Государь послал ген. Алексееву телеграмму о том, что можно объявить представленный манифест. Но решение запоздало, события в столице требовали уже иного исхода — отречения Государя от престола.

I марта в столице продолжала царить анархия, за это время революционные элементы успели уже сорганизоваться, и в название "Совет рабочих депутатов" было вставлено слово — "и солдатских". Фактически власть принадлежала крайним левым — правительству в правительстве — Совету рабочих и солдатских депутатов, опиравшемуся на штыки мятежного гарнизона. Для ублажения последнего и был выпущен приказ № I с его разрушительными семью пунктами, объявленный в приказе по армии, он предоставил солдатам права без всяких обязательств с их стороны и лишил офицеров многих их прав. С подрывом воинской дисциплины, на которой зижделась крепость армии, солдатская масса вышла из-под офицерского влияния.

Ни один приказ, ни одно правительственное распоряжение не могло быть опубликовано без цензуры Советов рабочих и солдатских депутатов. М.В. Родзянко довел до сведения ген. Рузского, что ненависть к династии дошла до крайних пределов,

что раздаются грозные требования об отречении в пользу сына при регенстве Вел. Князя Михаила Александровича.

Свой разговор с Родзянко ген. Рузский сообщил в ставку ген. Алексееву, и им была послана телеграмма ко всем главнокомандующим с описанием всех событий и с запросом о их мнении по вопросу о желательности отречения Государя от престола. Получив ответные телеграммы от командующих фронтов, в том числе и от Вел. Князя Николая Николаевича, высказавшихся в положительном смысле о целесообразности, при сложившихся обстоятельствах, отречения Государя в пользу сына, ген. Алексеев послал Государю следующую телеграмму: "Всеподданнейше докладываю; безотлагательно принять решение, которое Господь внушит Вам; промедление грозит гибелью России. Пока армию удается спасти от проникновения болезни, охватившей Петроград, Москву, Кронштадт и другие города, поручиться за сохранение воинской дисциплины нельзя. Прикосновение же армии к внутренней политике будет знаменовать неизбежный конец войны, позор России и развал ее. Ваше Императорское Величество, Вы любите Россию и ради ее целости, независимости, ради достижения победы соизволите принять решение, которое может дать мирный и благоприятный исход создавшемуся более чем тяжелому положению, ожидаю повеления. Генерал Алексеев, № 1878, 2 марта 1917 г.".

Еще до прибытия этой телеграммы штаб Северного Фронта получил ряд крайне тревожных сообщений, одно из которых говорило, что оставшийся в казарме конвой Его Величества появился в полной форме перед Таврическим дворцом и просил через своих представителей разрешения Гос. Думы — арестовать всех офицеров, которые отказались принять участие в восстании. После всего этого Государю невольно пришлось отправить телеграмму: "Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России, я готов отречься от престола в пользу моего сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно. Николай". В конце-концов Царь Николай II отрекся и за наследника, передав престол своему брату Вел. Князю Михаилу Александровичу.

Петроград продолжал быть мятежной столицей, где вся фактическая власть принадлежала не правительству во главе с кн.

Львовым, а Советам рабочих и солдатских депутатов, с которыми вошел в тесную связь министр юстиции Керенский. По этой причине Вел. Князь Михаил Александрович не счел для себя возможным вступление на Российский престол, отказавшись от такового впредь до решения Учредительного Собрания.

В дореволюционное время в войсковых частях существовал такой порядок, что уходящий начальник прощался с вверенными ему частями путем отдачи последнего прощального приказа. Императору — верховному вождю армии, было в этом отказано, хотя приказ по своему содержанию для Временного правительства был вполне благожелательным:

"В последний раз я обращаюсь к вам, мои верные войска. С того момента, как я отрекся от престола за себя и за своего сына, Верховная власть в России по почину Гос. Думы перешла к Временному Правительству. Да поможет ему Господь Бог повести Россию по пути славы и блогоденствия. И да поможет Господь и Вам, мои доблестные войска — победить жестокого врага. Вы геройски боролись в течение более двух лет. Вы пережили все невзгоды. Вы проливали свою кровь. Вы делали громадные усилия. Теперь близится час, когда в союзе с остальными народами вы восторжествуете над врагом.

Эта война еще небывалая в истории, должна вестись до победного конца. Тот, кто думает о мире в такой момент, тот, кто желает его, изменник Родины! Я знаю, что каждый истинный солдат думает так же, как я. Исполните же ваш долг. Защищайте Родину. Повинуйтесь Временному Правительству и вашим офицерам и знайте, что падение дисциплины на руку только врагу. Я твердо убежден, что бесконечная любовь к Родине жива в ваших сердцах. Да благословит вас Господь Бог, и пусть св. Георгий Победоносец приведет вас к победе. Николай II".

Как-то во время одного из своих докладов Государю, председатель Гос. Думы М.В. Родзянко, к слову, сказал: "Вы, Ваше Величество, в продолжение двадцати двух лет делали ошибки", на что последовал ответ: "А я этого и не знал".

Вот за эти ошибки, связанные с неумением подбирать себе достойных и способных помощников и оценивать их заслуги,

Николай II и заплатил троном своих предков с потерей Российской Государственности. И исполнились вещие слова мудрой Екатерины II: "Кто не уважает чужих заслуг, значит, не имеет их сам, а кто не умеет открывать их в людях, тот не достоин и не способен царствовать".

Александр Павчинский

АНТИКОНСТИТУЦИЯ СССР

В новой советской конституции ничего нет нового. Над нею "проработали" почти два десятилетия (впервые о ней заговорил Хрущев в 1959 г. на XXI съезде). Работали, как говорил Л. Брежнев, "не спеша". Работали главным образом ножницами и клеем — резали куски из Программы партии Хрущева и приклеивали их к кускам из конституции Сталина. В результате по выражению "Нойе Цюрхер Цейтунг", — гора родила мышь! Конституция, в плане юридическом, есть второе, ухудшенное издание сталинской конституции. В плане политическом — она уточняет стратегические цели Кремля внутри и вне страны, чего намеренно избегал Сталин. Поэтому прав Брежнев, когда он сказал: "Конституция это не только юридический акт, но и важнейший политический документ" ("Правда", 5 июня 1977). Еще вернее было бы сказать, что данная конституция не столько юридический акт, сколько политический документ. Поэтому *заниматься формально-юридическим анализом ее отдельных статей — бесцельное занятие, но вскрывать политические замыслы юридических формулировок — дело стоящее.* Постараемся это сделать.

1. Узаконение диктатуры партии

Л. Брежнев в своем докладе о проекте Конституции СССР заявил: "Работая над проектом мы прочно стояли на почве преемственности. В нем сохранены и развиты намеченные еще Лениным характерные черты Конституции социалистического типа" (Правда", 5, 6. 1977). Обратимся к классическому опре-

делению сущности советской конституции, которое дал сам Ленин: "Мы должны знать и помнить, что вся юридическая и фактическая конституция советской республики строится на том, что партия все исправляет, назначает и строит по одному принципу" (Ленин, т. 31, 4-ое издание, стр. 342). Когда Ленина обвинили, что у вас, таким образом, фактически нет ни "конституции", ни даже "диктатуры пролетариата", а есть диктатура одной партии, то он невозмутимо отвечал: "Когда нас упрекают в диктатуре одной партии, мы говорим: "Да, диктатура одной партии! Мы на ней стоим, и с этой почвы сойти не можем" (Ленин, т. 24, 3-е изд., стр. 423).

Брежнев совершенно прав: новая "Конституция СССР" скрупулезно воспроизводит вот эти основополагающие идеи Ленина. Разница между Лениным и эпигонами сводится только к одному: гибкий тактик Ленин предпочитал завуалировать эту диктатуру партии (партолигархии) ширмой Советов и поэтому в его двух конституциях (1918, 1924) нигде не присутствует партия, как властная сила, а его наследники, сохраняя все еще ширму, открыто сообщают, кто стоит за ширмой: абсолютная власть партии. Это и понятно. Ленин писал свои "Конституции" — одну через три месяца после начала гражданской войны, когда вопрос быть или не быть диктатуре партии решался на поле сражения, а вторую — через три года после Кронштадтского восстания. До смерти напуганный не столько этим восстанием былой "красы и гордости" Октябрьского переворота — кронштадтских матросов, сколько их заразительным для массы лозунгом "За Советы без коммунистов" — Ленин писал, что Кронштадт опаснее Юденича, Колчака и Деникина вместе взятых. Поэтому мы находим в обеих ленинских конституциях куда больше демократии, чем в последней "Конституции СССР". В то же время нет там ни одного слова о партии. Статья I конституции 1918 г. гласит: "Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам". Как бы для того, чтобы утаить от народа, что фактически государством будут управлять не Советы, а партия Ленин подчеркивает в ст. 7: "Власть должна принадлежать *целиком и исключительно*... Советам рабочих, солдат. и крестьянских депутатов". В ст. 14, 15, 16 конституция 1918 г. признает "в целях

обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений" — свободы слова, печати, собраний, демонстраций, объединений, организаций (не забудем, что партии меньшев. и эсеров все еще существовали легально). Даже статья о свободе совести сформулирована в конст. 1918 г. куда демократичнее, чем в конст. 1977 г. В конст. 1918 г. сказано: "Свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами", а в конституции 1977 г. признается только право антирелигиозной пропаганды (ст. 52). В Ленине удивительным образом уживался трезвый политик рядом с беспардонным фантазером. Ведь нельзя же объяснить лишь одной конъюнктурой, что в его конституцию 1918 г. попала и такая статья: "9. Основная задача РСФСР ... уничтожение эксплуатации человека человеком и *водворение социализма,* при котором не будет ни деления на классы, ни *государственной власти".* Сейчас в СССР "водворён", по заявлению партийных теоретиков, не просто "социализм", а "зрелый социализм", по утверждению же Программы партии 1961 г. мы даже будем иметь в СССР через три года, в 1980 г., уже в основном построенный коммунизм, но вот государство и не собирается исчезать. Советское государство, наоборот, стало тоталитарным, почему оно себя, вероятно, и назвало "общенародным". Фундамент этого советского тоталитаризма тоже был заложен Лениным. Именно Ленину принадлежит тоталитарная концепция "слияния властей" вместо теории "разделения властей" современного правового государства. Величайшее изобретение человеческой правовой мысли — идея "разделения властей" возникла еще у Аристотеля, но в стройную теорию она была превращена английским ученым Локком в конце XVII века и особенно ярко французским ученым Монтескье в середине XVIII века. Согласно этому учению верховная государственная власть — это не единое целое, не органический монолит, а сумма независимых друг от друга трех властей — законодательной власти (парламент), исполнительной власти (правительство) и правосудия (суд). Чтобы понять и правильно оценить глубочайший гуманистический смысл учения о "разделении властей", достаточно бросить беглый взгляд на историю государственных образований хотя бы с начала христианского летоисчисления. Тогда мы увидим, что сосредоточение всей

верховной власти в одном лице (диктатор), в одной клике (олигархия), в одном классе ("диктатура пролетариата") явилась основой безраздельного произвола бесчисленных тиранических систем, из которых господство абсолютных монархий даже было наименьшим злом, ибо оно опиралось все-таки на писаные законы. Вот барьером против возникновений новых тираний и было учение о "разделении властей". Оно открыло и совершенно новую эпоху не только в истории государственной мысли, но и государственной практики в виде образования современных правовых демократических государств. Как раз это учение лежало в основе конституционных актов Великой Французской революции, как и Конституции 1787 г. США. Сегодня уже все без исключения западные государства и их конституции основаны на концепции "разделения властей". Исключением являются восточные коммунистические государства, которые согласно учению Ленина, вернулись к системе диктатуры, что требовало сосредоточения всей государственной власти в одном органе. Поэтому в "Конституции" 1918 г. записано (ст. 31): "Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов является высшим *законодательным, исполнительным* и *контролирующим органом*". Так как всякий знает, что ВЦИК или сейчас Верховный Совет есть лишь псевдоним Политбюро ЦК КПСС, то Политбюро и есть одновременно законодатель, правитель, судья, плюс, поскольку мы живем не при ленинском нэпе, а при "зрелом социализме", Политбюро есть и единственный работодатель. Между тем эта реальная, единственная и единая верховная власть Советского Союза даже не упомянута в новой конституции. Зато отцы новой конституции впервые в истории советского режима узаконили диктатуру партии, то есть того же Политбюро, в ст. 6, которая гласит:

"Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, всех государственных и общественных организаций является КПСС ... Коммунистическая Партия определяет генеральную перспективу ... Линию внутренней и внешней политики СССР ...".

Если перевести этот партийный жаргон на язык людей, это значит, что в советском государстве законодательствует, правительствует и контролирует партийная иерархия каждого уровня —

в Москве Политбюро и Секретариат ЦК КПСС, а в низах — их филиалы: центральные комитеты союзных республик, крайкомы, обкомы, райкомы, парткомы. Так и надо было записать в новую конституцию, отбросив никому ненужную и никого не обманывающую ширму Советов.

II. От ленинской федерации к брежневской интеграции.

Российская империя представляла собою многонациональное государство. Ленин был, пожалуй, первым русским политиком, который понял, что русская империя, состоящая наполовину из нерусских народов, может быть спасена от судьбы всех бывших больших империй — от развала — при исключительно тонком подходе к так называемому национальному вопросу. Будучи великодержавником в прямом смысле этого слова, Ленин в политике выступал как убежденный интернационалист. Его интернационализм и был его тончайшей тактикой. Ею он мастерски воспользовался как в организации гибели старой Российской империи, так и в создании новой советской империи. Вспомним хотя бы один разительный пример — Гражданскую войну генерал Деникин вел под лозунгом "единой неделимой России", а Ленин вел ее под лозунгом права всех нерусских народов, в том числе украинцев и белорусов, на выход из России. Деникин проиграл, Ленин выиграл, а Россия осталась "единой и неделимой". Но тот же Ленин учил, что захватить власть дело относительно легкое, но удержать ее гораздо труднее, особенно в многонациональной стране, как Россия. Отсюда Ленин и разработал такую гибкую национальную политику, рецептам которой завидовал бы сам Макиавелли. Вспомним другой разительный пример: когда в 1922 г. подготовлялось объединение тогдашних четырех советских республик (РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР) в единое федеративное государство, ЦК Партии от 24 сентября 1922 г., в отсутствие больного Ленина принял план Сталина создать федерацию путем включения УССР, БССР и ЗСФСР в состав РСФСР на правах автономных республик. Коммунистические правительства Белоруссии и Грузии отвергли план "автономизации" Сталина, а ЦК и правительство Украины раскололось по этому вопросу. Ленин сразу почуял опасность и решительно отверг

этот план и добился нового постановления ЦК о создании федерации равноправных и суверенных советских республик в виде СССР. Конечно, никаких суверенных республик не было, а сама федерация, как и сейчас, оставалась фикцией, но создавая форму, Ленин спасал содержание — коммунистический абсолютизм. В интересах этого же содержания Ленин включил в конституцию 1924 г. (она была утверждена через десять дней после смерти Ленина 31 января 1924 г.) и такое чисто фиктивное право, как право свободного выхода любой союзной республики из СССР. В конституции 1936 г. и нынешней конституции это право повторяется. Однако ничто так не опасно в СССР, как одно лишь простое желание воспользоваться этим "конституционным правом": все судебные процессы над партийными и советскими руководителями в союзных республиках в эру ежовщины инсценировались как раз по обвинению, что подсудимые готовили выход из СССР своих республик. Да что говорить о сталинских временах. Как раз в наше время были судебные процессы над украинской группой Лукьяненко и над армянской группой Айрикян за то, что они потребовали в полном согласии с конституцией 1936 г. (ст. 17), чтобы Украине и Армении разрешили выйти из состава СССР. Судили на законном основании, ибо вопреки всем трем советским конституциям, по ст. 58 ленинско-сталинского Уголовного Кодекса и ст. 64 нового хрущевско-брежневского Уголовного Кодекса РСФСР посягательство "на территориальную неприкосновенность" СССР карается не только тюремным заключением, но и смертной казнью. Таким образом выяснилось, что советское уголовное право выше советского конституционного права.

Разумеется, Ленин и в мыслях не допускал, что он кому-нибудь разрешит выйти из СССР. Совсем наоборот, он собирался включить в СССР и другие народы мира. Поэтому в преамбуле конституции 1924 г. Ленин записал, что "новое Союзное государство явится ... новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику" (История советской конституции, стр. 460).

Так называемая "доктрина Брежнева", согласно которой восточноевропейские страны Варшавского пакта пользуются лишь относительным суверенитетом, есть ведь второй шаг на

путях осуществления этого ленинского завета в масштабе коммунистической Европы.

Без шума и незаметно для внешнего мира руководящие советские теоретики продолжают развивать дальше "доктрину Брежнева", на этот раз уже во внутриимперском аспекте. Через четыре дня после опубликования проекта новой конституции в далекой глуши, в Фрунзе (Киргизия) состоялась теоретическая конференция по национальному вопросу. Чтобы видеть важность этой конференции, достаточно указать, что ею руководили и на ней делали доклады три члена ЦК КПСС — П. Н. Федосеев, Г. У. Усубалиев и Н. Н. Иноземцев. Впервые на данной конференции ЦК КПСС, устами названных своих членов, распространил известный тезис из Программы партии 1961 г. о "расцвете и сближении наций" для создания "единого народа" и на народы восточноевропейских социалистических стран. Федосеев, открывая конференцию заявил, что создание "советского народа" как социальноисторической общности не служит ограждению советского народа от других народов социалистических государств, "а наоборот сближает нации и народности Советского Союза с зарубежными социалистическими народами...". В этой связи надо указать на одно важное обстоятельство, которое завело в тупик авторов теории "советский народ". Эта теория оказалась палкой о двух концах: с точки зрения внутриполитических интересов формула "советский народ" казалась эластичным прикрытием для ассимиляции и слияния нерусских народов с русским народом и таким образом для создания новой "социалистической нации" в СССР в полном согласии с ленинской теорией о слиянии всех наций в новую единую нацию. Но, с другой стороны, такая теория явно противоречит внешнеполитическим задачам Советского Союза в социалистических странах Европы. Ведь ближайшая цель Кремля — это создание "новой социально-исторической общности" со всеми народами социалистических стран, то есть слияние этих народов с народами СССР как преддверие к интернациональному коммунистическому человечеству. Поэтому, обращаясь к восточноевропейским народам, Федосеев говорит, что "советский народ" — это не новая нация, а "*образец органического объединения* людей разных наций" (газета "Советская Киргизия", 8 июня 1977). Адресуясь к тем же восточноевропей-

ским социалистическим странам, первый секретарь ЦК Киргизии Усубалиев добавляет: "Советский народ следует рассматривать как первую историческую форму из тех интернациональных объединений, которые неизбежно возникнут на пути поступательного движения народов к безнациональному человечеству" (там же, 9 июня, 1977). Если "советский народ" "первая историческая форма", то какая же будет "вторая форма"? Ответ члена ЦК КПСС Усубалиева ясен и категоричен: "Сочетание национального и интернационального ныне происходит не только внутри СССР, но также и в рамках социалистического содружества... Постепенно складывается *более широкая историческая общность — общность народов социалистического содружества"* (там же). Вот эти выступления Федосеева и Усубалиева есть одновременно и комментарий и интерпретация ст. 30 конституции 1977 г., которая гласит: "Советский Союз как составная часть мировой системы социализма, социалистического содружества развивает и укрепляет дружбу и сотрудничество, товарищескую взаимопомощь со странами социализма на основе *социалистического интернационализма,* активно участвует в экономической *интеграции* и международном социалистическом разделении труда".

Таким образом свое право создать из социалистических стран Восточной Европы "новую социалистическую общность", постепенно сливая ее с "новой советской общностью", Кремль закрепил в законодательном порядке.

III. Конституция и антиконституционная действительность

Начнем с того, что пишет в своем анализе новой конституции проф. Ревеш в одном швейцарском журнале: "По праву возникает вопрос, как это становится возможным советскому государству на основе одной и той же конституции один раз управлять так, а другой раз иначе: чистки (1936-1939), централизация (до 1953), децентрализация (1957-1964), рецентрализация (с 1964)? Как оказывается возможным проводить террор и потом относительную либерализацию на основе одной и той же конституции? Что за цена такой конституции?". Этот отзыв типичен для западных комментаторов новой советской конституции, многие из

которых ограничились просто ироническими замечаниями. И это о документе, который Кремль задумал как пропагандную бомбу! В самом деле, никакими конституциями и декларациями невозможно объявить бывшее небывшим, а антиконституционную действительность не существующей.

В советской конституции 1918 г. были гарантированы все гражданские права и свободы, а через год, в 1919 г. по стране прошла волна всеобщего красного террора. Ленин был первым, кто узаконил террор в советском уголовном праве и поставил это уголовное право над конституционным правом. 17 мая 1922 г. он пишет в своем знаменитом письме тогдашнему наркому юстиции Д. Курскому: "Суд должен не устранять террор — обещать это было самообманом и обманом — а объяснить и узаконить его" (Ленин т. XXVII, стр. 297, 3-е изд.). В 1936 г. Сталин дал новую конституцию. В ее обсуждении участвовал весь народ. В ст. 27 было записано: "Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора". Не высохли, как говорится, чернила, которыми писалась сталинская конституция, как в начале следующего 1937 г. началась беспримерная даже в истории советского режима инквизиция, названная народом ежовщиной. В своем докладе о проекте новой конституции Брежнев не прошел мимо этого факта, хотя бережливо обошел имя Сталина и масштаб содеянных преступлений. Брежнев сказал: "Мы знаем, что отдельные годы после принятия ныне действующей конституции были омрачены незаконными репрессиями. Это делалось вопреки конституционным установлениям" ("Правда", 5, 6, 1977).

Стараясь преуменьшить масштаб и продолжительность содеянных режимом преступлений, Брежнев говорит об "отдельных годах", тогда как речь может идти о целой эпохе перманентных репрессий. Достаточно вспомнить лишь наиболее кричащие злодеяния, одни из которых опирались на "ленинскую конституцию", другие — на "сталинскую конституцию", чтобы уличить "Генсека" в притворной скромности. Вот эти злодеяния:

1. В 1922 и 1924 гг. произошло второе и третье завоевание Грузии, Армении, Азербайджана и Северного Кавказа. Жертвы: десятки тысяч репрессированных;

2. в 1927-1930 гг. происходит подавление так называемого

"казачьего саботажа" против насильственного изъятия хлеба. Жертвы: сотни тысяч репрессированных казаков Терека, Кубани и Дона;

3. в 1930-1932 гг. происходит ликвидация кулачества и зажиточных середняков. Жертвы: по данным самого Сталина (из его беседы с Черчиллем) более десяти миллионов репрессированных крестьян;

4. в 1932-1933 гг. происходит эпидемия искусственно организованного советским правительством голода на Украине, на Дону, Кубани и в Средней Азии. Жертвы: около 5-6 миллионов погибших от голода людей;

5. в 1928-1931 гг. происходит ряд судебных инсценировок с ложными обвинениями против старой русской интеллигенции (Шихринское дело, Дело "промпартии" проф. Рамзина, Дело Всесоюзного бюро меньшевиков) и последовавшая за ними волна массовых репрессий против интеллигенции. Жертвы: весь цвет старой интеллигенции;

6. в 1924-1935 гг. происходит ряд судебных инсценировок с ложными обвинениями против старой национальной интеллигенции на окраинах как против "буржуазных националистов" (Дело Султан-Галиевцев в Татарии, Дело Садвокисовцев в Туркестане, Дело Мусавитистов в Азербайджане, Дело Дошнаков в Армении, Дело меньшевиков и национал-демократов в Грузии, Дело "Союза освобождения Украины", Дело "буржуазных националистов" в Белоруссии). Жертвы: весь цвет национальной интеллигенции этих народов;

7. в 1922-1933 гг. почти тотальная ликвидация всего духовенства православного, магометанского, иудейского, буддистского.

Все эти репрессии происходили на основе "ленинской конституции" 1924 г. Однако все рекорды побила "сталинская конституция" 1936 г. Опираясь на эту конституцию, а не вопреки ей, как утверждает Брежнев, были произведены последующие репрессии:

1. в 1937-1939 гг. было репрессировано от восьми до десяти миллионов человек, из них одних коммунистов около 1. 200 000 человек;

2. в 1941-1945 гг. происходит так называемый "военный

призыв" заключенных (тех, которые числились в "черных списках" НКВД для ареста в случае войны);

3. после окончания войны репрессировано около 5 - 6 миллионов советских граждан, попавших в плен, мобилизованных немцами как восточных рабочих или просто оказавшихся на оккупированной немцами территории;

4. в 1946-1953 гг. — подготовка новой "Великой чистки" с походом против "космополитов". Создаются "Ленинградское дело", "Мингрельское дело", "Сионистское дело", "Дело кремлевских врачей".

Нет, т. Брежнев, не "отдельные годы" были омрачены, но целая эпоха была мрачная и жуткая.

IV. Основы коммунистической государственной системы.

В своей резолюции на Апрельской конференции большевиков в 1917 г. Ленин категорически заявлял, что будущее советское государство явится "типом государства без полиции, без постоянной армии, без привилегированного чиновничества". В книге "Государство и революция" Ленин не только развивал дальше идеи Маркса и Энгельса об отмирании государства, но еще ругал тех социалистов, которые намеренно их игнорируют. Это Ленин считал лучшим доказательством измены социализму. Советский Союз выпускает ежегодно десятки тысяч книг, ежемесячно сотни журналов, ежедневно тысячи газет с бесконечными цитатами из Маркса, Энгельса и Ленина, но цитат об отмирании государства вы там никогда не встретите. Почему? Потому что появился новый классик марксизма, который данный вопрос поставил "диалектически" (самые невероятные метаморфозы и крутые зигзаги коммунисты обосновывают ссылкой на всеспасающую "диалектику"). Новый классик, т.е. Сталин, заявил на январском пленуме ЦК в 1933 г.: "Мы придем к отмиранию государства не через ослабление государственной власти, а через ее *максимальное усиление"* (Вопросы ленинизма, стр. 429).

Вот этой идеей Сталина и пронизана вся новая конституция. Поэтому в преамбуле новой конституции "диктатура пролетариата" не отмирает, она лишь переходит в форму "общенародного государства", тем самым увековечивая само коммунистичес-

кое государство. Причем во главе этого "общенародного государства" ставится, тоже как вечная категория — "авангард народа" коммунистическая партия. Советское "общенародное государство" существует лишь на бумаге, названной "новой конституцией". На деле существует та же самая старая коммунистическая диктатура с той лишь разницей, что она теперь впервые открыто объявлена и законодательно закреплена в той же конституции. Это лучше всего и нагляднее всего продемонстрировали отцы новой конституции в ее первой же главе. Там в ст. 2 мы читаем: "Вся власть в СССР принадлежит народу". Значит "общенародное государство" и его верховный суверенитет определяет сам суверенный народ. Но через три статьи, а именно в ст. 6 начисто ликвидируется только что объявленный народный суверенитет, и мы узнаем имя верховного законодателя, правителя и судьи в одном лице: "Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, всех государственных и общественных организаций является КПСС... КПСС определяет линию внутренней и внешней политики". Иначе говоря, не высшие государственные органы, а высшие партийные органы определяют и направляют всю политику государства. В этой связи становится понятным, что отцы новой конституции включили в нее и чисто партийный принцип управления пресловутый "демократический централизм" (ст. 3).

Что же такое "демократический централизм"? Это было изобретение Ленина как компромисс между меньшевизмом и большевизмом на VI съезде партии (1906), и в дальнейшем Ленин им пользовался только как прикрытием диктатуры партаппарата. Когда же в партии появилась оппозиция, требовавшая проведения этого принципа в жизнь (оппозиция "демократических централистов"), то Ленин, который теперь не нуждался в каких-либо прикрытиях, отказался от него. Вот свидетельство протоколов девятого съезда партии (1920 г.): "В первый день съезда т. Ленин говорил о демократическом централизме, объявил идиотами всех, кто говорит о демократическом централизме, и самый демократический централизм — допотопным и устарелым" (Девятый съезд РКП/б/. Протоколы, 1960, стр. 124). Но такому "демократу" как Сталин "демократический централизм" приглянулся как надежное оружие прикрытия своего восхождения к единоличной тирании и

поэтому он, вопреки Ленину, сохранил его в уставе партии. Теперь ученики Сталина внесли "демократический централизм" и в конституцию страны как еще новое свидетельство того, что так называемая советская демократия есть лишь внешняя форма советской тоталитарной партократии.

V. Гражданские права и свободы по-советски.

Как это ни покажется странным, но несомненный факт: руками авторов новой советской конституции водила незримая воля американского президента Картера. Если бы не его стратегия борьбы за гражданские права в СССР, если бы не его мужественный ответ академику Сахарову, если бы не его демонстративный прием в Белом доме Владимира Буковского — владыки Кремля в лучшем случае ограничились бы, как и в других частях новой конституции переписыванием статей о гражданских правах и свободах из сталинской конституции, а в худшем — просто обошли бы их молчанием. Но Кремль решил удивить и Картера и весь мир: Сталин в своей конституции давал советским гражданам всего лишь "десять прав и свобод", а вот Брежнев их увеличил в два раза — они имеют теперь целых двадцать! Пусть видит мир, что Картер ломится в открытую дверь. Но о правах и свободах человека в той или иной стране судят не столько по конституции, сколько по конституционной действительности. Дело даже не в том, что свои "права и свободы" советская конституция сопровождает оговорками, которые сводят их на нет (ст. 39: "использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства"; ст. 50: "в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий..."). Ведь демократическое движение диссидентов и возникло на основе советской конституции и под лозунгом "Соблюдайте собственную конституцию!". Оно требовало, как и требует нынешнее движение за права человека, соблюдения советской конституции в целях укрепления того же самого "социалистического строя". Оно само соблюдало не только основной закон, но и его оговорки, т. е. оно было политически лояльным, а юридически вполне легальным движением. Чем же все это кончилось?

Кончилось тем, что большинство его участников оказалось в тюрьмах, лагерях, сумасшедших домах или изгнанными из собственной страны. Дело, значит, в другом, а именно: 1) есть ли в конституции материально-правовые гарантии соблюдения правительством и его карательно-административными органами конституционных прав и свобод советского человека?; 2) есть ли в конституции Верховный конституционный суд для установления конституционности действий советского правительства и законодательной практики Верховного Совета? Ни того, ни другого в новой конституции нет, как их не было и в старых конституциях.

Величайший гуманистический вклад Запада в теорию и практику управления человека человеком в том и заключается, что западные конституции исходят из постулата: примат права над государством, тогда как советская конституция исходит из противоположного принципа: примат государства над правом. Отсюда в западных конституциях "государство для человека", а в советской конституции — "человек для государства". Поэтому-то в западных конституциях для гарантирования гражданских прав и свобод существует независимый от правительства и парламента Верховный суд, наблюдающий за соблюдением конституции и конституционных прав правительством и парламентом. Вот эта самая советская теория и практика, что "государство — все, человек — ничто" как раз и роднит советское государство с фашистским государством в противоположность западным правовым государствам.

Знаменитой формуле Линкольна "Правительство народа, для народа, через народ" Муссолини противопоставил в своей работе "Доктрина фашизма" впервые сформулированную им теорию о тоталитарном государстве в следующих словах: "Все — в государстве, ничто человеческое и духовное не существует вне государства... В этом смысле государство тоталитарное... Вне государства нет ни индивидов, ни групп. Фашизм хочет изменить не формы человеческой жизни, а ее содержание, человека, его характер, верование" (Итальянская энциклопедия, т. 14). Чем же эта доктрина фашизма Муссолини отличалась от доктрины большевизма Ленина? Не забудьте, что и Ленин и Муссолини числились левыми в социалистических партиях своих стран, находились вместе в одном и том же Интернационале и вышли оттуда

тоже почти одновременно, чтобы бороться за свою тоталитарную идеологию. Разумеется, Ленин пошел дальше Муссолини. Муссолини действовал в классической стране с сильным влиянием церкви и при номинально существующей все еще монархии, в условиях сохранения частной собственности, при наличии неуничтоженных культурных классов, тогда как Ленин начисто уничтожил всю старую политическую, культурную и экономическую Россию и на этой основе начал создавать свое собственное государство. Это государство, будучи тоталитарным куда больше чем государство Муссолини или даже Гитлера, не было обычным государством. Оно, по выражению Ленина и новой конституции, было "государством нового типа". В чем заключалась сущность этой "новизны"? В том, что оно лишь псевдоним существующего реального государства — партии. Поэтому-то и источник власти этого "нового типа государства" лежит не в народе и избранных им представителях ("демократия"), а в одной части народа — именно в воле одной партии ("партократия").

Партия, составляющая только 6% всего населения или около 9% взрослого населения законодательствует, правительствует и распределяет социальную продукцию страны; она управляет не только политикой, экономикой и культурой, но и мыслями, вкусами, чувствами и воображением людей. Для этой партии писаная конституция государства не закон, а форма легализации своей диктатуры и пропагандный инструмент по осуществлению своей собственной воли.

VI. "Антиконституция" "зрелого социализма"

Бесхозяйственность и коррупция всегда были элементами социалистической системы, но сегодня они уже не элементы, но ее основы. Основатель этой системы — Ленин, предвидел такое перерождение, когда на последнем съезде партии говорил: "Капиталисты все же умели снабжать, а вы умеете? Вы не умеете... А дело делать умеете?... Старый капиталист умеет, а вы не умеете" (Одиннадцатый съезд РКП/б/. Стенографический отчет. 1961, стр. 17-18). Все это, думал Ленин, легко может привести к полному перерождению "идеально" задуманной системы и ее носителей. Избранный на том же последнем Ленинском съезде в 1922 г.

генсеком Сталин через самое непродолжительное время подтвердил пророчество своего учителя — большевизм превратился, по выражению Муссолини, в "славянский тип фашизма", а советская экономика в целом — в военно-полицейскую крепостническую систему города и деревни. В ее основе лежал всеобщий принудительный труд, гарантированный драконскими "трудовыми законами" 1935 г. ("Устав с/ х артели") и 1940 г. (законы о прикреплении рабочих, инженеров и служащих к производству и об уголовном наказании за опоздания на работу). Существующие законы против "расхищения социалистической собственности" стали дополнять новыми законами о "саботаже", "вредительстве", "экономической контрреволюции". Таким образом появилась высшая система принудительного труда — рабский труд миллионов заключенных. Сталин доказал Ленину, что коммунисты умеют хозяйничать, но хозяйничать как рабовладельцы. Со смертью Сталина эта рабовладельческая система претерпела определенный кризис: исчез рабский труд миллионов, как исчезли и сталинские законы о принудительном труде. Все последующие попытки Хрущева их реставрировать в виде различных указов о "тунеядцах" не имели того эффекта, какой имели законы Сталина. Хозяйственная система, обязанная всеми своими успехами принудительному труду, начала деградировать. Хрущев решил, что он нашел причину деградации — началась эра бесконечных реорганизаций, децентрализаций, рецентрализаций. "Волюнтаризм" и "субъективизм" Хрущева только усугубил общий кризис. Хрущева убрали, но не убрали причины кризиса — принудительное хозяйничанье. Поэтому все эти новые кричащие потуги — "реформы Косыгина" и "аграрная политика" Брежнева оказались мерами паллиативными.

Теперь в новую конституцию включили целую главу "Экономическая система" (гл. II, ст. 9-18), от которой авторы конституции ожидают чуда. Однако, там есть только одна статья, которая может оказаться чудотворной, если от нее потом не откажутся. Это статья 17: "В СССР в соответствии с законом допускается индивидуальная трудовая деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения, а также другие виды трудовой деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и

членов их семьи". Данная статья конституции есть просто легализация существующего положения, когда мизерные приусадебные участки колхозников кормят миллионы людей в городах, многотысячная армия "шабашников" освобождает коммунхозы от непосильной для них задачи обеспечивать текущий ремонт квартир миллионов семей, а подпольные "семейные артели" обувщиков и портных обувают и одевают людей по последнему слову моды. Так в СССР вырос совершенно новый социальный класс, который может быть назван "классом свободных трудящихся" в отличие от государственных трудящихся. Если авторы новой конституции всерьез решили легализовать этот класс, то с хозяйственной точки зрения они поступили весьма разумно, с точки же зрения политической весьма рискованно.

Ленинский нэп дискредитировал социалистическую систему хозяйствования, поэтому Сталин его ликвидировал. Легализация "класса свободных трудящихся" может явиться самой яркой иллюстрацией порочности всей системы так называемого "зрелого социализма". Отсюда опасность его ликвидации. Во всем остальном глава "Экономическая система" узаконивает существующий "азиатский способ производства" с произволом Госплана, всесилием министерской бюрократии и уровнем жизни развивающихся стран.

В заключительном слове на X Всероссийской партийной конференции в 1921 г. Ленин выдвинул тезис: "Судьба коммунистического режима в России будет решена в конечном счете на хозяйственном поприще. Если коммунистической России удастся доказать на деле превосходство коммунистической хозяйственной системы над системой капиталистической, то тогда мы выиграли в международном масштабе наверняка и окончательно" (Ленин, ПСС, т. 43, стр. 341). К 60-летию СССР история дала исчерпывающий ответ на поставленный Лениным вопрос: как раз на хозяйственном поприще коммунизм обанкротился нагляднее всего.

Беспощадно сожрав отцов и детей своей революции, начисто исчерпав былой динамизм своей молодости, воочию продемонстрировав перед всем миром антиэкономичность своей экономической модели, — советский коммунизм стал таким пугалом, от которого вынуждены отмежевываться даже его вчерашние

энтузиасты на Западе — западно-европейские коммунистические партии. Все это, однако, мало трогает господ из Кремля. Они живут сегодняшним днем и действуют по принципу — "после нас — хоть потоп!". Они задним числом присваивают себе звания героев войны и маршалов Советского Союза, коллекционируют самые дорогие заграничные автомобили не только для себя, но и для своих детей, сооружают за народные деньги дачи-крепости на берегах Балтики, Крыма и Кавказа, бесплатно получают отборные заграничные и отечественные товары и продукты из "спецраспределителей", готовят своих детей достойно "принять эстафету отцов". Республиканские, областные и районные вожди стараются подражать стилю и образу жизни московских "руководящих товарищей". Остальной бюрократии живется не так вольготно, но она также имеет свой принцип жизни: "если меня не компенсируют, то я самокомпенсируюсь!". Результат — небывалый и невозможный при каком-либо ином режиме рост повсеместной коррупции, продажности, взяточничества. А народ? Никого не должно удивлять, что при таких вождях и при такой системе многие из низов народа тоже живут по-ленински: "Грабь награбленное!". Отсюда — эпидемия "расхищения социалистической собственности".

В пролетарском трудовом государстве честный труд становится самым презренным делом. Опаздывание и неявки на работу, "летунство", "итальянские забастовки", "приписки", "очковтирательство" стали массовым явлением. Им сопутствует небывалый рост пьянства без различия пола и возраста. Государство намеренно превращает водку в "опиум народа". Число вытрезвителей растет быстрее числа школ. Черствость души, озверелость нравов и поразительная распространенность сквернословия стали "моральным кодексом" так называемого "советского образа жизни". Вот та общая почва, на которой растут хулиганство, дебош, вооруженные грабежи, убийства. Их масштаб, вероятно, так велик, что советское правительство боится предать гласности статистику уголовных преступлений в стране (см. об этом интересное исследование В. Чалидзе "Уголовная Россия").

В стране сплошной грамотности, где одних ученых около миллиона, специалистов до 25 миллионов, мыслить иначе, чем мыслят бездари из ЦК и башибузуки из КГБ считается тягостным

государственным преступлением. Как долго все это может продолжаться? Мы этого не знаем. Зато мы видим и знаем другое. Руководители Кремля бездумно толкают страну и свой режим к той зловещей бездне, за которой начинается катастрофа. Вместо того, чтобы предупредить это радикальными реформами, они преподнесли стране "Антиконституцию". По своему они правы, ибо догадываются, что в логическом конце любых реформ они потеряют монополию власти. Они скорее загубят страну, чем потеряют власть.

Власть — всевозвышающая, комфортабельная, величественная — и есть тот единственный Бог, которому они молятся и которым они вдохновляются. Однако, упиваясь оргией этой власти, ослепленные ее блеском, глухие к страданиям народа и нуждам страны — партийно-полицейские самодержцы тем вернее провоцируют будущую катастрофу.

А. Авторханов

РОДОСЛОВНАЯ БОЛЬШЕВИЗМА

ТАТАРСКОЕ ИГО И ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР.

Глубоко почитая и любя Н. А. Бердяева за светлое и благородное вдохновение его мысли и за то, что он сказал, что человеческая личность не может быть средством даже для Бога, я всё же не могу принять по совести некоторые другие его утверждения, по-моему, неверные и опасные. Таких утверждений особенно много в его знаменитой книге "Истоки и смысл русского коммунизма", которая вышла в 1937 году по-английски, а затем и на многих других языках:

— Особенно важно для западных людей понять национальные корни русского коммунизма, его детерминированность русской историей. Знание марксизма этому не поможет;

— Русская революция порождена своеобразием русского исторического процесса и единственностью русской интеллигенции. Нигде больше такой революции не будет. Коммунизм на Западе есть другого рода явление;

— Произошла русификация и ориентализация марксизма;

— Они (большевики) создали полицейское государство, по способам управления очень похожее на старое русское государство.

Всё это Бердяев утверждает как самоочевидные истины, не приводя никаких доказительств. Тем не менее все эти утверждения вошли в поговорку, стали готовыми идеями, повторяются на

Продолжение. (Начало см. кн. 125 Н. Ж.)

тысячи ладов. Удивляться тут не приходится — они золотая россыпь для всех, кто хочет обелить марксизм и доказать, что корни архипелага Гулаг вовсе не в марксизме, а в русской истории. Как в этом сомневаться, когда сами русские говорят, что коммунизм на Западе будет совсем другой и что Советский Союз только новое обличие тоталитарного московского государства, сложившегося под тотарским владычеством. При чём же тут марксизм? Это от монголов русские унаследовали мечтание о мировой империи. Почитайте Маркса:

"Не в суровом героизме норманской эпохи, а в кровавой трясине монгольского рабства зародилась Московия, и современная Россия является не чем иным, как преобразованной Московией... монгольское рабство было той ужасной и гнусной школой, в которой сложилась и возвысилась Москва. Она добилась своего могущества лишь благодаря тому, что достигла виртуозности в искусстве раболепствовать. Даже после своего освобождения от монгольского ига, Москва, даже под личиной хозяина, господина, продолжала играть свою традиционную роль раба. И, в конце концов, Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордым честолюбием монгольского повелителя, которому Чингисхан завещал миссию завоевания мира.."

Так вот, в октябре 17-го эта обруселая татарская государственная традиция соединилась, мол, с особой русской, отнюдь не марксистской, а "ткачёвской" революционной традицией. Отсюда и пошёл архипелаг Гулаг. Во всём виновата история. А марксизм за гибель в лагерях миллионов русских мужиков никакой ответственности не несёт. Это они сами себя уничтожали, такие, знаете, отсталые, прямо что-то азиатское в них.

Самое удивительное: русские историки-евразийцы, а они-то, в отличие от Маркса, Россию любили, так же как он думали, что татарское иго было школой, в которой возвысилась Москва, только в их представлении это была хорошая школа: без татарщины не было бы России; "Свержение татарского ига" (заметьте иронические ковычки) свелось к замене татарского хана православным царём и к перенесению ханской ставки в Москву; произошло чудо превращения татаро-монгольской империи в русскую, чудо обрусения и оправославления

татарщины; прими монгольские ханы, потомки Джучи православие, и не Москва, а Сарай оказался бы духовным и культурным центром русской земли; значение золотоордынской державы в русской истории не меньше значения империи Карла Великого в истории европейской.

Правда, в отличие от марксистов, евразийцы правильно считали большевицкий режим не видоизменённой Московией, а одним из последствий европеизации. И всё же "под лавой коммунизма они вскрыли фундаменты русской народности". Большевицкая революция осуществила, дескать, многие начала русского народного права и большевицкие законодательные памятники ближе к правосознанию русского народа, чем законодательство Империи. Как многие тогда эмигранты, евразийцы верили: революционный кризис приведёт к "выпрямлению русской исторической линии", и большевики, вопреки своей воле, творят национальное дело. Надо только оправославить выдвинутый революцией новый правящий слой и всё хорошо будет.

Евразийцы идеализировали мировую Империю Чингисхана, основанную по их мнению, на справедливости и равенстве. Каждый должен работать столько же, сколько сосед. Богатые и бедные, каждый по способностям, служат государству и бедный защищен от несправедливых притеснений богатого. Евразийцев не смущало, что равенство это было особого рода, почти шигалевское: все холопы и в холопстве все равны. Богатые и бедные, и богатуры, и невольники, и русские удельные князья — все одинаково холопы Великого хана и обязаны ему рабским повиновением. "Сын Бога" и самодержец, он господин их жизни и смерти и хозяин всей земли: вся необъятная империя — его вотчина.

Не скрою, я ни в какой мере не разделяю евразийского восхищения эффективностью правительственной, военной и финансовой организации монгольской империи. Татарское иго, я думаю, было величайшим бедствием для России. Оно уничтожило демократические вечевые начала общественного строя русских княжеств и на много веков затормозило развитие России, оторвав ее от того процесса обновления культуры, который сквозь века позднего средневековья привел на Западе к расцвету Возрождения. Пушкин отмечает: "Внутренняя жизнь

порабощенного народа не развивалась. Татаре не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля".

Века татарского господства остались в памяти народа, как лютые тошные времена. "О, злее зла честь татарская". Поколения русских людей прожили в постоянном страхе. С. Г. Пушкарев пишет, что татарское владычество и необходимость кланяться чуждой власти оказали вредное влияние на характер русского человека. По мнению некоторых других историков изменился даже его внешний облик. "У русских с тех пор, — уверяет знаменитый шведский историк Карл Гримберг, — редкая как у монголов борода".

Надо полагать, человек этот никогда не видел русских батюшек и портретов Толстого, Достоевского и других бородатых русских писателей. Доживи он до наших дней, он смог бы узреть в Стокгольме Александра Солженицына во всей славе короткой, но очень густой русской плотничьей бороды.

"Повесть о разорении Батыем Рязани" дает представление, чем было татарское нашествие:

"И взяша град Резань месяца декабря в 21 день. И приидоша в церковь соборную пресвятые Богородици, и великую княгиню Агрипену, матерь великого князя, з снохами и с прочими княгинями мечи исекоша, а епископа и священнический чин огню предаша, во святей церкви пожегоша, а инеи мнози от оружия падоша, а во граде многих людей, и жены, и дети мечи исекоша, и иных в реце потопиша, и ереи, черноризца до останка исекоша, и весь град пожгоша, и все узорочие нарочитое, богатство резанское и сродники их киевское и черниговское поимаша, а храмы божия разориша, и во всех святых олтарех много крови пролияше. И не оста во граде ни един живых, вси равно умроша и едину чашу смертную пиша; несть бо ту ни стонюща, ни плачуща и ни отцу и матери о чадех или чадом о отци и о матери, ни брату о брате, ни ближнему роду, но вси вкупе мертвые лежаща".

Разорив Рязанскую землю Батый "поиде наград Суздаль и Владимер". Все города Суздальской земли и всей северовосточной, а затем и югозападной Руси постигла та же страшная участь, что и Рязань. Император Фридрих 2-й писал о взятии татарами Киева: "Все это преславное княжество целиком по

истреблени его жителей пришло в запустение, будучи разорено".

Покорив русские земли полчища Батыя, разоряя города и губя население, обрушились "словно гнев Божий и молния" на Венгрию, Польшу, Чехию, Боснию, Сербию, Молдавию, Валахию. Вести об ужасах татаро-монгольского нашествия потрясли Запад. Английский летописец Матвей Парижский писал о монголах: "Бесчеловечные, звероподобные существа. Их не назовешь людьми, они скорее чудовища, они жаждут крови и пьют ее, ищут и пожирают собачье и даже человечье мясо." Германия молилась: "Господи, сохрани нас от ярости татарской".

Но Батый внезапно повернул обратно. Запад спасен, начинает оправляться от потрясения. А когда в 1248 году монгольский воевода Алжигидай, наступавший на Багдадский халифат, прислал Людовику Святому двух христиан-несториан, с предложением союза против сарацин и с уверениями, что Великий хан очень благоволит христианам, Французский король, папа, монахи и крестоносцы решают: татары готовы обратиться в христианство, тайно уже обратились. В союзе с ними мы победим ислам.

Монгольский миф не умирает на Западе до конца 13-го века. Папа Иннокентий 4-й и Людовик Святой шлют ко двору Великого Хана посланников и проповедников. Все кончилось разочарованием. Но Марко Поло уверяет, пошли папа более искусных проповедников, Великий хан Хубилай обратился бы: "Повелитель монголов очень хотел стать христианином". Впрочем, по свидетельству того же Марко Поло, Хубилай не меньше чем Исуса Христа чтил Магомета, Моисея и Сакья-Муни и требовал от священнослужителей всех четырех религий, чтобы они ему кадили.

Монголы, поначалу более или менее шаманисты, отличались полной веротерпимостью. В монгольской империи мирно сосуществовали буддисты, таоисты, конфуциане, мусульмане, манихеи, евреи и христиане разных исповеданий и толков. Сам Чингисхан склонялся к таоизму. Он надеялся получить от священнослужителей Тао напиток бессмертия. Но многие его воеводы и воины и даже некоторые его домашние были христианами-несторианами. При его наследниках они занимают при дворе господствующее положение. Внук Чингисхана Великий хан

Могка, сын несторианской принцессы, говорил французскому посланцу францисканцу Вильгельму Рубрук: "Мы монголы верим в единого Бога. Но подобно тому как Господь Бог дал нам пять пальцев на руке, Он дал людям и разные к Нему пути". Могка сказал еще, что исповедует все религии, допущенные при дворе. Другой монгольский хан полагал, что до тех пор пока не будет полной уверенности, какая религия самая истинная, благоразумнее всего исповедовать их все одновременно.

Такая же веротерпимость при дворе золотоордынских ханов. В Сарае существовала русско-православная кафедра. По некоторым сведениям, Сартак, сын Батыя, был православным. "Лучший период в истории русской церкви, — пишет Бердяев, — был период татарского ига, когда она была духовно независима".

Преследуемые на Западе еретики бегут в монгольские пределы и находят там убежище и религиозную свободу.

Свобода совести — вот главное, что поразило доминиканских и францисканских монахов в империи Великого хана. Удивление это осталось на много веков. В "Руководстве для инквизиторов", составленном в 1376 году в Авиньоне доминиканцем Николау Эймерич, мы находим описание заблуждений татар:

"Определить ошибки и ереси татар дело нелегкое, эти люди *не единодушны в их верованиях*. Одни из них веруют и живут как сарацины. Но далеко не все они присоединились к Исламу... среди них много разных согласий. Иные поклоняются луне, иные первому животному, которое увидят встав поутру, будь то собака, кошка, осел или человек не имеет значения... некоторые татары, пленники на чужой стороне, вешаются или еще как-нибудь по-другому кончают самоубийством, убежденные, что так они вернутся на родину. Другие сжигают себя перед всеми своими сородичами. Они верят: они вознесутся в пламени в область блаженных".

Два века спустя, в Риме, в 1578 году доктор канонического права Франциско Пенья по заданию папы пересмотрел руководство, составленное Эймеричем и дополнил описание обычаев и верований татар: "Татары это "соарматы" греков или "сарматы" римлян; некоторые обозначают их именем "антро-

пофаги". Они кочевники, у них нет городов, и нравы их самые мерзостные: они не употребляют ни скатертей, ни ширинок, никогда не моют ни рук, ни тела, ни одежды. Они не едят ни хлеба, ни овощей, но питаются мясом разных животных: собак, кошек и больших крыс. Обитаемые духом мести и кичясь своей силой, они на войне часто поджаривают тела убитых врагов... Страшные в бою они сосут и глотают кровь своих жертв.. Они не зноют милосердия Божия и *каждый из них выкраивает себе Бога на свой образец*".

Всего преждеупомянутого думается достаточно: монгольская империя была какой угодно восточной деспотией, но не тоталитарным государством в современном смысле слова. Мы видели, как посланцев Запада поражали в ней "невероятные", с их точки зрения, отношения между разными религиями — полная свобода совести. Из татарского ига таким образом, никак не вывести то главное, что делает коммунистическое государство тоталитарным. Татаро-монголы не знали никакой общеобязательной государственной религии, а ведь марксизм-ленинизм как раз — безбожная разновидность такой религии, требующая беспощадной борьбы с малейшими отклонениями от установленных ею догматов.

Ничего подобного в монгольской империи не было. Значит, ни на чем не основана вся эта теория, будто бы советское коммунистическое государство — не плод марксизма, а все та же Московия, которая, де, сама была только обруселой татарщиной.

Глубокое удивление францисканских и доминиканских монахов при виде религиозного плюрализма в столицах монгольских ханов подсказывает опровержение еще и другого довода, обычно приводимого в доказательство, что марксизм не виноват в Гулаге. Довод этот такой: инквизиция не была прямым следствием веры в Бога и Христос не несет за нее никакой ответственности. Так и Маркс не несет никакой ответственности за архипелаг Гулаг.

Ответ на первый взгляд убедительный, так ослепительно неопровержима его первая часть: Христос не несет никакой ответственности за инквизицию. Наоборот, инквизиция всегда против Христа. Без ссылки на Достоевского тут не обойтись, он

бессмертно об этом написал. У него Великий инквизитор говорит Христу: "ибо если, кто всех более заслужил наш костер, то это Ты. Завтра сожгу Тебя".

Но все это вовсе не значит, что по аналогии и Маркс не отвечает за Гулаг. Тут только формальная, по существу же мнимая, мошенническая аналогия. Заповеди Христа и костры инквизиции разделяет непереходимое бездонное противоречие. А между марксизмом и Гулагом — прямое генетическое преемство. Правда, проклятый архипелаг не похож на обещанную волшебную бабочку освобождения человека, однако чудовище это все же выползень из хризолиды марксизма. Теперь уже многие, в частности во Франции "молодые философы", начали об этом догадываться: марксизм обитаем духом, который неизбежно должен был привести к архипелагу Гулаг, и это тот же дух, что породил инквизицию. Вот почему два последние западные описания заблуждений татар я и привел, как читатель верно помнит, из "Руководства для инквизиторов".

Трагический парадокс западной цивилизации: она дала миру либеральное общество, основанное на евангельском в своих истоках утверждении прав и свободы человека, но этому обществу пришлось расти в напряженной борьбе с зачатыми в недрах той же цивилизации тоталитарными идеологиями. Эта борьба продолжается в наши дни смертельнее чем когда либо. От ее исхода зависит, быть или не быть свободе, быть или не быть всему, что придает человеческое значение нашей жизни.

Как раз в первой половине 13-го века, когда на развалинах погубленных ими азиатских и восточно-европейских цивилизаций монголы сгрохали свою необъятную империю, Запад "изобретает" первую модель идеократического тоталитаризма.

Преобразования, которые до тех пор неустанно производились в церкви, прекращаются. Она становится монолитной, авторитарной, опирается на огромный аппарат церковной бюрократии, застывает в "окончательно" упорядоченном каноническом праве, в "окончательно" истолкованном вероучении. По словам Владимира Соловьева: "Истины веры превратились в обязательные догматы, т.-е, в условные знаки церковного единства и послушания народа духовным властям".

По замыслу папы Иннокентия 3-го церковь должна была

стать вселенским Верховным судом, которому будут подвластны все короли и народы. Совсем как в "Братьях Карамазовых", когда Великий инквизитор говорит Христу о дарах "страшного и умного духа": "Мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными".

О герое своей поэмы Иван рассказывает: "На закате дней своих он убеждается, что лишь ответы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, "недоделанные пробные существа, созданные в насмешку".

Учредители исторической инквизиции папы Иннокентий 3-й и Григорий 9-й тоже берут меч кесаря из жалости к людям, чтобы хоть сколько-нибудь их устроить, чтобы спасти их от гибели. Только Иннокентий 3-й в своем труде "О презрении к миру" выражается еще страшнее. Он знает: человек — растленная грехом падаль, слабая, неустойчивая тварь. Его нужно смирять железной рукой. Если церковь не подчинит тотально людей своей власти, она ничего не сможет сделать для спасения тьмы грешников, обреченных на вечные муки.

Однако Иннокентий 3-й не посмел бы написать другие слова, которые в своем бездонном ясновидении говорит Великий инквизитор Достоевского: "Но ищет человек преклониться перед тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобы и все уверовали в него и преклонялись перед ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за общего преклонения они истребляли друг друга мечем... Ты знал, Ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой".

Вот ключевые слова для понимання генетического кода инквизиции и ее последующих отраслей: всех революционных трибуналов, всех Гестапо и КГБ.

Всем известно, все живое живет за счет живого. Убийство — закон природы. Животные убивают других животных, чтобы насытиться или охраняя свою территорию. К этим, так сказать естественным видам убийства человек прибавил еще убийство с целью утвердить Истину и всеобщее ей поклонение. Почему непременно всеобщее? Да потому, что когда дело идет об Истине, недоказуемой разумом, единственный залог ее несомненности — это именно то, что все в нее верят и все ей поклоняются. Но если это так, если непреложность Истины зависит от единодушного ее признания всеми, то что же тогда делать с тем, кто отказывается ее признать? Ведь пока он жив, он колеблет своим отрицанием ее истинность, мешает ей быть во всей ее полноте. Враг Истины он тем самым и враг всего основанного на ней порядка земного и небесного бытия, подрыватель основ. Чтобы восстановить бесспорность и полноту Истины, такого человека нужно или привести к Ней хотя бы насильно, или убить.

А как же христианство? Ведь христианская Истина еще менее доказуема разумом, чем все другие и ни одно учение так не призывает к "всемирному и всеобщему единению", как учение Христа. Не выходит ли тогда, что христианство неизбежно должно вести к инквизиции?

Вот тут-то и сбились инквизиторы. Да, Евангелие приглашает к объединению, но к объединению, которое исключает насилие и убийство. Такое объединение созидается на утверждении верховной ценности личности каждого, даже самого последнего человека и на любви не только ко всем людям, но и ко всей твари и ко всему творению, вспомните Франциска из Ассизи: "брат мой волк" и "брат мой огонь". Евангельская любовь и есть христианство. Когда она проявляется, все сомнения отступают и гаснут, ее божественное дыхание не нуждается ни в каких умственных доказательствах. Объединение основанное на такой любви и на "решении личном и свободном" никогда не приведет к "бесспорному и согласному муравейнику".

Измена инквизиции учению Христа вовсе не в том, что она хотела "устроиться непременно всемирно", а в том, что соблазнясь третьим искушением в пустыне, она взяла меч кесаря и,

отменив свободу, которой "Христос благословил людей", решила установить "общность поклонения" насильно.

В "Братьях Карамазовых" Алеша говорит Ивану: "Великий инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!"

Об исторических инквизиторах этого не скажешь. Они верили в Бога и боялись Страшного суда, но они потеряли веру в евангельскую любовь и устрашились воздвигнутого Христом "свободного знамени". Инквизиция родилась в тот день, когда Доминик Гусман, святой Доминик, отчаясь обратить катаров в истинную веру добром, решил в своем разгневанном сердце, что их души нужно спасти от вечной гибели насильно. В Пруй, потеряв терпение, он сказал собравшейся толпе: "Вот уже столько лет вы слышали от меня глаголы мира. Я просил, я умолял, я плакал. Но, как говорят в Испании в просторечии: "куда не достигает благословение, туда повадится палка". Мы воздвигнем на вас принцев и прелатов; они призовут народы и племена и великое множество погибнет от меча. Башни будут разрушены, стены повергнуты и вас обратят в рабство. Так сила возобладает там, где кротость не могла добиться успеха".

Но не спасение души еретиков стало главным назначением инквизиции. В "Руководстве для никвизиторов", которое я уже упоминал, об этом говорится с полной определенностью: "Нужно напомнить, что главная конечная цель судопроизводства и смертного приговора не спасение души обвиняемого, а в том, чтобы обеспечить общественное благо и *терроризировать* население. Общественное благо должно быть поставлено намного выше чем все милосердные соображения о благе индивидуума".

Католическими проповедниками все более обуяет дух фанатической нетерпимости: тот, кто не принимает Истину, да умрет. Фома Аквинат дошел до того, что облыжно уверял, будто Иоанн Златоуст требовал смертной казни для Ария. Ссылаясь на эту сказку латинские богословы призывают: еретиков надо жечь. Историки видят тут следствие возрождения при папах Иннокентии 3-м и Григории 9-м римского права: смертная казнь для еретиков была установлена при императоре Юстиниане, именем которого назван знаменитый кодекс.

Так в 13-м веке на Западе, веке экономического подъема,

великого творческого вдохновения и великой святости, рядом с "Цветочками" Франциска Ассизского всходят плевелы фанатической нетерпимости, которая приведет к безумию религиозных гонений, религиозных войн и политических и социальных революций, подобных революциям религиозным, и к современному идеократическому тоталитаризму, в его двух основных вариациях: национал-социализма и марксизма-ленинизма.

Конечно, и прежде в Европе, как всегда и всюду, не было недостатка в ненависти ко всем, кто верит и думает по-другому. И все же в 12-м веке монахи в аббатстве Клюни переводят Талмуд и Коран; катары не таясь исповедуют свою веру и без боязни спорят с проповедниками, которые уговаривали их вернуться в лоно католической церкви. В Англии, в Испании, во Франции христианские, еврейские и мусульманские богословы беседуют друг с другом о вере и философии. В 13 веке такие беседы больше не разрешаются. Правда, в 1240 году в Париже перед Людовиком Святым и в 1262 году в Барселоне перед Яковом Первым Арагонским прения между христианами и евреями все-таки имели место. Но это уже не "куртуазное" обсуждение, как в 12-м веке. Теперь евреев поносят как народ богоубийцу, испорченный и лукавый. Жуанвилль рассказывает, Людовик Святой разрешил спорить с евреями только самым ученым богословам, простым же мирянам он заповедал: если еврей клевещет на христианскую веру, пусть христианин не спорит с ним словесами, а извлечет свой меч и как можно глубже воткнёт ему в живот. Евреев, которые так много сделали для расцвета "Открытой" цивилизации Европы 12-го века, начинают из многих стран выселять, в лучшем случае загоняют в гетто. Отныне они должны носить опознавательные знаки, в римском гетто, учрежденном в 16 веке — желтую шапку. Вот первые пробные модели гитлеровской желтой звезды! Еврей больше уже не свободный человек, каким был в Испании "трех религий" — христианской, еврейской и мусульманской, или во времена каролингов. Даже крещеных евреев и мусульман, маранов и морисков, подозревают теперь в тайной приверженности к вере отцов. С тех-то пор и стали придавать такое значение "чистоте крови", а потом и социальному происхождению.

Уже и до альбигойской войны Рим поручал прелатам разыскивать еретиков и судить их в церковных трибуналах. Но епископская инквизиция оказалась бессильной против катаров. И вот по призыву папы Иннокентия 3-го огромная рать баронов северной Франции и всякой наемной сволочи вторгается в беспечный Лангедок, чтобы исторгнуть ересь силой оружия. Тогда-то и прогремел знаменитый клич, который приписывали то одному из вдохновителей похода аббату Арно-Амальрику, то самому папе: "Убивайте их всех, Бог распознает своих!". В июле 1209 года "крестоносцы", ворвавшись в славный град Безье, выполнили этот призыв буквально — они вырезали поголовно всех жителей без разбора: катаров, католиков, мужчин, женщин, детей, стариков и даже священников, в полном облачении служивших в церквах молебны о спасении. Всего погибло около 30 тысяч человек.

Как мы видим, падение Безье сопровождалось таким же яростным разгулом убийства и разрушения, как когда Батый в 1237 году взял Рязань. Только воины Батыя не называли себя, как северные бароны, "Воинством Христовым".

В 1232 году папа Григорий 9-й окончательно отстраняет епископов от "дела веры" и поручает ведать розыском еретиков доминиканским, а невдолге и францисканским монахам, требуя от духовных и светских властей полного содействия инквизиционным трибуналам. Но еще за год до того Рим назначает Верховным судьей по делам немецких еретиков доминиканца Конрада из Марбурга. С двумя подручными, другим Конрадом по прозвищу Туловище и кривым Иоганом, он три года объезжает Германию на необыкновенно низкорослом муле, по малейшему доносу предавая пыткам и сожжению знатных и простолюдинов, богатых и бедных, монахов и монашек, горожан и крестьян.

Альбигойская война на юге Франции жила до марта 1244 года и кончилась полным запустением прекрасного королевства Элеоноры Аквитанской и гибелью блистательной цивилизации трубадуров, куртуазной любви и веротерпимости. Но инквизиция, учрежденная для истребления катарской ереси, просуществовала до 1834 года. Кажется в том же году, не помню точно, в Мадриде в последний раз зажгли костер аутодафе.

Корреспондент одной парижской газеты сообщал: "Пение монахов заглушило крики несчастного еврея".

Но действительно ли кончилась инквизиция? Возникнув в 13-м веке она подстерегала с тех пор европейскую цивилизацию на каждом повороте, принимая как Протей все новые обличия. Так часто кажется, что кошмарный Конрад из Марбурга, отбрасывая огромную зловещую тень все едет на своем низкорослом муле по окровавленным отмелям истории, только теперь на нем не ряса доминиканского монаха, а мундир гестапака или кагебешника, или еще каких-нибудь органов.

Казалось бы, всякому, кто помнит Нагорную проповедь должно быть несомненно: инквизиция была страшным внутренним поражением исторической церкви, изменой церкви самой себе, своему призванию служить делу евангельской любви.

Казалось бы, у христианина не может быть другого отношения к инквизиции с ее пытками и кострами, кроме соловьевского и солженицынского — как к тяжкому греху.

Однако находятся люди, которые думают, что говорить о грехе инквизиции в наше время гонений на церковь — это лить воду на мельницу антирелигиозной пропаганды. Люди эти ищут для инквизиции смягчающие вину обстоятельства. По их мнению, то была законная самозащита от "дьявольских" ересей, которые угрожали самому существованию не только церкви, но и всего средневекового общества, всей христианской цивилизации. И очень преувеличены, — говорят они, — все эти разговоры о преступлениях и жестокостях инквизиции. Взять хотя бы ославленного беспощадным палачом Генерального инквизитора Испании Торквемаду. Кто спорит, был он человек крутой, но справедливый и уж какой аскет: никогда не ел мяса, спал на голых досках, не носил никакого белья, да и передал-то он светской власти для сожжения "к вящей славе Господней" *всего* две тысячи самых злых еретиков.

Что верно, то верно. По сравнению с гимлерами и ежовыми даже Торквемада может показаться душкой. Но повторяю, тот, кто читал Нагорную проповедь, не может оправдать сожжения хотя бы одного только человека.

Общее число жертв никвизиции никогда не было подсчитано. Французский историк Жан Делюмо в книге "Умирает

ли христианство?", за которую он получил Большую католическую премию по литературе, пишет, что с 1480 по 1834 год в Испании было сожжено около 100 тысяч еретиков. Это несравнимо меньше числа человеческих жизней, уничтоженных тоталитарными режимами нашего времени за сроки куда меньшие: при Гитлере 12 миллионов, в Гулаге 60. В Камбодже красные кхмеры только за два года убили пятую часть всех жителей.

Но Делюмо справедливо говорит: сравнение числа жертв не должно служить для оправдания инквизиции.

Замечу от себя, если к сожженным прибавить убитых во время всех варфоломеевских ночей, всех драгонад и религиозных войн, число жертв раздутого инквизицией фанатизма окажется не таким уж незначительным. В Германии в тридцатилетнюю войну погибла половина населения. Война эта принесла не только человеческие жертвы и разрушения, а и глубокие повреждения в национальном сознании немецкого народа. Американский историк, немец по происхождению, Петер Вирек считает, что национал-социализм вырос не только из обиды на несправедливость Версальского мира, но еще в большей мере из обиды на еще более несправедливый и унизительный для Германии Вестфальский мир 1648 года. Чтобы смыть эту обиду Гитлер будто бы собирался в случае своей полной победы подписать всеобщий мир в Мюнстере.

Мне может быть скажут: вот вы недавно писали, что якобинство, марксизм и большевизм — только метаморфозы мессианских эгалитарных движений средневековья, а теперь говорите, что это метаморфозы инквизиции. Как же это так? Ведь инквизиция как раз боролась с этими движениями революционного хилиазма. Где тут логика? Как якобинство, марксизм и большевизм могут быть одновременно метаморфозами двух противоположных друг другу тенденций: революционной и охранной?

Могут. Дело вот в чем: при всей их противоположности две эти тенденции растут из одинакового убеждения, что Истину можно утвердить и охранить только насилием и террором. Правда, одни хотят насилием и террором построить "новый мир", а другие охранить существующий порядок. Задачи прямо

противоположные, а средства те же и такая же одержимость антихристианским духом нетерпимости, непрощения и ненависти. К тому же революционеры, только свергнут короля или тирана, глянь уже сами оборачиваются охранителями своей новой власти и устраивают свою собственную инквизицию.

Энгельс был убежден, что настоящие революционеры именно так и должны орудовать. В 1873 году в статье "Об авторитете" он пишет: "Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков и пушек, то есть средств чрезвычайно авторитарных. И если победившая партия не хочет потерять плоды своих усилий, она должна удерживать свое господство *посредством того страха,* который внушает реакционерам ее оружие".

Великий пример такой "авторитарной" революционной власти Энгельс и Маркс видели в якобинской диктатуре. Ленин совершенно справедливо указывал, что "Маркс ставит в образец германской демократии *якобинскую Францию 1793 года",* то есть года Большого террора.

И действительно, отпрыск рейнской якобинской буржуазии, которая мечтала о присоединении Рейнландии к революционной Франции, Карл Маркс верил только в такую революцию как якобинская: авторитарную, насильственную, террористическую, кровавую. "Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым". В марте 1850 года в знаменитом "Обращении ценрального Комитета к союзу коммунистов" он утверждает: "Как *во Франции в 1793 году,* так и теперь в Германии проведение строжайшей централизации является задачей действительно революционной партии".

Это не были юношеские идеи будто бы потом оставленные. В 1890 г. Энгельс в статье "Внешняя политика русского царизма" пишет, что став на сторону царя, Франция в случае поражения была бы "лишена возможности прибегнуть к своему великому единственно действенному средству спасения, к *целебному средству 1793 года* — революции, мобилизации всех сил народа *посредством террора* и революционной пропаганды во вражеской стране".

То же в письме к Зорге от 24 октября 1891 г. : "Германия сумеет держаться лишь революционными мерами, почему мы, легко возможно, и будем вынуждены встать у кормила власти и *разыграть 1793 год*".

Верный ученик Маркса и Энгельса Ленин так же крепко как они затвердил уроки якобинской диктатуры. В 1908 году он с нежностью пишет о "настоящем, всенародном действительно обновляющем страну терроре, которым прославила себя Великая французская революция". И так же как Маркс и Энгельс великий Ильич скорбит об ошибке Парижской коммуны 1871 года: "излишнее великодушие пролетариата: надо было истреблять своих врагов, а он старался повлиять на них".

Захватив власть, Ленин "ошибку" парижских коммунаров не повторил. Для "обновления страны" и для истребления врагов партдиктатуры он не медля учреждает свою собственную инквизицию — ЧК и ревтрибунал. О поразительном сходстве этого большевицкого ревтрибунала с якобинским мне приходилось уже писать. Помню зловещие, очень бездарные и подлые стихи на самом восходе коммунистического царства:

Вскочив на стол гильотинета
Пропляшет танец гильотин.

А тот парижский трибунал был упрощенным подобием инквизиционных трибуналов и преследовал подозреваемых в политической ереси с таким же свирепством, как инквизиция подозреваемых в религиозной ереси. Не провиденциально ли, что якобинский клуб обосновался в Париже в бывшем доминиканском центре на улице Святого Якова. Тут прямая родословная линия: большевицкий террор — ублюдок Святой Гильотины, которая сама была ублюдком Святой инквизиции. Не следует поэтому удивляться необыкновенному сходству созданного по якобинскому образцу большевицкого ревтрибунала с инквизиционным.

В глазах инквизиторов Святая инквизиция — "самое благородное, самое великое, самое благочестивое" предприятие. Она основана на "Божьем праве" и должна распространиться по всей земле. Так и в глазах коммунистов — коммунистическая власть, основанная на единственно истинном учении, самое благо-

родное, самое великое предприятие и должна распространиться по всей земле.

Тема сродства власти коммунистов и власти инквизиторов не раз привлекала писателей восточной Европы.

Михаил Геллер напомнил недавно, что Илья Эренбург в "Необычайных похождениях Хулио Хуренито" посвятил целую главу "кремлевскому коммунисту", назвав ее "Великий инквизитор вне легенды". Геллер пишет: "У Эренбурга Ленин — фанатик, верящий, что он ведет людей к счастью, убежденный, что если люди не хотят идти к счастью добровольно, надо их заставить быть счастливыми".

Когда в Польше, в октябре 56 года наступила оттепель, польский писатель Ержи Андржиевский, которого позднее, хотя у него нет еврейской крови, объявят сионистом, пишет повесть "Тьма покрывает землю". В этой повести он рассказывает о стране, где все должны подчиняться "генеральной линии", всякая попытка думать по-своему осуждена и жителей заставляют признаваться в преступлениях, которых они не совершали и доносить на своих лучших друзей. В стране этой все как в Польше под властью коммунистов. Но для отвода глаз и чтобы подчеркнуть поразительное сходство Андржиевский пишет, что действие происходит в Испании, во время инквизиции.

Великий инквизитор Торквемада поучает молодого монаха Диего: "Людей нужно спасать насильно, против их воли. Нам придется еще долго их опекать, истребляя в их сознании всякий соблазн, все что мешает пришествию Царствия Божьего".

Когда же Диего говорит о страданиях людей, Торквемада его заверяет: "Мы покончим со всеми противоречиями и тем самым со всеми страданиями".

У Диего доброе сердце, ему жалко людей. Он спрашивает: "Когда?".

Торквемада: "Только тогда, когда все человечество примет великую Истину и все люди будут думать и верить одинаково... Если тебе дорога Истина, ты не можешь любить и жалеть тех, кто ей противится. Когда идет борьба за торжество Истины, нет никого, кто стоял бы выше подозрений. В каждом может таиться семя зла. Прежде чем думать о милосердии и любви нужно искоренить зло".

Слова эти одинаково верно выражают идеологию и святой инквизиции и коммунистов. Только вместо Царствия Божьего у коммунистов обещанный Марксом прыжок в царство свободы. А так все одинаковое: та же структура мыслей и чувств и средства те же. Неудивительно, что революционные трибуналы оказались во всем похожими на инквизиционные. Они то же самое, только при всей чудовищности инквизиционных коммунистические по сравнению с ними выходят по всем статьям еще более чудовищными.

Сопоставим "Архипелаг Гулаг" Солженицына с дополненным в 16 веке Франциском Пенья "Руководством для инквизиторов", которое я уже не раз упоминал.

Солженицын: "Как средневековые заплечные мастера, наши следователи, прокуроры и судьи согласились видеть главное доказательство виновности в признании её подследственным". Солженицын считает, что именно это привело к применению пыток. "Такая простая здесь связь: раз надо обвинить во что бы то ни стало –- значит неизбежны угрозы, насилия, и пытки, и чем фантастичнее обвинение, тем жесточе должно быть следствие, чтобы вынудить признание."

До Солженицына из русских писателей только Пушкин говорил об этом с таким же верным и глубоким пониманием. Вспомним "Капитанскую дочку":

"Пытка, в старину, так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался без всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо для его полного обличения, –- мысль не только не основательная, но даже совершенно противная здравому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невиновности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности".

Но у инквизиторов всех времен другие понятия о здравом смысле, чем у Пушкина и Солженицына. Инквизиционный трибунал как раз ставил себе целью во что бы то ни стало добиться признания обвиняемого.

Франциско Пенья: "Перед тем, как приступить к пытке, вспомните, что цель ее не столько установить какое-либо обстоя-

тельство, сколько принудить подозреваемого признаться в вине, в которой он не признается.. В других судах признание не считается достаточным доказательством преступления...но перед инквизиционным трибуналом признания обвиняемого достаточно, чтобы его осудить. Преступление ереси рождается в разумении и кроется в душе, отсюда очевидно следует, что ничто не докажет его несомненнее, чем признание самого обвиняемого".

Вот почему, если подозреваемый в ереси упорствовал в отрицании своей вины, инквизиторы имели право подвергнуть его предварительному заключению, назначив такую степень воздействия, какую найдут наиболее соответствующей обстоятельствам: заковать его в кандалы, морить голодом, лишать сна. Считалось, эти меры, если применять их с толком, помогают, как тогда говорили, "раскрыть сознание", то есть обвиняемый, как говорят теперь, "раскалывался". Но если он продолжал упорствовать, тогда применяли пытки. Однако, пытать более 15 дней не разрешалось, и пытки не должны были вести к членовредительству и быть опасными для жизни. Некоторые инквизиторы были вообще против пыток, потому что слабые признавались под пыткой в чем угодно, а наиболее стойкие выдерживали и не признавались. Их нужно было тогда отпускать. Ограничены были и виды пыток. Всего пять.

Но Пенья пишет: "Однако, было не мало судей, которые изобретали очень многочисленные виды пытки. Марсиль говорит о четырнадцати родах пыток и заявляет, что изобрел еще больше, чем заслужил похвалы Павла Грияна. Что касается меня, если вы хотите знать мое мнение, то я скажу вам, что такая эрудиция, мне кажется, более подобает работе палачей, чем юристов и богословов, как мы. Но с этой оговоркой я хвалю обычай пытать обвинаяемых, особенно в наши дни, когда нечестивые держут себя бесстыднее, чем когда либо".

Солженицын: "Если до 1938 года для применения пыток требовалось какое-то оформление, разрешение для каждого следственного дела, — то в 1337-38 годах... насилия и пытки были разрешены следователям неограничено, на их усмотрение.. Не регламентировались при этом и виды пыток, допускалась любая изобретательность".

Но вот самое поразительное. Главную трудность инкви-

зиторам доставляли те еретики, которые сами просили, чтобы их сожгли. Пенья: "Еретики такого рода часто сами требуют для себя костра. Они убеждены, что если их осудят на сожжение, они умрут мучениками и сразу же вознесутся на небо.. Само собою разумеется, их неразумному желанию ни в коем случае нельзя потакать. Наоборот, их нужно полгода или даже год держать в кандалах в тюрьме ужасной и темной, так как тюремные тяготы и постоянные притеснения часто пробуждают правильное разумение".

Впрочем, по убеждению инквизиторов, темница всегда должна быть ужасной, не просто местом заключения, а видом пытки.

Солженицын: "Исключительность, которую теперь письменная и устная легенда приписывает 37 году, видят в создании придуманных вин и пыток. Но это неверно, неточно.. Ночные допросы были главными в 1921 году. И тогда же наставлялись автомобильные фары в лицо (рязанское ЧК). И на Лубянке в 1926 году использовалось амосовское отопление для подачи в камеру то холодного, то вонючего воздуха. И была пробковая камера, где и так нет воздуха и еще поджаривают.. Участник Ярославского восстания 1918-го года Василий Александрович Касьянов рассказывал, что такую камеру раскаляли, пока из пор тела не выступала кровь; увидят это в глазок, клали арестанта на носилки и несли подписывать протокол..."

Между инквизиционными трибуналами и органами еще другая важная черта сходства: поощрение доносов. Доносить на еретиков, — поучали инквизиторы, — "Божий закон". Тот, кто пренебрегая спасением души, не соблюдает этот закон, подлежит отлучению от церкви. А доносчику награда — три года отпущения грехов и обеспеченное вечное спасение.

Чтобы стукачи не опасались возможной мести, их имена не только не сообщались обвиняемому, но вообще нигде не оглашались. Их знал только инквизитор или назначенный им комиссар. Очная ставка не допускалась, но если стукач соглашался выступить на суде обвинителем, он должен был представить абсолютные доказательства верности своих показаний. А коли не сможет, ему самому тогда наказание, к какому приговорили бы подозреваемого в ереси, окажись донос обоснованным.

Кстати, так и в "Записи целовальной" Василия Шуйского: "А кто на кого лжет, и, сыскав, того казнити по вине его: что было возвел неподелно, тем самым и осудится".

Многие инквизиторы возражали против того закона, считая его несправедливым и слишком строгим к стукачам. И потом, если его применять, никто больше из страха наказания не решится доносить и "дело веры" пострадает. Вот почему, хотя он никогда не был отменен, закон этот во времена Франциска Пенья фактически больше не соблюдался, во всяком случае, лжесвидетелей никогда не выдавали светским властям для сожжения. Роль же обвинителя стали поручать особому чиновнику инквизиции, который назывался ФИСКАЛОМ. Но все же, для предотвращения доносов из личной ненависти, или из мести, или по соображениям выгоды, или по приказу третьего лица, показания доносчиков строго проверялись. Ничего подобного описанной Солженицыным чуме безнаказанных доносов для сведения личных счетов или чтобы получить жилплощадь соседа — не было.

В Византии, с которой русская культура связана сыновьим преемством, лжесвидетельство считалось грехом. Византийские мастера не любили изображать мучения грешников в аду, но в тех редких случаях, когда они это делали, например, на фресках в Кастории, в Западной Македонии, они изображали лжесвидетеля повешенным вниз головой. По старой русской пословице: за облыг, на том свете язык жегалом протыкают. Но в Советском Союзе стукачу ничто не грозит. "Наш Закон, — говорит Солженицын, — совершенно не помнит греха лжесвидетельства — он вообще его за преступление не считает! Легион лжесвидетелей благоденствует среди нас, шествует к почтенной старости, нежится на золотистом закате своей жизни".

Рыба с головы тухнет. Доносительство на партийных товарищей очень рано становится в партии обычным явлением, начинает почитаться гражданской добродетелью. На 14-м партсъезде, в декабре 1925 года, член Центральной Контрольной Комиссии товарищ Гусев заявил: "что же, мы за доносы, такие доносы должны быть в партии, ибо каждый коммунист должен быть чекистом". Ему возражал член ленинградской делегации Минин: "Развившаяся за последнее время

система писем, использования частных разговоров, личных сообщений, когда всем этим пользуются без всякой проверки и все эти сообщения объявляются сразу вполне достойными веры, причём авторы подобных сообщений и писем берутся тут же под особое покровительство, не может не принять в партии самые нездоровые и до сих пор немыслимые обычаи".

Вся последующая история партдиктатуры показывает, какое из двух мнений возобладало. Из партии метостазы раковой опухоли расползаются по всей стране. Героем коммунистической цивилизации становится Павлик Морозов.

Инквизиция смогла сломить сопротивление катаров и других еретиков главным образом именно потому, что поощряла доносительство. Скрывая имена настоящих стукачей, инквизиторы часто говорили обвиняемым, что на них будто бы донесли самые близкие им люди. "Ваш друг, имярек, утверждает, что видел, как вы шли на тайное сборище катаров". Никто больше не знал кому можно доверять. Связи круговой поруки распадались. Торквемада в упомянутой мною повести Андржиевского говорит: "Наша власть основана на страхе. Нужно, чтобы жена не доверяла мужу, родители боялись детей, сослуживцы — один другого. И все должны трепетать перед всезнающим и вездесущим судом Святой Инквизиции".

Якобинцы повторили опыт инквизиторов. Они объявили доносительство гражданским долгом, гражданской добродетелью. В якобинских клубах шли непрерывные драматические представления: обличительные речи, самокритика, чистки. Как правило, последнее действие происходило на Гревской площади."... то разве года два держалась на плечах большая голова".

Камил Демулен в порыве революционного восторга называл революционные клубы инквизиционными трибуналами народа. Он не предвидел, что он сам и его жена падут жертвами этой народной инквизиции, которая так его восхищала. При диктатуре Робеспьера любого доноса было достаточно для предания Революционному трибуналу. Только якобинцы еще более упростили и без того упрощенное инквизиционное судопроизводство. В инквизиционном трибунале дело могло тянуться очень долго, в революционном не больше трех дней.

Якобинцы считали, это достаточный срок, чтобы "просветить" совесть судей.

Казалось бы, родословную большевизма установить нетрудно: достаточно почитать Ленина и его учителей Маркса и Энгельса. Как мы видели, они нисколько не скрывали, что в их глазах якобинская диктатура — это диктатура авангарда городской и сельской бедноты, то есть тогдашнего пролетариата, пример для подражания. В речи, произнесенной 4/17/ июня 17 года, Ленин говорит: "Историки пролетариата видят в якобинстве один из высших подъемов угнетенного класса в борьбе за освобождение. Якобинцы дали Франции лучшие образцы демократической революции...сознательные рабочие и трудящиеся верят в переход власти к революционному, угнетенному классу, ибо в этом суть якобинства".

Через три дня в "Правде": "Якобинцы 1793 года вошли в историю великим образцом действительно революционной борьбы с классом эксплуататоров со стороны взявшего всю государственную власть в свои руки класса трудящихся и угнетенных".

Казалось бы, преемственная связь марксизма-ленинизма с якобинской диктатурой не подлежит сомнению. Это на опыте Робеспьера Маркс, Энгельс и Ленин изучали науку тоталитарной идеократии, осуществляемой диктатурой одной партии или даже одного человека. Большевицкая революция была в сущности продолжением якобинской, новым эпицентром, новым приливом всеевропейской мессианской революции, которая подымалась уже в Средние Века в движениях эгалитарного хилиазма, бурлила в апокалиптических сектах, игравших такую роль в английской революции, и впервые восторжествовала с диктатурой якобинцев.

Через якобинцев марксизм-ленинизм наследовал и другую всеевропейскую традицию, традицию инквизиционную: грешников нужно привести к спасающей абсолютной Истине насильно, а злых еретиков, которые своим инакомыслием мешают Истине занять свое место, тех уничтожать.

Да, казалось бы все это не подлежит сомнению. А между тем, нас все время настойчиво хотят убедить, что истоки большевизма нужно искать вовсе не в марксизме и не в якобинстве, а

исключительно в "специфике" русской истории: в татарщине, в опричнине, в революции сверху Петра Великого, и вот феодализма в России не было, и русские прирожденные рабы, и при Николае 1-м был учрежден корпус жандармов в несколько тысяч человек. Подобные утверждения вовсе не плод исследовательских усилий установить действительную родословную большевизма. Они обычно продиктованы: или желанием во что бы то ни стало снять с марксизма ответственность за архипелаг Гулаг; или, доходящей порой до антирусского расизма, застарелой, утробной враждой ко всякой России, — Советский Союз, дескать, все та же царская Империя; или, как в случае Бердяева, комплексом национальной неполноценности: "русский народ... может осуществлять или братство во Христе, или товарищество в антихристе". Куда же буржуазному мещанскому Западу устроить такую революцию, как большевицкая!

О всех этих утверждениях не стоило бы и говорить, не мешай они Западу понять подлинную природу идеологии марксизма-ленинизма и найти способы противостоять ее наступлению. В этом отношении очень типична и показательна напечатанная в прошлом году в сборнике "Самосознание" статья американского ученого-советолога Ричарда Пайпса. По поводу мер, принятых против террористов в конце царствования Александра 2-го, он пишет:

"Можно с уверенностью утверждать, что корни современного тоталитаризма следует искать скорее здесь, чем в идеях Руссо, Гегеля или Маркса. Ибо, хотя идеи безусловно могут породить новые идеи, они приводят к организационным переменам лишь если падут на почву, готовую их принять".

Вспомни этот ученый эксперт историю религий, он увидел бы, что действительно с уверенностью можно утверждать как раз прямо противоположное. Христианство, ислам и все вселенские религии распространялись среди народов самых разных по крови и цивилизации, причем новая религия, нисколько сама по существу не меняясь, совершенно преображала жизнь этих народов, независимо от того, были они или не были готовы ее принять. Так распространяется и марксистская вера. Коммунисты нынче у власти во многих странах совсем с другой историей чем

русская. И что же, во всех этих странах мы видим все то же самое: тоталитарное государство на службе марксистской идеологии, сосредоточение всей политической и экономической власти в Политбюро компартии, архипелаг Гулаг для тел и для душ.

Кажется, Токвиль первый сказал, что Французская революция была своего рода религия, такая же вселенская по вдохновению, как ислам или христианство. "Она хотела определить права и обязанности не только французов, но и всех людей на земле, хотела изменить не только общественный строй Франции, но возродить весь человеческий род". С еще большим основанием все это можно повторить и о большевицкой марксистской революции, бывшей, как я уже говорил, продолжением и углублением революции якобинской и всех мессианских европейских восстаний. По выражению Раймона Арона марксизм обещает приход на нашу землю "другого света". Именно в профетизме марксизма нужно искать объяснение, почему, несмотря на архипелаг Гулаг и все опровержения разума и опыта, коммунистические идеи продолжают распространяться даже в западных странах. Разговоры же о татарском иге, опричнине и жандармах в голубых мундирах только помогают этому распространению. Запад слушает их с радостью облегчения: оказывается вовсе не коммунизм страшен, страшна варварская вечно-тоталитарная Россия, которая его русифицировала, а у нас коммунизм будет либеральный, демократический, ведь у нас совсем другие исторические традиции. Опасная иллюзия, она может привести к самым трагическим и непоправимым последствиям.

В. Варшавский

РАЗРУШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ В СССР

Как известно, всякий человек нуждается в каком-либо сверхличном целом, с которым он мог бы себя отождествить. В таких сверхличных целостностях человек ищет принципа и основы для жизни вместе с другими людьми или просто деятельности или переживания, которые выводили бы его за рамки собственного "я". Индивид ищет приобщения — социального (государственного, национального, религиозного, партийного и классового, профессионального и в личных отношениях); и культурного (духовного — переживание контакта с идеями и образами, и духовно-творческого).

Любого человека, живущего в социальной и культурной среде, можно охарактеризовать тем, какие из перечисленных центров притяжения интересов он использует для приобщения к сверхличному. Также путем выявления того, какие из этих центров притяжения используются чаще других, можно охарактеризовать разные государства и различные периоды их существования.

Социальные и культурные центры притяжения целесообразно разбить еще на базисные или общие, и на локальные. Общими могут быть только некоторые социальные (государство, нация и религия). Все остальные можно отнести к категории не общих, а локальных.

Основной тезис данной статьи в том что в 70х гг. в СССР люди, как кажется, все менее склонны отождествлять себя с государственным целым, все менее склонны чувствовать себя членами единого большого государства. Такой усиливающийся

упадок эмоционального интереса к символу "государство" у масс населения является следствием новой внутри-политической тактики советской власти, которая пытается выжить в современных условиях.

Дело в том, что советской власти сейчас выгодно существование лишь локальных человеческих объединений при частичном и даже полном отсутствии масштабных народных единств. Выгода эта несомненна и понятна в тот период детоталитаризации мнений, который имеет место в СССР 70х гг. и который невозможно остановить. Советская власть не терпит плюрализма мнений в государственных и общих вопросах, но бороться с этим все ширящимся плюрализмом методом прямой репрессии в масштабах, которые были бы эффективными, тоже уже не в состоянии. Поэтому она стихийно старается ориентировать интересы людей на локальные сферы жизни: пусть, мол, развивающийся плюрализм мнений, раз уж нельзя полностью от него избавиться, касается только этих локальных сфер. Советская власть в 70е гг. берет курс на то, чтобы избавиться от "беспокойств" людей относительно "интересов государства". Ей теперь все менее нужно даже просто сочувствие масс, она поняла, что его достичь в современных условиях невозможно. И потому власть пытается базировать свою прочность исключительно на локальных сообществах, отвлекая людей в сторону от идентификации с государственным целым.

Однако, советский народ отходит от символа "государство" вовсе не в силу отмирания потребности в отождествлении с ним. Потребность в приобщении к государственному целому присутствует даже в тех, в ком более или менее ярко выражено несогласие со многим происходящим, и несогласие это вовсе не мешает сохранению такой потребности. Почему так? Ответ на этот вопрос дан самой жизнью советской страны.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что даже советские лидеры, даже чиновники из партийно-бюрократических верхов — не верят в соответствие действительности марксистско-ленинских "руководящих указаний". Да и зачем в них верить? Нынешним руководителям советской страны не до таких "изысков", как идеалистическая вера. Советские руководители — реалисты и практики, хотя и дурные реалисты и плохие практики,

но уж во всяком случае не идеалисты. Им не до осуществления "благих намерений" былых манифестов, им лишь бы выпутаться из насущных проблем, сохранив, хотя бы в общих чертах — статус кво, и хотя бы в какой-то степени уменьшить экономико-культурную отсталость от стран Запада. И потому они повторяют традиционные идеологические "заклинания" в силу инерции языка и растерянности перед всё увеличивающейся горой новых неразрешенных проблем. И надо быть или весьма пожилым советским сельским учителем, или весьма простодушным неофитом из левого движения на Западе, чтобы в них верить и относиться к ним мало-мальски серьёзно. Советский маразматический стар и западный неоперившийся млад сходятся душа в душу — весьма поучительный альянс! Советские отцы потеряли уважение собственных детей, и на эту психическую рану льют бальзам сочувствия дети "приёмные" из молодёжных левых движений на Западе. Чем не интернационализм, хотя и не классовый, а простого и универсального человеческого скудоумия!

Ни советские руководители, ни советская масса в идеологию не верят. Но совсем иное дело — государство. "Наше государство — это мы, живущие здесь, и свои проблемы нам нужно решать самим, не обращаясь к чужим, и сор из избы выносить негоже. Родину не выбирают, какая-никакая, а это наша Родина, и предавать её нельзя" — так вещают штампы советского сознания. И продолжают — "Мы — это не они, те, кто живут в других странах. У них кое в чём, может быть, и лучше, чем у нас, кое-чему можно и поучиться, кое-что можно и позаимствовать, но любить мы все-таки должны не ихние страны, но свою собственную". И как только зайдёт по-настоящему серьёзный разговор с каким-либо человеком, несогласным с очень многим и многим в советской стране, как только перейдёшь границы критики частностей и поставишь вопрос о системе в целом, говоря, что у "них", в других странах, всё-таки — всё лучше, и даже их тяжёлые для них проблемы — лучше, потому что сам тип организации общества более совершенен, твой собеседник сразу же забудет свой былой критический пафос, и сразу же начнёт пылко тебе возражать, воскрешая идеологические лозунги, в которые сам не верит ни на

грош. И всё же советское государство перестаёт восприниматься людьми как символ единства, не смотря на сохранившуюся в этом потребность.

Причина этого достаточно проста. В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ПРОСТО ОПАСНО ИМЕТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ. Раньше было проще, потому что сознание это было, в основном, тоталитарным. Но в последние годы, поговорка "сколько людей, столько и мнений" — начинает верно отражать положение вещей с мнениями у советских граждан. Детоталитаризация мнений идёт во всех областях, будучи следствием, во-первых усиления процесса профессиональной дифференциации и во-вторых — связанной с этим усиливающейся индивидуалистической ориентации населения. Масса раздробляется на индивидуальности, из которых каждая норовит иметь собственное мнение. И когда мнение этого "каждого" касается частностей жизни (материй профессиональных или пристрастий к тем или иным формам проведения досуга или методов воспитания детей), то советская власть относится всё более терпимо к такому плюрализму локальных сфер. Но вот когда мнение этого "каждого" начинает касаться государства в целом, то неизбежно получается, что мнение это несоответствует мнению тех, кто по роду своей, так сказать — профессиональной деятельности имеет мнения о государственном целом и руководствуется им в вершении политики от лица этого государственного целого. Речь идет о носителях власти, о тех, кто состоит при государственном целом и "призван отправлять о нём заботу". Детоталитаризация мнений относительно государственного целого — опасна для стоящих у власти, и, как кажется — только это им и опасно.

Действительно, почему им должна быть в принципе опасна жажда материального благосостояния, чрезвычайно усилившаяся у советских людей с начала 60-х годов, или их жажда разнообразного и цивилизованного досуга? Или почему им должно быть опасно желание иметь высокую профессиональную квалификацию, усиливающееся у молодёжи, или жажда молодёжи удовлетворения собственной любознательности, или профессиональная требовательность к себе, становящаяся у многих чуть ли не личным кредо? Раньше советские лидеры

видели во всём этом опасность для своего существования и существования советского государства, потому что считали лишь тоталитарную связь массы и вождя и примат государственной структуры адекватными советскому строю и потому гарантирующими его сохранность. Тогда они относились крайне ревниво к появлению любой другой (локальной) структуры, любой цели помимо тоталитарной преданности, которая бы обязательно застила облик вождя, любого кумира, например, идеала собственной высокой профессиональной квалификации, который бы неизбежно отвлекал внимание от кумира верховного. (Отсюда традиционная антинаучная позиция советской власти с запрещением кибернетики, генетики и т. д.). Теперь, однако, положение изменилось. Возникла необходимость развивать науку и производство, теперь советская власть может надеяться спастись только технической развитостью, технологической оснащённостью, продуктивной работой науки. А это значит — что нужно допустить к существованию весь комплекс нетоталитарных социальных образований, связанных с их существованием, большое количество локальных структур, которые будут отнимать внимание от государственной. И советские лидеры начинают чувствовать, что детоталитаризация во всех областях, за исключением — мнений о государственном целом, им не опасна, и более того, что пусть лучше люди вообще перестанут испытывать интерес к государству, чем будут продолжать воспринимать его в детоталитаристском контексте разнообразия мнений.

Сейчас советские лидеры уже предпочитают, чтобы люди забыли душой (и помнили лишь языком) о "едином советском государстве", и тем самым — устранили бы себя от какой бы то ни было инициативы или волнений и "забот" по его поводу. Если придёт война — "партия кинет клич", тогда другое дело (сразу же произойдёт возврат к первозданному тоталитаризму), тогда опять начнётся исключительная апелляция к государственной структуре и, возможно, даже нацию опять отыщут и вытащат из подвала, но в мирное время пусть "каждый советский человек хорошо работает на своём рабочем месте — за станком, за доильным аппаратом, за университетской кафедрой, за чертёжной доской, за исследовательским прибором, а решать —

как вести себя советскому государству, какую политику проводить — будут те, кто специально на это поставлен". Детоталитаризация в локальных сферах не опасна, но связанное с нею отвлечение людей от государства — даже выгодно, и советские лидеры своей безжалостной расправой с теми, кто "суёт свой нос в государственные дела" способствуют тому, чтобы люди оставляли флагманский корабль государства для "начальства", а сами "располагались в шлюпках вокруг".

Само существование сфер интересов помимо государственной стабилизирует жизнь в стране, упрочивает статус кво и потому играет на руку власти. И чем более важны для людей эти иные сферы, тем более стабилизируется жизнь и тем в большем выигрыше власть. Единственное, чего она требует у населения — не соваться со своими мнениями относительно государственного целого, предоставить решать государственные дела тем, кто стоит у власти. И только в этом вопросе — мнений относительно государственного целого, советская власть не допустит никогда детоталитаризации, и здесь она будет стоять насмерть.

Как в этой ситуации ведет себя советский народ? Масса приспосабливается. Тем более, что на государственных интересах свет клином не сошёлся — есть большое количество и других сфер. Как только человек начинает ощущать себя членом единого государства, и думать и чувствовать как его часть, он сразу же оказывается под обстрелом "ревнивых" глаз государственных чиновников и их агентуры, сразу же оказывается в опасности. И, спасаясь, индивид теряет интерес к государству, нарушается его идентификация с государственным целым. Он, как бы, отдаёт государство в ведение его "работников".

Если он простой человек, то он стихийно пытается перенести свою жажду причастности не только на локальные, но и на другие общие структуры — на нацию и, в меньшей степени — на религию. Но ни национальное, ни церковно-религиозное самоопределение не становится для большинства людей глубоким в серьёзном, метафизическом смысле — слишком радикально были прерваны октябрьской революцией как традиция национального сознания, так и религиозно-духовного. Поэтому национальное самоопределение имеет место лишь в бытовом

смысле, и чисто негативном, проявляясь в обиходном антисемитизме, антигрузинизме, антиармянизме, антикитаизме, антиамериканизме и т. п. Церковно же религиозные симпатии выражаются для многих лишь в эстетическом восприятии православных культов, ритуальных церковных богослужений и т. п. Люди, которым фактически — отказали в государстве, иша других общих сфер интересов, находят их ущербными, полузадушенными, потому что именно с ними боролось советское государство за право быть доминирующей структурой, когда после октябрьской революции пришло к власти, и именно их в первую очередь радикально изничтожало. Так что простому человеку остаются если не карьеризм, то хобби, водка, сексуальная распущенность. Интеллигенту же компенсация более полным набором локальных структур — из социальных профессиональной и личных отношений, из культурных — духовной и профессионально-творческой.

В СССР В 70х ГОДАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ БАЗИРУЕТСЯ НЕ НА БАЗИСНЫХ — ОБЩИХ СТРУКТУРАХ, НО НА ЛОКАЛЬНЫХ — ВТОРИЧНЫХ. Однако, локальные отличаются от общих — своею меньшею погружённостью в те глубины психики, в которых отложился опыт человеческой общественности, своею меньшею связью с метафизическими измерениями общности между людьми.

Имеется, конечно, в Советском Союзе группа населения, которая не желает "сбрасывать государство со своих плеч", отказываться от интереса к проблемам государства в целом. Речь идет о тех, кого принято называть "диссидентами". Люди эти продолжают сохранять действенные мнения относительно государственного целого. И советские верхи им не прощают этого стремления "дублировать функции правительства". Однако, ради отстаивания своих мнений относительно государственного целого многие "диссиденты" готовы жертвовать собой.

Теперь попытаемся приложить нашу шкалу структур, посредством которых человек приобщается к сверхличному, к описанию нескольких типов индивидов.

Типичным тоталитарным индивидом тогда окажется

человек, который самоопределяется через -- государство, партию и личные отношения.

Даже партийная принадлежность для тоталитарного индивида -- просто возможность быть причастным к иерархии власти, и, следовательно, часть государственной.

Далее опишем типичного советского человека 70-х годов, не относящегося к интеллигентской среде. Он самоопределяется через -- класс, партию, профессию и личные отношения.

Посмотрим, каков типичный советский интеллигент на нашей шкале. Он может самоопределяться через —класс, профессию, партию, духовную деятельность, профессионально-творческую деятельность и личные отношения.

Для сравнения мы можем описать по шкале сфер интерессов, скажем, типичного американского неинтеллигента и интеллигента.

Американский простой человек самоопределяется -- через государство, нацию, церковно-религиозную принадлежность, партию, класс, профессию и личные отношения. Американский интеллигент самоопределяется через -- государство, нацию, церковно-религиозную принадлежность, класс, партию, профессию, духовную деятельность, творческую деятельность и личные отношения. Для усугубления впечатления от сравнения выбора населением сфер интересов в СССР и США, отметим, что в Америке нация и церковно-религиозная принадлежность являются абсолютно самостоятельной ценностью по отношению к государству.

Результаты сравнения функционирования структур приобщения к сверхличному в СССР и США поражают и заставляют задуматься. У типичного американца, будь он интеллигент или неинтеллигент — НЕИЗМЕРИМО БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ НАБОР ЭТИХ СТРУКТУР, ПРИЧЁМ У ИНТЕЛЛИГЕНТА — БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ, ЧЕМ У НЕИНТЕЛЛИГЕНТА.

Общность советских людей распадается, настолько интерес к локальным сферам жизни не компенсируется интересом к общим. В США же, и расслоённость населения и его интегрированность — всё выражено сильно.

Америка — и плюралистическое общество, и единое. В Советском же Союзе 70х гг. вместе с тоталитарной нерасчленён-

ностью форм жизни выбрасываются из сознания людей и сами общие структуры (вместе с водой — ребенок). СССР всё более становится обществом без общественности, чистым государством (в отличие от которого тоталитарное общество всё же — общество). СССР 70х годов правильно было бы определить как ТОТАЛИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО (в отличие от тоталитарного общества сталинского времени), как общественный строй, который пытается детоталитаризоваться не по сути, а путём исключения общих структур жизни.

Тоталитарное государство — это тоталитарное общество без общественности, которая только и достигается совместным приобщением людей к базисным структурам жизни. Поскольку СССР может быть только тоталитарной системой и может сохранять общие структуры только в тоталитарном контексте, т.е. без всякого плюрализма мнений относительно этих структур, то, вынужденный развивать локальные структуры, он пытается исключить общие совсем.

Карьерный и профессиональный фанатизм, крайности пьянства, гипертрофированное самоутверждение и чувство соперничества в человеческих отношениях, обилие "чудачеств" — чрезмерного увлечения частностями жизни, например, каким-нибудь хобби, наконец, фанатизм творческой работы (все советские достижения в науке и технике, в искусстве, спорте — обязаны этому нечеловеческому надрыву, жертвы собой молоху того или иного частного дела) — вот проявляния гипертрофии локальных сфер из-за невозможности для людей безбоязненно интересоваться общими. Стремление творить кумиров и идолов из людей, вещей, взглядов на жизнь, мировоззрений — вот что-такое в социально-психологическом плане их гипертрофия.

Примат и давление госаппарата в СССР 70х гг. является следствием усиления государства не как общей структуры, вербующей себе широчайшие народные массы в челобитники и защитники, как в дохрущёвские времена, а как структуры локальной (профессиональной), в которую вовлечены партийцы, администраторы и осведомительно-военизированный аппарат физического подавления. Сейчас все те, кто служат советской власти, уже не ей, собственно, служат субъективно, а просто "служат", работают, зарабатывают деньги специфическим путём.

Была бы на месте советской какая-нибудь другая власть, они бы и ей служили точно так же. Нынешнее усиление советской власти достигается не только старыми, доставшимися в наследство от ленинско-сталинской системы средствами (беззаконие, всесилие КГБ), но и средствами новыми — ОТВЛЕЧЕНИЕМ ЛЮДЕЙ ОТ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ УСТАНОВКИ СОЗНАНИЯ И ИХ ПОРАБОЩЕНИЕ, ЗАКРЕПОЩЕНИЕ — ЛОКАЛЬНЫМИ И ЧАСТНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ (профессиональными заботами, творческими устремлениями в специальных областях, устройством материального благосостояния, личной жизнью, изобретением разных способов проведения досуга). Отвлечение от потребности ощущать себе членом единого государства достигается и с помощью страха госаппарата (который преодолевается лишь теми , кто вовлечён в диссидентское движение), и с помощью переориентации с общих на локальные структуры жизни.

Итак, в СССР 70х гг. расширяется количество инстанций подавления (к самой советской власти сейчас добавляется целый каскад тоталитаризированных, потому что абсолютизированных локальных структур). А разве это не проявление (хоть и весьма своеобразное) процесса плюрализации жизни? А последний, в свою очередь, разве не выражение заимствования (хоть и весьма причудливого) советской властью плюралистического принципа западных демократий? А уже сам факт такого заимствования разве не говорит о том, что на самом деле (в определённых формах) имеет место конвергенция двух систем — тоталитарной и демократической? Внешне как будто да, но в сущности своей нет, ибо всё западное извращается, попадая на советскую почву, как в сказке драгоценные камни превращаются в глиняные черепки. Плюрализация становится плюрализацией тоталитарных инстанций. Вот и вся "либерализация"!

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ТОЛЬКО НА МАССИВНОМ И ЖИВОМ ЕСТЕСТВЕННОМ БАЗИСЕ ОБЩИХ СТРУКТУР, НА КОТОРЫХ УЖЕ СТРОЮТСЯ БОЛЕЕ ЛОКАЛЬНЫЕ. И для того, чтобы полноценно, раскованно и свободно жить этими локальными, необходимо сохранение базисных, которые несут в

себе ту подноготную человеческой общественности, в которой во всеединстве сливаются души и сердца.

В западных демократических обществах локальные структуры базированы на общих, в СССР же — оторваны от толщ человеческой общественности, и потому не способны обеспечить полноценное приобщение к сверхличному. Отсюда у человека ощущение глубокой внутренней неудовлетворённости. Последняя может быть скрыта и от него, и от окружающих, и может выявиться только при очень глубоком личном контакте (к которому советские люди вообще не приспособлены и от которого панически шарахаются, будучи при поверхностном общении способны произвести впечатление приятных и умиротворённых, на что "клюют" легковерные американские туристы).

Советские люди, лишённые общности, даваемой погружением в базисные — общие структуры — государство, нацию, религию, всё менее и менее способны понимать друг друга, сочувствовать друг другу, и потому всё более в глубине душ своих — озлобляются — на мир, на других, на самих себя.

Так и живёт советское государство, живёт без общественности, формально скреплённое, человеческое сообщество без души. И всякое решение его лидеров, внутри -ли, внешне -ли политическое, всегда оторвано от глубины общественного бытия, и потому неизбежно является произвольным и безответственным. И потому очень легко может оказаться разрушительным для всего человечества.

Виктор Зубов

ЗАБОТЫ ЧЛЕНА АНГЛИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА, КОНСЕРВАТОРА ФРЕНСИСА ПИМА.

1. Парламент перестал следовать воле населения (т. е. преследовать интересы страны в целом).

2. Проклятие неустойчивой экономики есть прямое следствие противоположных идеологий правящих партий.

3. Я (Френсис Пим) горячий защитник двухпартийной системы, но, если ее эффективность не будет быстро восстановлена, то публика потребует ее изменения и будет права.

Так, судя по газете "Дейли Телеграф", высказался на днях весьма знающий и авторитетный член английского парламента, консерватор Френсис Пим. Первые два положения его речи бесспорны. Однако третье вызывает полное недоумение, так как явно намекает на возможность однопартийного единовластия. Его речь отражает крайнее замещательство среди одной части как консерваторов, так и образованной элиты Англии вообще. Тогда как другая часть этой элиты всеми способами, включая и весьма неприличные (ложь, дезинформацию, потворство нарушениям действующих законов, насилию и разрушению), старается трансформировать страну в социалистическую. Такие видные консерваторы, как бывший премьер-министр Хит и его сподвижник Питер Волкер, придерживаются несколько туманных взглядов и не совсем ясной политики, тем не менее явно отдающими тем же социалистическим духом, так как стремятся к усилению государственной власти как средству для преодоления хаоса в стране. Конечно, как всегда, есть и третья часть элиты, которая либо "прячет голову в песок", либо не интересуется ничем, кроме своих узких обязанностей и личных удовольствий.

Трудно сказать, существует ли, вероятно существует часть консерваторов и, вообще, элиты, которая хорошо понимает положение в стране и скатывание ее в социализм и которая могла бы не только противодействовать этому скатыванию, но и найти выход из положения. Однако, будучи в меньшинстве, она предпочитает быть очень осторожной и не высказываться слишком откровенно. Что касается населения страны, то его голос крайне редко слышен, когда проводится какой-нибудь референдум или происходят выборы. Однако, даже и в этом

случае картина взглядов населения остается неясной, так как результаты референдумов и выборов определяются по законам Англии не большинством всех избирателей, а только той их частью, которая решила участвовать в референдуме или выборах. В довершение неясности позиции (если она существует) народа его голос обсолютно заглушается раздирающей уши какофонией голосов "представителей граждан", т. е. вождей целой серии огромных и мощных объединений граждан, включая, в первую очередь, монополии тредъюнионов, затем промышленных и банковских корпораций, государственного аппарата, охранителей природы и т. д. и т. п.. Все это создает впечатление абсолютного хаоса и обращает мысли многих англичан (смею заверить, не мои) к порядку, единовластию, постоянству единого национального планирования в СССР как антитезе этого хаоса.

В чем же, на мой взгляд, причина такого состояния? В основу жизни всех демократических государств были заложены несколько веков тому назад Хартии Свобод граждан, имевшие целью защитить свободу личности от вполне вероятных посягательств властей. Поскольку в течение еще большего числа столетий отдельному человеку непрерывно приходилось бороться с нарушениями его прав и с ущемлениями его деятельности, то постепенно каждое отдельное право возвысилось до роли фетиша, потеряв свой конкретный и очень важный для человека рациональный смысл. В то же время конституции, предназначенные выражать суть Хартий Свобод, часто представляли собой лишь сладкозвучные декларации с недостаточно конкретным содержанием. Это привело к тому, что вместе с развитием общества вводимые новые законы постепенно фактически лишали граждан целого ряда существенных свобод и, в первую очередь, свободы деятельности. В Англии, в стране, вообще не имеющей записанной конституции этот процесс зашел столь далеко, что граждане уже не могут ступить ни шагу, не нарушая тех или иных законов. Такой законодательный "корсет" на самодеятельность граждан привел к резкому понижению творческого и производительного потенциала и к резкому увеличению потребительской тенденции получения благ "от государства". В то же время, парадоксально, одно из полностью сох-

ранившихся прав граждан — право на неограниченные размером объединения привело к ряду крайне опасных и неожиданных последствий.

1. Потере населением права определять условия жизни в стране, так как это право оказалось передоверенным в пользу гигантских объединений граждан. В любых же гигантах связь их членов с вождями близка к нулю, а поведение гигантов определяется волей их вождей, если не целиком, то в первую очередь.

2. Передоверив свою власть, население оказалось вообще не у дел, потеряв и возможность решать вопросы своей жизни самостоятельно и возможность участия в управлении своей страной. Это привело к страшной потере позитивных целей, к деградации духовной жизни, к потере чувства локтя и к потере солидарности.

3. Пока гражданин мог распоряжаться своей судьбой, противоречия граждан между собой и между их не объединенными группами, как правило, завершались компромиссами (ничто так не способствует компромиссу, как ограниченность власти) и, статистически, безусловно в пользу общества в целом. Общество таким образом развивалось в статистическом соответствии с волей и желаниями его членов. "Уполномоченные" объединения естественно неспособны на компромиссы, чувствуя за собой огромную силу. Понятно, что их задача состояла в том, чтобы добиться особых привилегий для своих членов, естественно за счет членов других объединений или за счет членов общества, еще оставшихся без "защитников". Теперь уже ни один вопрос не завершается компромиссами между самими объединениями, а выливается в убийственное давление на правительство в противоположных направлениях.

4. В самые последние годы завершилось или завершается выдвижение в качестве самого всемогущего объединения монопольных тредъюнионов. Это явление объясняется тем, что тредъюнионы имеют в своих руках колоссальные привилегии, вырванные ими силой у разных правительств и ставящие их выше законов, распространяющихся, однако, на все остальные объединения и, конечно, на отдельных граждан. Эти привилегии дают им возможность применять к непослушным такие эконо-

мические и политические санкции, чтобы быть в состоянии подавить любой голос или деятельность, им неугодные. Фактически английские тредъюнионы превратились в "партию особого типа", вполне подобную КПСС, но располагающую значительно большим членством в 25% населения страны по сравнению с 7% КПСС.

5. Главные требования монопольных тредъюнионов: больше зарплаты и меньше работы, больше траты государства на все виды соцобеспечения, долой новые машины и усовершенствования, повышающие производительность труда в стране, но высвобождающие работников, долой прибыль, но повышай вложения (как видно, за счет манны небесной). Не трудно сообразить, что все без исключения эти требования ведут прямо к инфляции, к безработице, к увеличению нищеты. Производительные силы в хозяйстве страны (предприниматели, в погоне за исчезающей прибылью) находятся в безуспешной обороне. Это крайнее нарушение баланса между силами производства и силами потребления, характерное в разной степени для всех стран Запада, исключает всякую надежду на возвращение былого процветания, если, конечно, баланс не будет восстановлен. В особенности эта картина характерна для Англии.

6. Английское правительство и государство имеют казалось бы колоссальную власть: распоряжаются уже 60% дохода всей страны, являются прямыми хозяевами (работодателями) более чем одной трети всего количества работников в стране, владеют абсолютно всеми "командными высотами" хозяйства и, так или иначе, контролируют все остальное хозяйство страны. Тем не менее, английское правительство (как и большинство правительств нынешних демократических стран) абсолютно бессильно проводить долговременную политику в интересах страны в целом перед лицом давления прежде всего монопольных тредъюнионов, а затем также всех остальных гигантских монополий.

Этим положением дел объясняется, в первую очередь, идеологическое замешательство консерваторов и потеря целеустремленного политического единства. Многие из них, практически, включаются в хор "строителей социализма" в качестве неких подголосков. Лейбористы, состоящие на службе у

монопольных тредъюнионов и оплачиваемые ими, могли завершить трансформацию Англии в социалистическую страну буквально в год, выполняя, конечно, четкий заказ своих хозяев, если бы... не остатки права голоса избирателей. Избиратели же явно недовольны правящим ныне лейбористским правительством по простой причине падения уровня жизни в стране, высоких инфляции и безработицы. Поэтому лейбористы боятся потерять власть раньше, чем трансформация достигнет точки, после которой нет возврата. Характерным для данного периода является, таким образом, некоторый рост недоверия населения к сдерживаемой, но вполне отчетливой политике лейбористов, а также практическое отсутствие ясной долговременной альтернативы у консерваторов.

Легко видеть, что право граждан на объединения любого размера уже привело к потере ими многих прежних прав и, если существующая тенденция продолжится, то приведет к потере ими всех вообще прав оптом и к превращению всех граждан в рабочую скотину социализма. Эта нынешняя тенденция такова, что правительство (любое) в конечном итоге потеряет остатки своей самостоятельности полностью. Вся политика страны будет решаться вождями (политбюро) монопольных тредъюнионов, а парламент будет решения вождей штамповать, как Верховный Совет СССР штампует решения Политбюро КПСС. Конечно, эта нынешняя агония парламента может просто продолжаться неопределенно долгое время. Возможно, что и СССР подаст военную руку помощи, прекратит агонию раньше и принесет Англии совершенный порядок и единовластие социализма.

Так или иначе, но единственной альтернативой для сохранения гражданских прав является отказ или радикальное ограничение права на объединения, раскассирование всех огромных объединений и, в первую очередь, монополий тредъюнионов. Эта альтернатива приведет к расцвету и материальной и духовной в особенности жизни населения, возвратив ему свободу деятельности и устройства жизни в стране, заменив чувство голой зависти к соседу чувством локтя и чувством индивидуальной цели и смысла жизни. Естественно, можно будет ограничить функции государства только ему присущими, сократить

государственный аппарат и следовательно резко уменьшить налоги и другие поборы с граждан.

Приходится признать однако, что вероятность осуществления альтернативы очень мала: уж больно много людей рассчитывают подлечить свои истрепанные нервы, доверив распоряжение собой совершенному единовластию социализма. Во всяком случае замешательство и отчаяние Френсиса Пима вполне понятны и обоснованы.

А. Федосеев

П. Н. ТКАЧЕВ И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ

Ткачёв был одним из первых идеологов революции в России, читавших Маркса. Он соглашался с Марксом во многих принципиальных философских и политических вопросах.Так например, Ткачёв принимал один из основных постулатов марксизма о том, что экономический базис (у Ткачёва — экономический принцип) определяет сознание. Ткачёв писал, что литература, искусство, политические и экономические основы общества являются лишь отражением какого-либо экономического принципа.

Однако принимая этот основной тезис марксизма Ткачёв выдвинул свою собственную теорию о путях изменения экономического принципа в обществе или теорию скачка в истории. Основной вопрос здесь, это проблема капитализма в России. Как известно, Маркс был весьма заинтересован в развитии революционного движения в России, и в своей переписке с журналом Вестник Народной Воли, сделал ряд замечаний. которые были интерпретированы народовольцами как санкционирование особого пути развития России. Перескочить через ступень капитализма и через крестьянскую общину идти прямо к социализму. То есть, с точки зрения Маркса, капитализм в России ещё не окреп, ещё не пустил глубоких корней и это давало возможность (в понимании народников) совершить революцию не откладывая, сейчас-же.

Необходимо отметить, что отрицательное отношение к капитализму было характерно не только для радикального крыла движения, не только для умеренно-просветительского направления Лаврова и Михайловского, но и для славянофилов.

И те и другие отрицали капитализм и превозносили общину, но в силу разных причин; одни как путь к социализму, другие как исконно-русский традиционный институт коллективности, братства, всеобъемлемости патриархальной жизни. Известный зарубежный писатель С. А. Левицкий писал, что народничество унаследовало идею поклонения общине от славянофилов и привнесло в неё социалистическо-западническое толкование: "Народничество было движением славянофильским эмоционально и западническим идеологически". Тем не менее капитализм развивался в России и этому было всё больше доказательств.

Из статей Ткачёва становиться очевидным, что он соглашался с Марксом в двух фундаментальных вопросах: 1. Россия имеет уникальную возможность сбросить "ярмо капитализма", пока последний не пустил корней. 2. Если этого не произойдёт, то тогда Россия должна будет развиваться в соответствии с неизбежными законами капиталистического общества.

Логически Ткачёв пришёл к таким выводам, но практически, как радикал-революционер, он никак не мог принять такого пути. Ведь это бы означало, что десятилетия должны были бы пройти, прежде чем капитализм созрел бы настолько, чтобы свершилась социалистическая революция.

Суть психологии радикала-революционера в том, что он не может сидеть и ждать, пока неизбежные законы истории сделают своё дело. Это настолько же верно как для психологии Ленина, так и для психологии Ткачёва. Революционеру необходимо действие и поэтому для него существует необходимость обосновать теоретически возможность скачка в истории, а практически возможность для России перескочить через капитализм прямо в социализм. Впервые в русской революционной мысли этот вопрос был поставлен и разработан Ткачёвым, который предвосхитил Троцкого с его теорией перманентной революции. Выход в том, чтобы насильственно полностью уничтожить один экономический принцип и заменить его другим. Ткачёв конечно имеет в виду уничтожение экономического принципа капитализма и замену его новым экономическим принципом социализма. Корень теории Ткачёва в том, что пока один экономический принцип не утвердился и является слабым,

его можно с такой же лёгкостью уничтожить, как и стареющий и изживающий себя принцип. Такая насильственная замена одного экономического принципа другим и осуществляется скачком. Если на Западе капитализм пустил корни и его, по мнению Ткачёва, уничтожить было нельзя, пока он не исчерпает всей логики своего развития, то в России капитализм ещё только начался и его вполне можно было уничтожить вместе с государством, которое насаждало его и поддерживало.

Ткачёв видел, что община медленно отмирает, нарождается новый класс собственников, предпринимателей и фабрикантов. Наблюдая всё это Ткачёв осознавал, что (используя его терминологию) капиталистический принцип укреплялся и что с течением времени его теорию скачка будет всё более трудно применить. Ткачёв в отчаянии писал: "Шансы на успех насильственной революции будут становиться всё более проблематичны. Вот почему мы не можем ждать! Сейчас, или по крайней мере очень скоро, или никогда! Сейчас обстоятельства за нас, через десять, двадцать лет, они будут против нас!" Требование Ткачёва революции в ближайшее же время становится понятным лишь только в связи с его теорией скачков и оценкой перспектив развития капитализма в России. Радикал-революционер мог бы и ждать, если бы был убеждён, что время работает на него. Но если он пришёл к выводу, согласно своей теории, что время работает против него, он, наиболее вероятно, будет стремиться к действию решительно и не откладывая, пока ещё не поздно.

В статьях Ткачёва, более чем в статьях просветительского народничества, чувствовалось осознание неизбежности прихода капитализма, а следовательно и отсрочки революции.

Второе фундаментальное различие между системой взглядов Ткачёва и идеологией народничества проявилось в отношении к народу.

Как известно, народничество вообще, и хождение в народ в 1874 году в частности проходило под знаменем преклонения перед народом. Призыв служения народу, идея неоплаченного долга, стремление к просветительству, — вот собственно суть идеологии Лаврова. Его влияние было огромно, именно эти призывы побудили тысячи разночинцев, интеллигентов,

"критически мыслящих индивидуумов" иддти в народ.

У Ткачёва мы находим совершенно противоположные взгляды, оценки, призывы и планы. В противоположность всем народникам и славянофилам, превозносившим и идеализировавшим народ, Ткачёв заявил, что хождение это бесполезно и не нужно, что от народа ничего ожидать не приходится. Для Ткачёва народ был всего лишь нецивилизованной толпой, и "предоставленный сам себе, народ не создаст ничего нового". Почему Ткачёв, жаждущий революции, выступавший против нарождающегося капитализма, стремившийся во что бы то ни стало спасти общину, и утвердить свой новый экономический принцип, почему он ополчался на народ? Дело в том, что Ткачёву прежде всего нужна была революция, без отлагательств, его теория обосновывала возможность такой революции, но реальность говорила за то, что народ и не думает устраивать никакой революции. Народ вместо этого выдавал просветителей и агитаторов полиции. Народ интеллигентов городских не понял, отверг, остался глух к их проповедям. Как видно, всё это побудило Ткачёва писать: "Ни в настоящем, ни в будущем не может народ... осуществить социальную революцию.. ... социальные идеи чужды народу" Итак, Ткачёв не верил в хождение в народ, ни для того чтобы просвещять, как призывал Лавров, ни для того, чтобы поднимать народ на восстание, как учил Бакунин.

Негативная оценка Ткачёвым революционного потенциала народа была логически связана с его негативной оценкой и роли интеллигенции. Ткачёв не разделял преклонения Лаврова перед интеллигенцией и в своей статье "Разбитые иллюзии" называл интеллигенцию "цивилизованной толпой". Ткачёв не верил ни в способность народа, ни в способность интеллигенции произвести радикальную революцию.

Здесь особо важно отметить, что как взгляды Лаврова, так и взгляды Ткачёва на народ и интеллигенцию логически развиты и подчинены тому главному и определяющему в мировоззрении двух мыслителей, что составляет суть их учения. Если принять, что морально-этический протест против страдания народа является основной внутренней направляющей мысли Лаврова, то тогда его идеи служения народу, его просветительство становятся

совершенно понятным воплощением этой основной идеи. Если согласиться с тем, что для Ткачёва главной и основной ценностью была доктрина радикального мессианского переворота, то тогда его взгляд на народ, на интеллигенцию становится понятным, ибо ни те ни другие не могли тогда произвести переворот, как правильно понимал Ткачёв.

Однако встаёт вопрос, на что же надеялся Ткачёв, если он видел, что почва ускользает из под ног с развитием капитализма, если он видел разложение общины, если он не верил в бунтарский дух народа, как Бакунин, и не верил в миссию интеллигенции, как Лавров?

Как и Бакунин, Ткачёв считал, что русское государство не имело какой-либо сильной опоры в обществе. Народ повиновался в силу привычки, буржуазия была слишком слаба и сама нуждалась в защите, дворянство разорялось и сходило с исторической сцены. Всё это привело Ткачёва к выводу, что русское государство, т. е. самодержавие просто "висело в воздухе". Необходима "противосила", которая сумеет уничтожить государственную машину и привнести новый экономический принцип. Откуда же может появиться такая противосила? По сути дела, это центральный вопрос всей теории Ткачёва. Сердцевина его учения — его теория о "людях будущего".

Именно на них Ткачёв возлагал все свои надежды. Да иначе и быть не могло. Ведь, с его точки зрения не было в России других общественных сил, способных произвести столь желанную ему социальную революцию.

Люди будущего должны были по мнению Ткачёва сломать Царскую государственную машину, захватить политическую власть, отменить указом капитализм и установить новый экономический принцип производства. Отказ Ткачёва опираться на массы логически вёл к концепции людей будущего. Они одни могли выполнить столь трудную задачу.

Здесь важно отметить, что оппоненты Ткачёва в народничестве, решительно осуждали "деспотический утопизм" Ткачёва. Они утверждали, что Ткачёв подменяет понятие социальной революции понятием политической революции. Более того, читая полемику тех лет, невольно проникаешься чувством, что идеи Ткачёва никак не гармонировали с основными направ-

лениями развития общественных настроений. То есть теория Ткачёва была одной из целого спектра общественно-политических теорий, в котором она была едва заметна. И тем не менее, именно эта теория-предвестник ленинизма предсказала пути развития революционного экстремизма в России.

"Люди будущего" должны были быть просвещённым меньшинством. Но они должны были отличаться от "цивилизованной толпы", остальной интеллигенции одним качеством, — а именно: абсолютной приверженностью делу революции. Ткачёв так описывал людей будущего: "Все их цели в жизни подчинены только одной — победе их идеи. Они принадлежат этой идее настолько всеобъемлюще, что всё остальное не имеет значения и не может повлиять на нового человека, всё это просто не существует для него и неизвестно ему".

Вот какой портрет революционера-профессионала рисовал Ткачёв. Просвещённое меньшинство по Ткачёву, знало лучше, чем "апатичный тёмный народ", что нужно делать, за народ и вместо народа, но конечно же "во имя народа".

Социалистическая революция по Ткачёву должна была развиваться по такому сценарию: группа революционеров, "людей будущего" решительными действиями парализует правительство, захватывает власть, подчиняет себе государственный аппарат и лишь после этого начинает саму революцию, то есть радикальное преобразование общества насильственной политикой революционного правительства. Власть не должна выскользнуть из рук революционеров в какие-либо выборные органы. Ткачёв с поразительной откровенностью пишет о том, что наоборот, революционное правительство должно всячески укрепить эту власть и немедленно начать самую широкую кампанию агитации и пропаганды.

Народ воспринимается Ткачёвым не как нечто имеющее ценность само по себе, народ это лишь только объект воздействия революционной элиты. Доктрина революционного экстремизма выступает здесь особенно ярко, особенно отчётливо. Не ходить в народ с пустыми проповедями, как призывал Лавров, не разрушать захваченную государственную машину до основания, как требовал Бакунин, а захватить власть

помимо народа и используя эту машину перевоспитать народ посредством пропаганды.

Любую мысль, любую теорию современника Ткачёв неизменно преобразует таким образом, что она звучит по новому, по Ткачёвски. Вместо теории поступательного диалектического детерминизма вистории Маркса, у Ткачёва мы находим доказательство скачков, вместо идеи служения народу Лаврова, Ткачёв предлагает служение в виде тайной организации, действующей вместо народа и за народ. Вместо идеи стихийного восстания масс Бакунина Ткачёв ратует за то, чтобы оставить массы в покое и сделать всё за них, а потом перевоспитать и сами массы.

Отчаянная страсть к революции, сегодня же, сейчас, и осознание того факта, что объективных условий для такой революции нет, породило этот революционный экстремизм, который и является связующей нитью всей теории Ткачёва. Наиболее прямым последователем Ткачёва был Нечаев. По мнению современников Нечаев был малообразованным молодым человеком, плохо разбиравшимся в направлениях философско-политической мысли своего времени. Если Ткачёв был в известной степени теоретиком революционного экстремизма в России, то Нечаев был фанатическим последователем и практиком. Революция, по его мнению, должна была непременно свершиться в феврале 1870 года.

Он не занимался анализом марксизма или популизма. Его герой был Каракозов. По мнению одного историка цареубийство более всего занимало Нечаева, и он надеялся, что это послужит началом революции. Как и Ленина Нечаева интересовали в первую очередь вопросы практической революционной борьбы. Нечаева нельзя считать последователем Ткачёва в полном смысле этого слова. Нечаева привлекала любая теория, которая ставила своей задачей осуществить немедленно революцию в России. Поэтому Нечаев был одно время близок Бакунину и в результате их сотрудничества возник небезызвестный Катехизис революционера, по вопросу об авторстве которого до сих пор ведутся споры.

Бакунин вскоре разочаровался в Нечаеве. Этого аристократа-

бунтаря отталкивала циничность, фанатизм и полная неразборчивость в средствах молодого практика из России.

Нечаев взял лишь практическую сторону учения Ткачёва, а именно, стремление к немедленной революции. Но именно это стремление в своём логическом завершении означало дозволенность любых средств для достижения цели. Нечаевщина — это последовательное и циничное завершение революционно-экстремистской идеи Ткачёва, и в особенности теории о людях будущего. Совсем по Нечаевски звучат слова Ткачёва: "И действительно, человек, борющийся с современным обществом, для реализации своей цели имеет право не только нарушать общественные нормы, но и приносить в жертву счастье и даже жизнь других людей". Мысль, что "высшим людям" всё дозволено во имя освобождения народа связана с идеологией нигилизма и материализма, что так хорошо показал Достоевский в романе "Бесы". Воплощение Нечаевым идеи Ткачёва было на практике первым примером того, как отвлечённая революционно-экстремистская теория "высших людей" приводит к деспотизму, кровопролитию и насилию. Михайлов, один из ведущих деятелей Народной Воли писал:"... везде большинство имело только одно желание — кровавой войны с правительством". Свергнуть правительство силой, распространить террор, продемонстрировать обществу свою революционную решимость — вот какие идеи становились предварительными условиями выполнения программы Народной Воли.Народовольцы надеялись, что постоянный террор расшатает устои государства, накалит общественные настроения и в конечном итоге приведёт к падению режима. Политическая борьба с правительством не означала, по мнению народовольцев, прекращения борьбы с капитализмом. Эти две борьбы, два фронта, были взаимосвязаны, не даром, вторя Ткачёву, они провозгласили лозунг: "Бить по двум головам кровожадной птицы!". Сделать революцию самим, не обязательно опираясь на народ, свергнуть самодержавие и капитализм для народа — вот основные цели Народной Воли. Конспиративный центр партии, бесконечные планы цареубийства, многочисленные попытки его осуществления, т. е. тактика, принципы организации и деятельности Народной Воли — в некоторой степени пересекались с

теорией Ткачёва. Однако, сами народовольцы публично отрекались от Ткачёва и считали его теорию "деспотическим утопизмом".

Народовольцы искренне верили в то, что они не в праве узурпировать народную власть, они открыто утверждали, что были готовы её передать Учредительному Собранию народных избранников. В этом их отличие от Ткачёва. Если Ткачёв пренебрежительно считал, что "нецивилизованная толпа" — народ не знает, что хочет, то народовольцы, наоборот, были убеждены, что народ знает, и что ему нужно Землю и Волю.

Ленинский марксизм или большевизм является, безусловно, последовательным наследником учения Ткачёва.

И действительно, если поставить слова "пролетариат" вместо "народ", "партия профессионалов-революционеров" вместо "людей будущего", то получится большевизм чистой воды. Авангард пролетариата захватывает власть в свои руки, разрушает государственную машину, уничтожает сверху капитализм и разгоняет Учредительное Собрание, так как народ не знает и не может знать, чего он хочет. По этому поводу Ленин писал в 1919 году: "Историк Каутский забывает, что всеобщее избирательное право дает иногда мелкобуржуазные, контрреволюционные парламенты". Всеобщее избирательное право надо запретить и великий вождь (человек будущего) "поведёт тёмный народ в светлый рай социализма".

Но дело не только в программном сходстве доктрины большевизма с системой Ткачёва. Общее между ними прежде всего заговорщический революционный экстремизм. Уикс в своей книге о Ткачёве пишет, что Ленин очень чтил своего предшественника и в 1908 году писал Бонч-Бруевичу, что Ткачёва нужно читать членам партии в первую очередь, ибо он "ближе всех нам!". Оба, и Ткачёв и Ленин использовали марксизм таким образом, чтобы обосновать возможность захвата государственной власти. Оба они надеялись совершить революцию силами профессионалов-революционеров. Оба они всегда выступали против того, чтобы идти за народом или в народ, наоборот, авангард ("люди будущего") должны были вести народ. Идея элиты, совершающей насильственную, радикальную

революцию –- вот то общее, что связывает ленинизм с якобинством, бланкизмом и Ткачёвым.

"Ткачевизм" — это идейное течение настолько же русское, насколько и французское или немецкое, — это течение международное. Корнями оно уходит в якобинство и в течение 19 века нашло многих последователей в различных странах Европы.

Доказательство истоков большевицкого якобинства означает не связь с "варварской русской традицией", а связь с общеевропейским революционным экстремизмом. Историю большевизма давно уже необходимо пересмотреть как часть этого направления Европейской мысли. В её русском варианте Ткачёв занимает свое место.

В. Бровкин

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В РУССКОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ

С присоединением Польши в границы Российской империи вошла большая и компактная масса евреев и Россия стала страною с наибольшим еврейским населением. Но эта еврейская масса, войдя в Россию в течение долгого времени оставалась в ней совершенно инородным телом. Помимо официальной черты оседлости, отделявшей ее от русского населения, она и внутренне, добровольно замыкалась в свое национальное гетто. Строго блюдя свои особые нравы, обычаи, веру, одежду, она если и соприкасалась с христианскою культурою и в лице тонкого верхнего слоя подвергалась ее влиянию, то это была культура либо польская, либо немецкая, но не русская

Но с пятидесятых годов из общей еврейской массы начинают выделяться одиночки, отщепенцы, тянущиеся к русской культуре. Еврейская широкая масса встречает их как изменников родному народу и вере, отказывается от них как от еретиков, от блудных сыновей и на этой почве между еврейскими отцами и детьми происходят тяжелые драмы. Но еврейские юноши и девушки во все растущем количестве отрываются от семьи и среды и появляются на скамьях русских гимназий и университетов. В шестидесятых годах с наступлением эпохи великих реформ, когда русская журналистика и общественность испытали сильный подъем, можно было сплошь и рядом видеть, как отрываясь от талмуда еврейский юноша с энтузиазмом набрасывался на Писарева, на Чернышевского и запоем читал русские журналы. А с семидесятых годов с

усилением русского народнического революционного движения в его рядах уже встречаются еврейские юноши.

Воспитанное на пророческой еврейской религии, на религии устройства счастья человеческого на земле в этом, а не загробном мире, еврейское юношество было подготовлено к восприятию социалистического учения и с энтузиазмом, хотя и в небольшом количестве, становится в ряды русских революционных борцов. Но тут с самаго начала обнаружилась резкая, хотя долго не замечаемая разница в положении и настроении с одной стороны русского, а с другой еврейского революционера. У русских революционеров увлечение революционным движением и учением не только не было связано с тягостным процессом ухода и разрыва с родным народом и его идеалами и обычаями, но как раз наоборот, революционное русское народничество вдохновлялось страстным прославлением русского народного уклада, верований и обычаев... Оно не только не разрывало с ними, но весь социализм строило на идеализации их. В совершенно ином положении находились еврейские революционеры.

Социальная структура еврейского населения, его навыки и обычаи, его крепкая привязанность к традиционному быту не давали никаких оснований для народнических иллюзий и идеализаций. Еврейский народ не знал ни пресловутой общины или артели, ни власти земли, т.е. тех китов, на которых держался народнический социализм. Еврейским юношам-энтузиастам, захваченным волною социалистического движения, приходилось порывать с родным народом и слышать себе вслед горькие осуждения и отречения отцов.

Еврейское революционное юношество мирилось с этим, считая, что уходя от родного народа оно входит в великий мир общечеловеческого движения, которое перестроив мир на новых и справедливых началах этим самым разрешит и еврейский вопрос. Русские революционеры строили свои социалистические идеалы на идеализации, если угодно на консервировании народных патриархальных укладов. Еврейские революционеры-народники тоже идеализировали народ и его быт, но только не свой народ, а русский. Эта трещина в годы первого увлечения не сознавалась и не чувствовалась, но как увидим, она скоро дала себя знать, и в еврейское революционное, да и в революционное

движение других стран национальный вопрос начинал входить раскалывающим или во всяком случае осложняющим началом.

В частности первые еврейские социалисты не только в России, как мы увидим ниже, но и в Европе свой еврейский национальный вопрос совершенно не знали, не ощущали, топя его в общечеловеческом движении, которое попутно разрешит и еврейский вопрос, составляющий лишь его маленькую частицу. Так известный немецкий социал- демократ Эдуард Бернштейн вспоминает: "Для меня был невозможен или казался самой худшей реакцией взгляд на еврейство как на особую национальность" (Бернштейн. Воспоминания о Драгоманове. "Летопись революции". Берлин 1923 г. стр. 63).

Среди еврейских революционеров, увлеченных народническим движением, к этому убеждению, что евреи не являются нацией, присоединялась еще глубокая вера, что весь социальный и экономический строй, на котором построено еврейское хозяйство в полную противоположность русскому, исключает возможность создания социалистического движения на национальной еврейской почве. Таким образом и с социальной и с национальной стороны еврейским революционерам не оставалось ничего иного как влиться в русское революционное движение и в нем раствориться. И весь период семидесятых годов прошел под знаком этого полного слияния еврейского и русского революционного движения. Еврейский вопрос для еврейских революционеров семидесятых годов просто не существовал. Достаточно прочесть воспоминания еврейских видных революционеров этого времени, чтобы убедиться, насколько увлечены и ослеплены были еврейские революционеры семидесятых годов, не замечая трагического положения родного народа, прямо отворачиваясь от него в ожидании, что революция скоро появится и еврейский вопрос будет разрешен самым радикальным и окончательным образом.

Что касается русских революционеров самидесятых годов, то они сплошь и рядом смотрели на весь еврейский народ как на народ торгашей, посредников, эксплуатирующих чужой труд, не живущих трудами рук своих, да еще ко всему этому вносящих капиталистическую заразу в патриархальную русскую деревню. У отдельных русских революционеров вроде Южакова и других

это отношение к евреям принимало антисемитский характер, но у большинства это было глубоко социальное отталкивание, такое же, какое вызывали у них и отечественные деревенские кулаки, а здесь они весь еврейский народ считали погрязшим в торгашеском, капиталистическом грехе. К этому надо еще прибавить слепое обожествление русского мужицкого народа и убеждение, что русский социалист должен разделять все народные воззрения, хотя бы они были предрассудками и защищать не только интересы, но и идеи народа, его идеалы и идолов. А так как при этом русские народники были убеждены, что русский мужик не любит евреев и стремится избавиться от них, то и русский народник не может, не должен расходиться во взглядах с народом и вынужден смотреть на евреев крестьянскими глазами.

Подлинных евреев широкой трудовой и нищей еврейской массы русские революционеры при этом в большинстве случаев не знали и завороженные крестьянскою средою и деревенскою жизнью они там встречали евреев шинкарей, посредников, мелких факторов, вившихся около помещиков и выполнявших мелкие торговые дела.

Так длилось вплоть до восьмидесятых годов, когда убийство Александра II и вызванные этим события сразу переменили всю картину. Убийство Александра II-го вызвало инсценировку кровавых антиеврейских погромов на юге России... В апреле 1881 года вспыхивает погром в Елизаветграде, за ним в Киеве, Кишиневе, Балте, затем перебрасывается в Николаев, Одессу, Смелу, Лубны и т. д. В общей сложности произошло до двухсот погромов, убито, искалечено было много людей, разорена до тла еврейская голытьба. Толковалось это как месть евреям за их участие в революционном движении. Это участие чрезвычайно преувеличивалось с целью отвлечь народное недовольство на евреев и этим его разрядить, а с тем вместе этим путем хотели показать, что революционное движение в России носит еврейский характер, а русский народ не только чужд ему, но готов отомстить кровавыми погромами.

На самом же деле участие евреев в русском революционном движении никогда не было особенно значительным. В самом процессе цареубийц I-го марта была лишь одна осужденная

еврейка Геся Гельфман, да и то игравшая совершенно второстепенную роль. Известный революционер Лев Дейч, на протяжении долгих лет принимавший самое близкое участие в русском революционном движении, собрав на основании своего личного богатого опыта и литературы сведения об участии евреев в русском революционном движении пришел к тщательно проверенному выводу, что роль евреев в русском революционном движении и в частности в террористических актах была сравнительно скромна. В начале семидесятых годов, когда началось сильное революционное движение, говорит Дейч, все данные с несомненностью подтверждают, что евреи не только не являлись инициаторами русского революционного движения, но что к тому же они далеко даже не сразу примкнули к уже возникшей, предпринятой русской передовой молодежью борьбе. "Насколько могу припомнить среди нас, евреев, ни в эпоху хождения в народ, ни в последовавшем за нею террористическом движении не было ни одного популярного автора и ни одного оратора-еврея". Что же касается широкой еврейской народной массы, на которую царское правительство натравливало темную толпу, как на вдохновителей убийства Александра II, то как раз еврейская масса благословляла этого царя и за то, что он освободил крестьян и за то, что он не сделал специального зла евреям и если не улучшил их положения, то все же его несколько облегчил. Тот же Дейч вспоминает:

"Помню, лет до шестнадцати мне никогда не приходило на ум, что я чем нибудь отличаюсь от моих товарищей христиан. Правда, условия моего воспитания были отличны от обстановки, в которой росло много других евреев, но также ни в ком из моих сверстников евреев я не замечал выражения угнетенного состояния, подавленности и отчужденности. Всем этим, мы сознавали, мы были обязаны "доброму царю" и надеялись, что с течением времени мы получим полное уравнение нас в правах с русскими. Нам поэтому в течение долгого времени всякого рода революционные попытки казались не только излишними, но и крайне вредными".

Характерно, что в революционном движении антисемитизм находил свою почву. Так, "Чёрный передел" писал: "Откровенный, подчас насмешливый цинизм евреев в деле обирания не поддается описанию". И далее: "Когда взглянем на этого ловкого человека (еврея) рядом с добродушным и доверчивым хохлом, то вчуже жутко становится".

Нельзя сказать, что все подобные выпады тогда не встречали никаких возражений со стороны социалистических кругов. Эти возражения были, но запоздалые и вялые. Если центральный орган чернопередельцев готов был приветствовать еврейские погромы, то издаваемая чернопередельцами для рабочих газета "Зерно" занялась вполне уместными рассуждениями: "Между евреями не все богаты, не все кулаки, — писала она. — За что разорены бедные лачуги ремесленников-евреев? Отбросьте вражду к иноплеменникам и иноверцам. Помните, что все трудящиеся, какой бы религии и нации они не были, должны соединиться, чтобы действовать против общего врага".

Что такого рода элементарные рассуждения и убеждения необходимы были для темных невежественных громил, это понятно. Но непонятно и бесконечно печально, что такие вещи надо было пояснять русским революционерам.

Хозяйственная структура еврейского народа не только сама по себе вызывала осуждение народников-революционеров, но в ней видели носительницу капиталистической заразы, ведущей к капиталистическому грехопадению русской деревни. Таковы были социальные корни неприязненного отношения народников-революционеров к еврейскому народу. Что эта неприязненность вызывалась не антисемитскими, а социально-экономическими мотивами, показывает тот факт, что и евреи революционеры народнического толка так смотрели на еврейский народ. Известный революционер Гольденберг пишет в своей автобиографии: "Для нас в сущности, совершенно не существовали труженики евреи. Мы смотрели на них глазами обрусителей: евреи должны вполне ассимилироваться с коренным населением, как это уже произошло во Франции, Англии, Германии. Для нас существовал один только несчастный, обездоленный трудящийся люд, понимавший и говоривший на господствующем русском языке, к тому же главным образом занимавшийся земледелием и

отчасти только работающий на фабриках и заводах. Ремесленники причислялись нами чуть не к эксплуататорам".

"Так как большинство еврейских тружеников являлись ремесленниками и в то же время подчас не прочь были заниматься и какою-нибудь мелкою торговлею, то мы всех их готовы были причислить к дельцам. Поэтому пропаганда среди них социализма, да к тому же еще на "жаргоне" казалась нам если не вредною, то во всяком случае бесполезною тратою сил и времени". То же самое мы встречаем и в воспоминаниях другого еврея-революционера Льва Дейча. Он говорит: У нас было "ошибочное представление, будто ввиду всего прошлого и настоящего евреев — как неземледельческого народа, они не являются подходящим элементом для усвоения социалистических идей. Фабрично-заводских рабочих тогда среди еврейского населения, по крайней мере на юге, совсем почти не было, а евреи-ремесленники в глазах многих из нас мало чем отличались от мелких промышленников и торговцев, т. е. по нашему мнению, если они еще не были, то не прочь были при удобном случае сделаться "эксплуататорами". Поэтому надо было стремиться к тому, чтобы уничтожить современный строй, основанный на эксплуатации трудящихся масс немногими, а вместе с этим должны будут исчезнуть всякого рода посредники, в том числе и евреи" (См. Дейч. Роль евреев в русском революционном движении. Берлин 1923 г. стр. 109). Таким образом, и взгляды евреев-народников были близки ко взглядам русских революционеров на евреев как на народ непригодный для социализма и склонный сделаться "эксплуататорами".

Надо к этому еще прибавить, что революционеры-народники ждали скоро революционного выступления русского народа, направленного против всего капиталистического уклада общества и всех "эксплуататоров", к которым относили и евреев. Еврейские беспорядки представлялись при этих условиях какою-то зарницею народного восстания. Сегодня противоеврейские, они завтра разрастутся в общую революцию. Была даже сочинена теория, излагавшаяся на страницах "Народной Воли", что французская революция началась с еврейских беспорядков и что, как это не печально, но повидимому это такой уже исторический фатум, что революции начинаются с еврейских погромов. На основании каких исторических фактов был выведен этот "фатум", осталось

секретом автора. Но этот фатум очень нужен был для поддержания иллюзии, что Россия находится накануне революции и что еврейские погромы служат новым тому доказательством. Такова была та социальная, идеологическая почва, на которой взошел своеобразный народнический антисемитизм. Это не исключает, однако, того бесспорного факта, что отдельные народники революционеры были без этих идеологических аберраций и просто антисемитами. На страницах "Отечественных Записок" появлялись без всяких оговорок редакции статьи видного народнического писателя Южакова и иных явно антисемитского характера. Наконец и один из крупнейших деятелей и теоретиков "Народной Воли", знаменитый Лев Тихомиров был явным антисемитом.

Вульгарный антисемитизм свойственен был только отдельным народникам. Но как бы там ни было, когда разразились в восьмидесятых годах еврейские погромы, "Народная Воля" заняла по отношению к ним преступную позицию. И на этой почве образовалась трещина в отношениях между русскими и еврейскими революционерами. Пока дело шло о принципиальных позициях, евреи примыкающие к народникам готовы были отшатнуться от своего народа как "буржуазного", но когда прошла по всему югу России кровавая грязная волна еврейских погромов, когда раскрылась картина подлинных незаслуженных мучений еврейского народа, у евреев-революционеров, под влиянием народнического наркоза потерявших сознание и чувство своей национальности, это чувство пробудилось в острой и болезненной форме. Еврейская масса ответила на эти погромы усилившейся эмиграцией, с горечью и болью покидая родину-мачеху, а еврейские революционеры почувствовали трагедию еврейского народа и перестали смотреть на него через народнические очки.

Л. Дейч рассказывает, что Плеханов ему сказал: "Будь он так же как я евреем, то никогда не согласился бы действовать заодно с народовольцами, призывающими к избиению моих одноплеменников". "После антиеврейских погромов восьмидесятых годов, — говорит Дейч, — не только вообще интеллигентные евреи, но и некоторые революционеры евреи, раньше не чувствовавшие ни малейшей связи со своею национальностью, так как они

вполне ассимилировались с христианами, вдруг признали себя обязанными посвятить свои силы и способности несправедливо преследуемым их соплеменникам". Целый ряд евреев революционеров выражал свое возмущение отношением "Народной Воли" к еврейским погромам. Глубоко был ими взволнован и П. Аксельрод. Он в свое время пережил полосу горячего увлечения "общечеловеческим" социализмом, который, как ему казалось, упразднял, поглощал еврейский вопрос как производную величину. 14 апреля 1882 года П. Лавров пишет Аксельроду: "Я должен вам сказать, что признаю вопрос (еврейский) крайне сложным, а практически для партии, имеющей в виду сблизиться с народом и поднять его против правительства, и в высшей степени трудным. Теоретически его разрешать на бумаге очень легко, но в виду наличия народной страсти и необходимости для социалистов иметь народ где можно на своей стороне, это совсем иное дело". Так писал даже Лавров, у которого сильнее чем у других сказывалась этическая сторона социализма. Что это было не антисемитское, а социально-идеологическое заблуждение, свидетельствует тот факт, что к мыслям, выраженным в этом письме Лавровым, всецело присоединился и еврей Дейч. По поводу приведенного письма Лаврова, Дейч пишет Аксельроду: "Еврейский вопрос теперь действительно на практике не разрешим для революционера. Ну что ему напр. делать в Балте, где бьют евреев? Заступиться за них, это значит, как говорит Реклю, вызвать ненависть крестьян против революционеров, которые не только убили царя, но и жидов поддерживают. И приходится им быть между двумя противоречиями. Это просто безвыходное положение, как для евреев, так и для революционеров на практике."

Если для не очень разборчивого в средствах Дейча такое отношение к еврейскому вопросу со стороны революционеров казалось совершенно неизбежным, то далеко не все революционеры-евреи разделяли эту точку зрения. Наоборот, прокатившаяся волна погромов разбудила у них горестное чувство глубокой человеческой и национальной обиды и тоскливое сознание, что не только в русском обществе, но и в среде революционеров живет темное чувство национальных предрассудков.

Вспоминая об этом времени Аксельрод писал:

"Самое страшное разочарование испытала во многих мес-

тах учащаяся еврейская молодежь, когда увидела, что и социалистически настроенные элементы в средних и высших учебных заведениях относятся не только сочувственно к крестьянскому походу против еврейской массы, но и в своих отношениях к товарищам евреям в деле распространения революционных изданий и поддержки революционой партии, проявляют такое же грубое юдофобство, как и их папеньки и маменьки."

В героической истории русского народничества это антисемитское затмение коснулось лишь немногих и второстепенных народников и даже уже в тех же восьмидесятых годах вызвало решительные возражения со стороны немногих уцелевших вождей Народной Воли и нашло свою окончательную ликвидацию уже официального характера в статье Г. Лопатина.

Что же касается дальнейшего народничества, то в лице таких его представителей как Н. Михайловский, В. Короленко, В. Чернов и т. д., ему не только был чужд всякий антисемитизм, но они всегда являлись безоговорочными защитниками самой широкой и неограниченной политики равноправия и равноуважения для всех народностей и национальностей, и В. Короленко с одинаковою горячностью боролся против несправедливости по отношению к вотякам, как и по отношению к евреям. Во время процесса Бейлиса В. Короленко всего себя отдал делу защиты правды.

Ценность в постановке еврейского вопроса в народничестве заключается в том, что вопрос этот решался не только на правовой почве, но был нерасторжимо связан с общим миросозерцанием, требующим отношения к человеческой личности как величайшей ценности. Поэтому тут невозможно было то явление, которое наблюдается в советской России, где полное уравнение в формальных правах сочетается с жестоким насилием над национальною личностью евреев и фактическим истреблением, если не евреев, то еврейства в евреях. И наконец, народники были сторонниками широкой национальной автономии для всех народностей, включая и евреев.

Позднее, в 90-х гг. группа "Освобождение труда" во главе с Г. В. Плехановым,смотря глазами просвещенного европейца на еврейский вопрос считала элементарными и само собою по-

нятными все требования о равноправии евреев, но вплотную еврейским вопросом она не занималась и лишь по каким- либо конкретным поводам о нем высказывалась.

Девяностые годы были ознаменованы оживлением и подъемом революционного движения.

Как переменилась вся обстановка с семидесятых и начала восьмидесятых годов по сравнению с девяностыми годами! В черте еврейской оседлости создалось широкое и организованное массовое революционное движение и те самые еврейские ремесленники, которых русские социалисты семидесятых годов считали совершенно не восприимчивыми к социализму, сделались носителями массового социалистического движения, построенного на теоретических и тактических основах европейского социализма. И когда в 1898 году собрался первый съезд русской социалдемократической партии, то существовал уже еврейский "Бунд", объединяющий трудящиеся массы еврейского населения. Теперь уже русские и еврейские революционеры стояли на одинаковой платформе социализма и еврейские революционеры могли вести свою работу в рядах родного народа.

Еврейское социалистическое движение родилось и разрасталось в черте еврейской оседлости и охватывало еврейский пролетариат.

Но в таких крупных центрах как Харьков, Екатеринослав, Ростов и т. д. рабочее население по своему национальному составу было очень смешано и наряду с еврейским пролетариатом, бок о бок с ним на одном и том же заводе работали и русские рабочие. Неизбежно вставал вопрос о координации "Бунда" и Российской социалдемократической партии. Каковы должны были сложиться их взаимоотношения?

Должна ли была еврейская пролетарская партия рассматривать и вести себя просто как отряд российской пролетарской армии, лишь говорящей на особом языке и сохраняющей свои бытовые и национальные особенности? Или же еврейская рабочая партия должна была пользоваться широкою национальною автономией? И руководители "Бунда", и лидеры РСДРП стояли на платформе пролетарского интернационализма. Но российской социалдемократии не приходилось задумываться над русским национальным вопросом, ибо русские были в государ-

стве в подавляющем большинстве. Еврейский же пролетариат находился в особом положении и это создало почву, на которой родились и разрослись трения между "Бундом" и РСДРП. Под влиянием сильного роста еврейского национального движения "Бунд" все в растущей степени усваивал требования национального характера постепенно расширяя их.

На втором съезде Социалдемократической партии "Бунд" выдвинул требование, чтобы "Бунду" предоставлена была самостоятельная работа по всей России, поскольку в данном месте имеется еврейский пролетариат, при этом "Бунду" должна была быть предоставлена национальная автономия и вся РСДРП должна перестроиться на федеративных началах.

И в то время как еврей Мартов выступал с решительным протестом против национальных требований Бунда, русский революционер Акимов (Махновец) столь же решительно отстаивал требования Бунда. Это показывает, что борьба шла не по линии национальной, а по линии общего принципиального понимания задач национального и интернационального движения в их взаимоотношении. Требование Бунда было подавляющим числом голосов, и в их числе и голосами многих евреев-делегатов, отклонено и в знак протеста Бунд заявил о своем выходе из состава РСДРП. Этот разрыв между еврейской пролетарской организацией и общероссийскою, как я уже отмечал, прошел не по национальной линии, хотя и в результате отстаивания Бундом широких национальных прав. Но значительная часть евреев-революционеров выступала на этом конгрессе против требований Бунда и виднейший социалдемократ-еврей Мартов был решительным противником требований Бунда. Еще более решительным противником был Троцкий, который в своей резкой критике требований Бунда подчеркивал, что вопрос идет о "государственной" постановке вопроса. Тут между российскою и еврейскою партией было столкновение двух пониманий организации национальных пролетарских партий в многоплеменном государстве.

И на том же втором съезде РСДРП была принята резолюция Плеханова по поводу Кишиневского погрома.

Эта резолюция гласила:

"Ввиду того, что движения подобные столь печально извест-

ному Кишиневскому погрому, не говоря уже об их отвратительном зверстве, служат в руках полицейских средством, с помощью которого пытаются задержать рост классового самосознания пролетариата, съезд рекомендует товарищам употреблять все зависящие от них средства для борьбы с такими движениями".

Кроме того, Плеханов написал, отдельную статью по поводу еврейских погромов, в которой призывал рабочих к активной борьбе с погромщиками.

То явление, когда отдельные русские революционеры рассматривали еврейские погромы как зарницу революции и как расправу с "эксплуататорами", было окончательно изжито.

Всякого рода антисемитизм был совершенно изгнан из русского революционного движения.

Но это не устранило того, что еврейские революционеры помимо общероссийских преследований и бесправия, испытывали свои дополнительные.

В тесноте и обиде черты оседлости они повседневно были утесняемы и оскорбляемы как евреи и не только правительством, но и значительною частью русского общества и русской печати.

Этот комплекс болезненных чувств и размышлений был чужд русским революционерам и создавал между еврейскими и русскими революционерами известную глухую стену если не разномыслия, то разночувствия, как та, которая существует между людьми имеющими мать, и людьми имеющими злую мачеху.

У многих еврейских революционеров совершенно независимо от поведения и отношения русских товарищей, происходило накопление горечи постоянных национальных обид, которые русские товарищи не могли разделить и не всегда могли понять, и даже заметить. Мы находим в этом отношении яркую иллюстрацию в воспоминаниях Виктора Чернова. В. Чернов рассказывает, как он разговорился со своим товарищем-евреем Яковом Виленским о радужных перспективах открывающихся перед русской революцией. "Виленский, — рассказывает Чернов, — оказался странно холодным к моим сообщениям. Я горячо напал на него. И только тут для меня раскрылось то, что глубже

всего жило на дне его души, скрытым, как незажившая рана. Мы, евреи, сказал он Чернову, и без того издавна, без конца отдавали в жертву лучших сыновей нашего народа делу русской революции. Вы все ужасаетесь, когда читаете библейский рассказ об Аврааме, не задумавшись сына своего Исаака принести в жертву Богу. Но ваша революция была для нас долго, слишком долго — таким же требовательным Богом и сколько Исааков отдано было ему Израилем. Ужасались вы этому? Нет. Вы принимали как должное, вы требовали и продолжаете требовать от нас новых жертв. И чем вы платите нам за это? Кровь лучших людей нашего племени удобряет почву, на которой вы для себя соберете жатву, а мы на вашем пиру будем незваными гостями, которых гонят как назойливых нищих или как грабителей и воров. И если бы это было только в России. Нет, ведь это везде, везде. Нет, нам надоело растрачивать ради вас святую кровь детей нашего народа, надоело быть историческими поденщиками, каторжными работниками чужого дела". "И что меня поразило, — говорит по поводу этой горькой и неожиданной реплики В. Чернов, — так эта та долго накапливаемая горечь, которая вдруг перелилась через край его души, забила фонтаном обвинений, упреков, сарказмов, желчных выходок, огульных приговоров. Но сквозь эту огульность, чрезмерность, несправедливость, я чувствовал в его словах какую-то высшую правду, я ощущал себя перед ним без вины виноватым, на мне тяготел какой-то наследственный грех отцов, моих отцов перед его отцами." (В. Чернов. Записки социалиста революционера. Берлин 1922 год. стр. 74, 75)

Явление, отмеченное Черновым несомненно показывало, что многим еврейским революционерам радости и торжества революционного движения сплошь и рядом отравлялись горестными размышлениями и просто ощущениями "проклятого вопроса", существующего только для них и от которого избавлены были их русские товарищи, тем самым не могущие понять и разделить их чувства, которые они должны были таить про себя — русские ведь не понимают этого. Далеко не все еврейские революционеры были так настроены. Многие из них всецело объединились в своих настроениях с русскими товарищами, не испытывали национальной тоски и обиды и вместе

были проникнуты верою, что придет социализм и еврейский вопрос будет просто упразднен.

Когда пришла февральская революция казалось, что вековые мечты евреев сбылись и они стали равноправными членами Российской республики. Знаменитым декретом 20-го марта 1917 года Временное правительство отменило все законы и правила, лишающие евреев гражданских и политических прав и вполне уравняло евреев в правах и обязанностях с коренным населением России. Если, как мы видели, евреи испытывали двойное преследование и издевательство, и как революционеры и как евреи, то теперь их история вознаградила — они испытали двойную радость, и как революционеры и как евреи. Декрет Временного правительства показал даже наиболее оскорбленным и болезненно чувствительным в национальном свысле евреям, что русские революционеры, ставшие у власти, проявили широкую гуманность и для них евреи были такими же русскими гражданами, как и великоросы. Евреи получили освобождение из рук революционного правительства и узы, связывающие русский народ с еврейским, окрепли. Декрет, дав евреям все те права, которые получили и все российские граждане, вместе с тем раскрыл для них радужные перспективы в отношении развития национального быта, национальной культуры.

Но как правительство оказалось временным и даже кратковременным, так и полнота еврейского счастья оказалась кратковременною. Еврейство получило свободу из рук революционеров вместе со всем русским народом, оно и утратило эту свободу вместе со всем русским народом. Октябрьская революция, утвердившая власть большевиков, конечно не лишила евреев национальных прав. Но большевикам была и осталась чужда интимная и глубокая идея национальности вообще, а еврейской национальности в особенности. Ленин и другие советские деятели не считали евреев национальностью. Разрешение еврейского вопроса для Ленина заключалось в еврейской ассимиляции, в растворении евреев в массе коренного населения. Ленин в этом отношении, по существу дела шел дальше польских и немецких националистов. В Польше и Германии многие евреи, не считающие себя национальностью, называли себя поляками или немцами Моисеева закона. Но Ленин одновременно отрицал за

евреями и национальность и объявлял войну религии. Евреи таким образом, должны были, как считал Ленин, перестать быть и нацией и религией, они должны были сделаться евреями коммунистического закона, т. е. утратить всякое национальное лицо.

"Совершенно несостоятельная в научном отношении идея об особом еврейском народе, — говорит Ленин, — реакционна по своему политическому значению. Неопровержимым практическим доказательством этого являются общеизвестные факты недавней истории и современной политической действительности. Во всей Европе падение средневековья и развитие политической свободы шло рука об руку с политической эмансипацией евреев, переходом их с жаргона к языку того народа, среди которого они живут и вообще несомненным прогрессом их ассимиляции с окружающим населением. Неужели мы опять должны вернуться к самобытным теориям и объявить, что именно Россия будет исключением. Неужели можно объяснять случайностью тот факт, что именно реакционные силы всей Европы и особенно России ополчаются против ассимиляции евреев и стараются закрепить их обособленность." "Еврейский вопрос стоит именно так: ассимиляция или обособленность? И идея еврейской национальности носит явно реакционный характер не только у последовательных сторонников (сионистов), но и у тех, кто пытается совместить ее с идеями социалдемократии — бундовцев."

Ленин был чужд антисемитизма. Мы уже видели, что Ленин оставил в силе декрет временного правительства о гражданской и политической эмансипации евреев. Но Ленин этим не ограничился, не предоставил евреям устраивать свою национальную жизнь как они находят нужным и не предписывать им чувствовать себя национальностью или не чувствовать, стремиться ли им к ассимиляции или не стремиться, говорить им на идиш или на иврите или стремиться им в Палестину или не стремиться.

Всего этого Ленин не предоставил евреям и закабалив все население, лишив его возможности жить и веровать как оно хочет, он конечно не мог не распространить всего этого и на евреев. Евреи получили право разделить всеобщее бесправие. Но и тут евреям наряду с остальным населением пришлось нести дополнительную тяжелую долю. Их экономика всецело была

построена на тех социальных началах посредничества, торговли, мелкого ремесла, т. е. на тех хозяйственных основах, которые большевизм пришел уничтожить. Убогая еврейская экономика, державшаяся на курьих ножках мелкого предпринимательства, торговли и посредничества была как карточный домик снесена большевизмом. Лишенные связи с землею, непривычные и к фабричному труду, евреи не могли укрыться от этой хозяйственной бури. Что же касается духовной жизни, то и здесь с объявлением войны религии, с закрытием еврейских религиозных школ, рассеянные на необъятном пространстве России, евреи распались, утратили свою национальную и религиозную спайку, были фактически лишены права культивировать свою национальную культуру и сделались объектом принудительной денационализации и ассимиляции.

Ленин был чужд антисемитизма, но никакой антисемитизм не мог бы так основательно подорвать самые корни еврейства, как это сделали большевики. Русское еврейство находится в процессе национального вымирания. Вместе со свободною русскою общественностью исчезла и еврейская.

П. А. Берлин

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Д. И. Чижевский

Скончался один из самых замечательных эрудитов и ученых нашего времени. Еще трудно подвести итоги, сказать о всех заслугах покойного в разных научных областях. Профессор Дмитрий Иванович Чижевский был русско-украинско-немецким ученым необычайной широты и глубины интересов, кладезь живого знания и всегда оригинальной мысли. Мне удалось познакомиться с Д. Чижевским в Праге. Говорили мы с ним обычно по-русски, но иногда и по-украински. По образованию и началу научной деятельности на юге России Чижевский был математик-астроном. Вскоре он стал считать, что хотя математика *знает*, но СЛОВЕСНОСТЬ движет жизнью людей. Д. И. обратился к философии, истории и литературе. Во всех этих областях вклад его очень велик, ко всякой проблеме Чижевский умел подходить по своему. Его работы о Достоевском, Гоголе, Яне Коменском, о стиле галицко-волынских и русских летописей произвели почти переворот в методе и смысле изучения летописей и части древне- русской (по Чижевскому украинско-русской литературы). Чижевский одинаково хорошо владел русским, украинским и немецким языками, ряд книг и был им написан на этих трех языках. Разве не интересно, что немцам он читал лекции о Гегеле по-немецки, в Обществе имени Достоевского - по-русски, в украинских учреждениях - по-украински.

Прежде чем кратко указать на интереснейшие работы покойного, хочется сказать нечто о сердце, о душевности Д. Чижевского. Он и акад. В. А. Францев особо защищали и поддерживали начинающих ученых. Когда, напр., редакция одну мою чешскую работу захотела сократить, а из нее что-то добавить в статью чешского ученого, Чижевский стал на мою сторону, посоветовал взять статью и дать ему. Статью, несмотря на свою занятость, лично перевел с чешского на блестящий немецкий язык и издал в одном из своих сборников. Он же, как и Н. Лосский й Ю.А. Яворский, старался в своих работах делать, где только можно, ссылки на работы начинающих ученых, чтобы протолкнуть юных и безымянных в ученый замкнутый круг. Обладая огромной работоспособностью Д. И. был защитником духовности в человеке. В своей работе "Достоевский-психолог" он яростно атакует в разных формах "развившееся учение о секундарности психического бытия, о его эпифеноменальности, о его полной зависимости от внешних факторов, о зависимости человека от "среды", об "определении сознания бытием" и т. под., которое вообще сводило на нет, зачеркивало всю проблематику человека как такового." С усмешкой Д. И. писал: "Если даже и признать правильною формулу Фейербаха: человек есть то, что он ест, то все же нельзя подменить науки о том, кто ест, наукой о том, что этот кто-то поедает". А это делалось сплошь и рядом! Чижевский же требовал в психологии изучения продуктивности мышления, смысла волевой и эмоциональной жизни человека, единства его существа, его места в мире. Наш ученый возмущался тем, что под словом "человек" — антропос, стали разуметь наименее человеческое в человеке - его материальное бытие. О Достоевском Д. И. проникновенно заметил: "В творчестве Достоевского стучится в сознание века, оторвавшегося от многовековой философской традиции, идея иерархичности человеческого бытия. Она открыта ему, как великому художнику-антропологу (мы намеренно не говорим - психологу), как мыслителю и прежде всего как религиозному мыслителю... Можно сказать, что творчество Достоевского является новым этапом в развитии традиционного иерархического учения о душевной жизни и что в нем заложен фундамент для возрождения в

преобразованных формах этих учений." Чижевский справедливо указывал на значение Ф. Шиллера для анропологии Достоевского в своей статье "Шиллер унд ди "Брюдер Карамазов" в "Цайтшрифт фюр славише филологи", VI, 1-2, 1929. В "бессознательном" у Достоевского Д.И. в отличие от школы Фрейда, находит не только темное начало, но "источник откровений и пророчеств, творчества и преображения личности". Д.И. широко развернул перед читателем все огромное богатство мыслей Достоевского и всю насыщенность его творчества прочитанным и переработанным из европейской философии и христианской литературы. Гегель подобно Г. С. Сковороде, был против рационализма французской революции 1789 года и выступал против "неподвижной" идеи так наз. "просвещенства". Об этом подробно писал Чижевский по-украински в статье "Гегель и французьска революция" (См. "Наук. Збірник Педаг. Інституту в Празі, Т. 1 / 1929/). Д.И. сравнивал взгляды Гегеля и Достоевского на мертвящую идею "просвещенства". О религиозно-духовной стороне человеческой личности Чижевский нередко писал в журнале "Путь" (Париж), говоря о идеях В. Соловьева, В. Розанова, Бухарева и др. Подписывался он там нередко псевдонимом Андрей Карпов. Книга нашего эрудита "Гегель в России" была переведена в 1961 году на немецкий язык. По-английски он издал в бытность в пятидесятые годы профессором в Харвардском университете (Позднее Чижевский вернулся в Западную Германию) "Введение, текст и комментарии к "Евгению Онегину" (по-английски). В этом труде ценны все заметки о галлицизмах, о значении слов- терминов, о месте и роли авторского голоса в поэме и др. Этот труд вышел в 1953 году. Чрезвычайно оригинальна работа Чижевского о "Лабиринте мира (света) и рае сердца" Яна Амоса Коменского, великого педагога, толкнувшего англичан к изданию первого энциклопедического словаря, философа и гуситского типа мыслителя. Д. И. подверг внимательному анализу лексику и стиль Коменского, и верю, что доказал высокую художественную ценность этого призведения автора "Дидактики" и мечтателя об "Унум нецессариум". В Гамбурге в 1961 году вышла книга " Дас Хайлиге Руссланд". Чижевский разбирает в ней историю идеи и легенды в связи с Москвой и Москвой Третьим Римом и другие -

легенды типа о Китеже. Годом ранее вышла книга Чижевского "Хистори оф Олд Руссиан Литерачур", в С. Гравенхаге. В Бостоне (1953) — книжка "Оутлайн оф Компаратив Славик Литерачур", а по- немецки очень ценная "Парадиз унд Хёлле" (1957 г. - Рай и ад). Здесь Д. И. разбирает изображения рая и ада и рисунки и текст в древних литературах. Любитель и знаток живописи Д. И. совместно с художником и пушкинолюбом Н. Зарецким издал "Руссише Дихтер, алс Малер унд Цейхнер" (1960 г.) Рисунки знаменитых писателей и поэтов XIX и первой четверти XX века воспроизведены очень хорошо и часто в красках. Авторы не поместили ничего сомнительного, как, напр., рисунки Н. Гоголя к "Ревизору", а дали лишь несомненное. Комментарии и введение весьма полезны и убедительны. Кроме древней литературы и истории украинской литературы (приложен и портрет Чижевского) он писал и о значении барокко для Украины и славян, дал новую интерпретацию подхода Гоголя к изображению действительности и влияния на него немецкой романтики в "Новом журнале", в сборнике "Антон Чехов" (Лейден, 1960). Тут в немецкой статье Д. И. разбирает своеобразие Чехова-художника слова и указывает то особое место в развитии русской литературы, которое по праву занимает Чехов, как предваряющий символизм в ряде своих импрессионистических произведений.

Как пример широты охвата и разносторонности интересов покойного ученого хочется привести содержание его украинской большой статьи о новейших достижениях в области астрономии и астрологии. Чижевский без предвзятости приводит факты и сравнивает ряд исторических событий параллельных изменениям в сфере небесных тел (влияние солнечных пятен и т. п. на психику людей). А сколь интересны замечания в истории древне-русской литературы о легендах летописи (напр., смерти Олега) и скандинавских сагах, или о философах и поэтах Германии, повлиявших на Ф. Тютчева. (В работе об этом лирике).

Дочь Чижевского Татьяна доставила отцу искренное удовлетворение своей серьезной работой о словарном составе "Слова о полку Игореве", до советской работы на эту тему вполне закончив и дополнив работу о лексике "Слова" Елпедифора Барсова XIX века. Приятно думать, что есть продолжатели

трудов проф. Чижевского, но грустно, что КЛЭ, упоминая о всякой историколитературной мелюзге, о всяких мушках и букашках, пропустила такого ученого без упоминания. По этому поводу позволю себе и пророчество: выйдет через год-два дополнительный том, том девятый и вот в нем, полагаю, выйдет нечто и о покойном. Это не раз и не два случалось в СССР, ибо умершие уже не беспокоят там живых. Восьмидесяти трех лет отошел в лучший мир раб божий Михаил, что не зарыл свой талант в землю, а пером и словом ратовал за свободу духа и объективность научного исследования. Так он работал и над древними рукописями и над словарем личных имен в творчестве Достоевского.

Р. Плетнев

В. В. НАБОКОВ

2-го июля, после долгой болезни, скончался Владимир Владимирович Набоков. Ему было 78 лет.

Кажется, Набоков единственный в мировой литературе писатель, который вырастил свой собственный литературный почерк на двух языках. Один из французов — друзей Тургенева, уговаривал его писать по-французски. Тургенев ответил: — Могу, но не хочу. А Набоков и мог и хотел и стал большим английским писателем.

Весь англо-саксонский мир его признал. Джон Линард в *Нью-Йорк Таймз* писал: Набоков единственный еще здравствующий литературный гений. И не только он так думает. Но не знаю ни одного русского критика или читателя, который назвал бы Набокова гением, хотя его изумительный дар был оценен еще в начале 30-х г. г., после опубликования *Защиты Лужина* в *Современных Записках*. Георгий Иванов Набокова высмеивал. Отзывы Георгия Адамовича были отрицательные. Снисхо-

дительнее был Владислав Ходасевич. Более высокую и проницательную оценку дали М. Л. Слоним, В. С. Варшавский, Н. А. Андреев, Г. П. Струве, Герман Хохлов и некоторые другие. Многие зачитываются им в Сов. России. А. И. Солженицын назвал его диковинным писателем.

Англичане и американцы писали о нем книги — это, напр., *Ключ к Лолите* Карла Проффера или монография Андрю Филда. А по-русски были только статьи. Не сомневаюсь: будут написаны о нем русские фолианты. Может быть, поставят ему и памятник, им самим описанный (не без иронии):

Но как забавно, что в конце абзаца,
Корректору и веку вопреки,
Тень русской ветки будет колебаться
На мраморе моей руки.

Набоков — это, прежде всего (но не исключительно) игра слов, звуков — по-ученому, по-гречески парономасия. Или — каламбур — и на самом высоком уровне искусства. Он вовлекает в свою изумительную словесную игру русские и английские слова — забавные даже в тех случаях, когда развертывается трагическая ситуация, как в *Приглашении на казнь*. Читатель может пожалеть "приглашенного на казнь" Цинцинната Ц. или русского швейцарца Эдельвейса, готовящегося совершить *Подвиг* (может быть, он намеревался убить Сталина...). Но не улыбнулся ли бы тут Владимир Владимирович? Может быть, "вызывание" жалости было для него только одним из литературных приемов. Веселый бес иронии почти никогда не покидал его.

Комика Набокова восходит к английским "детским рифмам" или к полуабсурдным лимерикам, изобретенным британским гением. Один из них он перефразировал по-русски:

Есть странная дама из Кракова:
орет от пожатия всякого,
орет наперед
и все время орет —
но орет не всегда одинаково.

(впрочем, и мы когда-то твердили чепуху: Пляшет дьякон в лихорадке, / Просит жареного льду/ Положить ему на пятки...).

Чем-то Набоков обязан Льюису Кэроллу, и его книгу *Алиса*

в стране чудес он перевел на русский язык за 5 долларов... Но не более ли всего обыграна им, и не только в русских, но и в английских книгах, русская литература (и по существу, он был только русский, а не кто-либо другой). Родственны ему и нелепости Ноздрева (субтильное суперфлю) и Лебядкина (Краса красот сломала член), кошмары Сологуба (Недотыкомка серая) и Белого (господин Шишнарфнэ), словечки Бунина (Петухи опевают ночь) или абсурд, врывающийся в интеллигентский быт Чехова (Тарарабумбия, сижу на тумбе я). Всех этих "штучек" у Набокова нет, но имеются их эквиваленты. Это не подражание, а косвенное воздействие. К тому же, игра слов у Набокова едчеметче, чем у многих его литературных родственников.

Сколько у него поразительных словосочетаний. Этим комбинациям нет числа, как ходам на шахматной доске или узорам на крылах бабочек (и он, напомним, был замечательный шахматист и лепидоптеролог).

Словесные игрища Нобокова забавляют, радуют. Но в них или за ними нет настоящего бытия. Всюду, как утверждал экзистенциалист Мартин Хейдеггер: ничего ничевочит (Das Nichts Nichtet). Но есть бытие в его лирике (преимушественно в прозе), в его автобиографиях: и об этом речь ниже.

Ничевочанье или ничевоканье виртуозно изображено им в его недавней английской повести *Прозрачные предметы.* Перевожу оттуда (едва ли удачно) эпилог. Главный герой Парсон, американский редактор, в припадке безумия задушивший свою жену (она русского происхождения). Он сгорает в швейцарском отеле: "Разноцветные расплывающиеся круги, маячившие около него, напомнили ему детскую картинку в жуткой книжке, где около мальчика в ночной рубашке все быстрее и быстрее вертелись торжествующие овощи. Он в отчаянии и хочет избавиться от этого яркого головокружительного бреда. Напоследок ему привиделась раскаленная книга или коробка — совсем прозрачная и пустая. Это и было *оно:* не кричащий страх смерти, а ни с чем несравнимая боль, которая необходима для перехода из одного состояния бытия в другое.

Это, знаешь, легче делается, сынок".

Ужасна огненная смерть. Может быть, еще ужаснее то, что сгорел человек, который только притворялся живым на полу-

тороста набоковских страницах. Сгорело *ничего,* которому все же очень больно.

Не подтверждает ли Набоков шпенглеровский *Закат Запада,* включающий и Восток — дореволюционную Россию, блестящий упадок — без веры в Бога и доверия к человеку. Но такая философия истории вызвала бы у Владимира Владимировича иронической улыбку. Он мог бы сказать: — Шпенглер: претенциозный немец...

Самая эпохальная (как выразился бы Белый) книга Набокова — уже упоминавшееся *Приглашение на казнь.* Эта отрицательная утопия, как мне кажется, художественно превосходит все другие: Достоевского (Хрустальный дворец), Валерия Брюсова (Республика Южного Креста), Замятина (Мы), Чапека (Р. У. Р.), Хаксли (Прекрасный новый мир) и Оруэлла (1984). Набокову привиделся не тоталитарный коммунизм в сверхиндустриальном будущем, а более жуткое торжество жестокой пошлости на руинах индустриализации (где-то на задворках ржавеет самолет и люди опять обратились к конной тяге). Обитатели этого захолустного мирка — неопределенной национальности. Тюремный сторож — русейший Родион, палач — Пьер, главного героя Набоков наградил римским именем. Его жена блудливая Марфинька... Граждане утопии — самодовольные полуидиоты, которые приглашают Цинцинната на казнь оттого, что он *другой* — зрячий, видит красоту, способен любить. Гротескна подстроенная этими людьми будущего "трогательная дружба" палача и его жертвы. Весь этот тихий ужас (пошлости с примесью сентиментальности) страшнее фантазий других "отрицательных" утопистов. Уже на плахе Цинциннат догадывается: это все подделка и вот на его глазах начинают распадаться и эшафот и людишки. Его осенила та же счастливая догадка, что и девочку Алису (Льюиса Кэрролла), окруженную злыми силами. Она крикнула им: — Вы только колода карт! И карточный домик зла рассыпался.

Самый живой человек в повестях Набокова он сам — в автобиографическом *Даре* и в воспоминаниях: русских (*Другие берега)* или английских *(Говори, память).* Здесь главная тема: становление художника, который на самом деле жил, страдал, радовался, трудился. О нем не скажешь: уж не пародия ли он?

Нет пародийности и в лирических "пассажах" Набокова, напр., в рассказе о старой гувернантке, швейцарской француженке. В юности его восхищал ее "соловьиный голос, исходящий из слоновьего тела". и ей посвящена эта хвалебная и архаизированная фраза: "Сколь возбудительно и плодотворно действовали на меня прозрачные звуки ее языка, подобного сверканью тех кристаллических солей, кои прописывались для очищения крови". А последняя-вечная память о ней связывается для Набокова с виденным им на Женевском озере старым лебедем, который в непогоду старался забраться в шлюпку, и вот перед ним возникает тройственный образ: "лодка, лебедь, волна" *(Другие берега)*. Это конечно не пародия, а скорее стилизация элегии: не Ламартина ли, любимого поэта лозаннской старушки. Тот же элегизм есть и в одном из лучших коротких рассказов Набокова: *Озеро, облако, башня,* где он до блеска, до сияния отполировал казалось бы давно потускневшие "красивые слова" этой триады.

Немало "ничевочащего" небытия в мире Набокова. А истинное бытие дышит, переливается не в набоковских героях, а в нем самом, в его искусстве, в его памяти, созидающей "вне дьявольского времени, но очень даже внутри божественного пространства". Радостно, понятно — испытываемое им и не поддающееся определению блаженство жизнелюба-художника. "Это вроде какой-то мгновенной физической пустоты, куда устремляется все, что я люблю в мире", пишет он в тех же *Других берегах*. Это вроде мгновенного трепета умиления и благодарности, обращенной (...) не знаю к кому и к чему, — гениальному ли контрапункту человеческой судьбы или благосклонным духам, балующим земного счастливца".

Пожил бы еще и одарял бы этим блаженством.

Юрий Иваск

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ЧТО Я ПОМНЮ О Г. И. ГЮРДЖИЕВЕ

Вот что мне рассказывал мой муж, Н. Н. Евреинов о своей первой встрече с Гюрджиевым: — Было то в Петербурге, не то перед самой войной, не то уже во время войны 1914 года. (Сама я конечно этого не знала, т. к в это время еше училась в гимназии). В то время в столице вдруг завелась мода на всяких иогов, магов, восточных мудрецов и прочее. И как всякий спрос определяет и предложение, развелось их у нас великое множество. Сестра моей приятельницы Наталии Бутковской Анна (обе были дочерьми очень почтенного нотариуса) тоже где-то выкопала такого "восточного мудреца" и сначала привела к себе домой, а потом ввела его и во многие петербургские салоны. Был он необычайно эффектен: пронзительно смуглый, с властным гипнотизируюшим взглядом горящих черных глаз, всегда безупречно одетый во все светлое, так подчеркивающее экзотическую смуглость. А главное: — он умел обольшать дам, тоскуюших по всему "необычному", что и было ключем, открывшим ему двери салонов, где царила обстановка поисков "искусственного рая", откровений спиритизма, а превыше всего просто чувственных переживаний, но непременно на базе не то богоискательства, не то сексоискательства. Недавно перечитывая статью Ходасевича о Нине Петровской (Некрополь) — (прототипе "Огненного ангела" Брюсова — впоследствии прекрасной оперы Прокофьева) я очень ясно ощутила эту душную атмосферу нашей столицы того времени. Такая атмосфера всегда как нельзя лучше взращивает магов, волшебников, которые и завладевают светскими дамами и которые отнюль не гнушаются их дарами — деньгами, связями и др.

Анна Бутковская конечно была любовницей Гюрджиева, как и многие дамы его окружения, где царила интеллигентская распутиновшина, на фоне которой воцарился Гюрджиев в ореоле восточного мудреца. Как то все проглядели, что перед ними был просто развязный армянин,

почти полуграмотный, говоривший плохо по-русски. Сексуальный гипноз у него был огромный, внешность эффектная, аппетит к дамскому полу ненасытный.

Еще бы год-два и Гюрджиев конечно создал бы нечто "высоко духовное" на сексуальной почве, но уже шла война, а за нею "бескровная" революция и салоны опустели: их владельцы разлетелись в разные страны. Дальше рассказ Евреинова переносится на Кавказ, а именно в Тифлис.

— Иду я — говорил он — по Головинскому проспекту. Было это не то в конце 1919, не то в начале 20 года. И вдруг слышу:

— Николай Николаевич, это действительно вы сами? — Смотрю — Гюрджиев! — Мне как раз вас нужно!

В этот период своей жизни Евреинов странствовал по югу России (будучи отрезан от севера гражданской войной) и конечно чувствовал себя очень одиноким и потому искренне радовался каждому дружескому лицу.

— Чем же я могу быть вам полезен? — осведомился он как всегда несколько аффективно вежливо, манера оставшаяся у него от Училища правоведения.

— А это разговор длинный. Мне надо с вами встречаться, чтоб толково объяснить.

Они действительно стали встречаться. Гюрджиев был, что называется, "не дурак выпить", Евреинов тоже. Тифлисские духаны с осетриной, ракия, кахетинским вином посещались исправно. Платил за все Гюрджиев. Евреинов будучи в стесненном материальном положении сначала охотно принимал угощения, но чувствовал, что Гюрджиеву нужно от него что-то совсем другое, чем выпивка в компании. Наконец, "маг" обнаружил свои намерения.

— Вы литератор, философ, Николай Николаевич, а мне вот нужно дать литературную форму программы того учреждения, которое я собираюсь устроить в Париже.

И действительно, оказалась, что нужно дать пространную программу для "Института гармонического развития", как ее оформил Евреинов, по несвязным малограмотным наброскам самого Гюрджиева.

— Мое "оформление" ему очень понравилось — рассказывал муж — Он мне за него еще заплатил какую-то сумму денег и наконец, когда

мы оба были сильно "под шафе" сказал: А теперь еще мое вам предложение: едемте с нами заграницу, ведь мы скоро все уезжаем в Европу.

— Кто это "мы"? — опешил Евреинов.

— А вот я, композитор Гартман с женой, художник Зальцман тоже с женой и еще несколько человек. В Константинополе у меня есть ковры, будет на что начать жизнь заграницей.

— При этом — рассказывал муж — он так сверлил меня глазами, что я ощутил явное гипнотическое внушение с его стороны. Этот факт насильственного гипноза меня сразу насторожил.

Надо сказать, что сам Евреинов когда-то занимался гипнозом и, как специалист, сразу уловил "технику" Гюрджиева, которой тот владел очень ловко и широко применял ее в общении с другими.

— Это меня сразу оттолкнуло от Гюрджиева и я перестал с ним встречаться, как он меня ни соблазнял кавказскими подвальчиками и кахетинским. Вскоре я уехал на север и наконец попал в Петербург, где встретил тебя.

*

Весной 1925 года мы приехали в Париж, легально увезя с собой очень малую сумму долларов. Правда у меня был большой изумруд, муж подработал в Варшаве, затем получил аванс в Праге от агентства Центрум (под будущие европейские авторские гонорары). Но все в конечном счете оказалось очень незначительной суммой и ее хватило бы ненадолго. А почти за год во Франции Евреинов получил ... 20 фр. авторского гонорара. Поэтому нужно было спешно думать о будущем. А для этого надо было видеться с людьми, уже как-то устроившимися заграницей. Та же Анна Бутковская, ставшая к тому времени миссис Хьюит (она вышла замуж за англичанина, моряка, безнадежного пьяницу и поселилась в Париже, промышляя "кутюром" среди наезжавших англичанок) посоветовала мужу поехать в Фонтенебло к Гюрджиеву, где по ее словам у Гюрджиева был собственный замок и неисчислимые богатства. Муж написал ему и тотчас же получил телеграмму с приглашением приехать на все лето.

Мы решили съездить на уик энд.

Очень хорошо помню мое впечатление от первого визита в Фонтенебло. Огромный прекрасный парк, полный цветов. При входе большой дом, думаю комнат на 20, где жила вся колония — в числе

жителей были и мать и брат Гюрджиева, обычные патриархальные полуграмотные армяне. Дальше в парке — театр службы, скотный двор и.. баня(о ней скажу позднее). Это прекрасное имение называлось Приерэ де Басс Лож и мне сказали, что когда-то оно было подарено евреями всего мира защитнику Дрейфуса. Судя по имени до того оно было католическим монастырем.

Когда войдя в ворота мы спросили Георгия Ивановича, то нам указали на парк. Там под деревом сидел он сам. Теперь это был слегка обрюзгший, неряшливо одетый, с глазами пьяницы, с грязными ногтями человек — впечатление самое неприятное. В довершение всего он сразу же начал — под видом назидательной восточной мудрости — рассказывать смачные похабные анекдоты, называя вещи своими именами. Меня, что называется "передернуло". С недоумением я смотрела на мужа: куда мы попали? Подошли другие обитатели Приерэ: Жанна, жена Зальцмана, жена философа Успенского (пропагандиста Гюрджиевской мудрости в Англии и поставщика его "учеников"), еще кто-то.

Скоро нас позвали обедать. Как некий восточный царек Гюрджиев воссел во главе стола, а вся колония, человек 15, разместилась вдоль стола. Меня посадили рядом с ним и я невольно морщилась смотря как он ел своими грязными руками, а он более чем ласково на меня посматривал, от чего мне хотелось поскорей уйти из-за стола. Хозяйничала за столом Ольга Аркадьевна, жена композитора Гартмана, у которой были ключи от всего хозяйства. Рядом с нею сидели ее родители — аккуратненькие старички, только что выписанные ею из России и конечно поселившиеся под ее крылышком. После длинного невкусного обеда, но с выпивкой, опять вышли в парк и Гюрджиев с восторгом объявил, что завтра все пойдут в баню.

Я же подсела к Успенской и стала расспрашивать ее об их житье-бытье. И вот что она мне рассказала:

— Сравнительно незадолго до нашего приезда в Париж Гюрджиев, едучи на автомобиле ночью, налетел на дерево и сильно разбился. Боялись, что он не выживет, но он оправился физически. Но только физически, т. к. психически страшно опустился, и уже не мог заниматься с учениками, обучая их специальным движениям и восточным танцам. Два-три года назад его школа гармонического развития человека дала спектакль в театре Елисейских Полей, произведя сильное впечатление, когда вся труппа исполнителей замерла неподвижно почти впродолже-

ние 10 минут (?). У Гюрджиева было много учеников в Англии и Америке, которые способствовали распространению его метода воспитания человека — рассказывала мне Успенская — и мой муж был его верным пропагандистом в Лондоне, а в Америке у него на этой роли был Истер Орэдж, регулярно наведывавшийся в Европу. Но после несчастного случая занятия в Институте прекратились и иностранные ученики разбежались. К тому же смерть Катрин Мансфильд — известной английской писательницы, жившей в Приерэ и там же и умершей, произвела грустное впечатление.

За два-три дня пребывания в Фонтенебло я успела поговорить и с другими дамами и пришла к заключению: нам с мужем там делать нечего и оставаться в Приерэ я не хочу. Особенно для меня были тягостны вечерние собрания в комнате Гюрджиева, когда читались вслух главы из его готовящейся к печати книги "Разговоры с Вельзевулом". Это было нечто совсем неудобоваримое с точки зрения минимальной христианской морали.

Вообще, о морали здесь не думали и почти каждая из интервьюированных мною дам делала намек, что такая-то была или есть любовница Георгия Ивановича. В конце-концов почти все прошли сквозь это "посвящение". Атмосфера была нездоровой, удушающей. Гюрджиев же явно обольщал Евреинова, уговаривая нас остаться на все лето в Фонтенебло. Думаю, что муж ему был нужен как редактор его книги, написанной безграмотно и бестолково, что вероятно он и сам чувствовал.

Недели через три мы, по настоятельному приглашению Георгия Ивановича снова съездили в Фонтенебло, но не остались даже ночевать и сам он в сопровождении О. А. Гартман уехал с нами в Париж. В поезде он опять начал рассказывать неприличные анекдоты, но Ольга Аркадьевна, увидев мои нахмуренные брови, резко остановила его и Гюрджиев прикусил язычок. Осталось впечатление, что он ее побаивался, но она была единственным человеком, кот. "смел" ему возражать. Все остальные смиренно выслушивали его часто очень грубые замечания. Вот пример: сидели мы в парке и муж спрашивает Гюрджиева: — а где наш милый Фома Гартман? — В ответ Гюрджиев закричал в сторону дома:

— Идиот, где идиот?

Из окна высунулся отец Ольги Аркадьевны, старичок, и подобо-

страстно ответил: — Он ушел на станцию за газетой, Георгий Иванович!

Так третировался хороший музыкант, очень интеллигентный человек, бывший блестящий офицер — полное снижение личности.

Вскоре мы уехали на Корсику и пробыли там два-три месяца. Вернувшись муж нашел письмо Гюрджиева с приглашением приехать. Я наотрез отказалась ехать в Фонтенебло. Тогда Гюрджиев пригласил нас на свою парижскую квартиру (где-то около Биржи, как помнится). Впечатление осталось еще более неприятное. В январе 1926 года мы уезжали в Америку. Помню, выходя из банка около Опера слышим вдруг:

— Ныколай Ныколаевич, куда это вы запропали? — В кафе де ля Пэ на бульваре сидел Гюрджиев с каким-то господином. — Присаживайтесь к нам!

Мы посидели с ним с полчаса, объявив, что торопимся из-за скорого отъезда в Нью Йорк. — Так я же вам дам масса рекомендаций в Америку, прежде всего к моему ученику Орэджу.

Мы не воспользовались его предложением.

Это был последний раз, что мы видели Георгия Ивановича.

*

В середине 30-х годов я гостила у Елены Извольской в Фонтенебло и часто проходила мимо ворот Приерэ. Как-то вздумалось мне зайти туда. Дверь открыл мне какой-то заспанный, всклокоченный тип, босой и самого отталкивающего вида. На мой вопрос: могу ли я увидеть Гюрджиева, он ответил, что Г. И. в Париже и вернется только вечером. — А могу я взглянуть на парк? — спросила я. — Пожалуйста входите!

То, что я увидела, привело меня в ужас: весь парк зарос каким-то страшным бурьяном, производя впечатление непролазного леса из страшной сказки. Поистине владение Вельзевула. В панике я поспешно распростилась с моим гидом и бежала почти всю дорогу до дома Извольских.....

С Гартманами мы встретились снова примерно в это же время. По их словам они ушли от Гюрджиева "по добру". Но стороной я слышала, что Гюрджиев ругал их изменниками и ворами. Жили они тогда в маленьком уютном домике. Имя Гюрджиева они просили не произносить. Последнее, что осталось от них — письмо О. А. ко мне из Нью-Йорка по поводу смерти мужа в 1953 г.

А. Евреинова

О М. ШОЛОХОВЕ.

Несколько моих друзей, особенно проф. Н. Первушин, настаивали на опубликовании рассказа о моей встрече с Михаилом Шолоховым в чешской Праге в конце 1920х годов. Тогда существовал "Русский архив" Постникова. Я занимался там вопросом исключительно меня интересовавшим: Февраль 1917 года породил ли Октябрьский переворот именно по вине самого Временного правительства? В то время в Праге доживали свои дни три студенческих союза.* Первый был монархический, но, увы, председатель его, некто Орлов, взял кассу и исчез, говорили в СССР. Второй союз был социалистический, во главе его подвизался Ефрон, муж М. Цветаевой, с ним одно время был связан Ф. Махин, позднейший генерал армии Тито в Югославии. Третий союз был "про" и коммунистический, к нему принадлежали и все стипендиаты из СССР, учившиеся в Праге. Во главе его стоял некий рыжий Перельман. На одной демонстрации - сходке без скандала, я заметил среднего роста русоволосого студента. Через несколько дней мы сидели в архиве Постникова за одним столом. "Революцию изучаете?" спросил меня блондин. -- А как же, почему ж я здесь! Мой ответ можно было понять двояко: 1) я нахожусь в этом архиве и 2) отчего я попал за границу. "А я, вот, изучаю гражданскую войну по данным белых." Тут мой визави привстал, протянул руку и сказал: "Михайло Шолохов." Я спросил, участвовал ли он в "гражданке" и сколько ему лет. По его словам в самой войне он не участвовал, был из "иногородних" Донской области и родился на рубеже столетий. Позднее при встречах в архиве М. Шолохов очень интересовался всем, что мог вытянуть из меня о Кавказе, взятии Эрзерума, о гражданской войне (я служил тогда в Первом пластунском). Интересовала его всякая мелочь, напр., о донских, кубанских и терских шашках. Любимое выражение его было: "Вот, судьба, вот судьба!" Никакой ненависти он к белому движению тогда не проявлял. Теперь вопрос, был ли это автор "Тихого Дона"? Проф. Клименко (Гаваи) утверждал, что М. Шолохов далее Берлина не бывал и Прагу не посещал. Возможен ли второй М. Шолохов? Фамилия не

---

* Было ещё "Болото", студенты учившиеся обычно вне политики.

столь редкая, Михаил часто встречается, отчество своё он не говорил, а я и не спрашивал. Года с официальной биографией не сходятся, но по новым данным, подходят. Да, одет мой Шолохов был прилично, но галстух был ужасен — ярко голубой с желтыми и красными широкими полосами. Ботинки были от чешского "Батя." Руки крупные, но не мозолистые, руки, о которых говорят "руки душителя по ремеслу". Все это было, если не ошибаюсь, в 1927) 28гг.

Р. Плетнев

О НЕКОТОРЫХ ЗАТРУДНЕНИЯХ В ДИСКУССИИ

Письмо в редакцию

В № 126 "Нового Журнала" помещено было — в рамках дискуссии о моей статье (Н.Ж. № 125) — весьма интересное письмо Р. Плетнева.

В одном, однако, по-моему, Р. Плетнев не прав. А именно, ссылаясь на оценку, что в "Российской Империи" (скажем в 1916 году) было до 500 тысяч "всех мастей революционеров", а теперь в СССР "настоящих диссидентов... (всего) тысячи три-четыре..." — делает из этого сопоставления некое умозаключение.

По-моему, такое сопоставление, по существу, не правильно. Сравнивать бывших "революционеров" с теперешними "диссидентами" нельзя. Уже по одному тому, что стремились они к разным целям. Старые "революционеры" в царской России стремились к свержению существующего строя; преимущественно путем насилия. Теперешние же "диссиденты" в СССР (если говорить о их "движении", оставляя в стороне единичные исключения) стремятся, напротив, не к свержению, а к улучшению, к исправлению существующего строя. (Притом: ни в коем случае не прибегая к насилию).

Таким образом, мы имеем дело с разными ценностями, и по их существу и по цели. (Не говоря уже о подноготной стороне дела). Если сопоставлять прошлое с настоящим, было бы, может быть, уместнее противопоставить бывшим "активным революционерам" сегодняшних "потенциальных контрреволюционеров". Т. е. не только тех, в дословном смысле, среди "безмолвствующего большинства", но и 90% населения коммунистического блока. коих единственная политическая программа сводится (без тщательного разбора) к: ДОЛОЙ коммунистическую власть!

Но вот вопрос: уместно ли?... Поскольку слово: "революционер" причислено сегодня во всем мире к понятиям положительным, а "контрреволюционер" отнесено к словам ругательным. Тем паче среди "диссидентов", столпы которых сочли бы такое название сверхклеветой на них! Возмущаясь, впрочем, и "обвинением" их в антисоветской деятельности, да и просто в каком-либо "антикоммунизме". Они, видите ли, признаны всем миром только как "критики режима", "защитники прав человека" в согласии с буквой советской конституции, в крайнем случае как легальные "оппозиционеры" -- "инакомыслящие". Зачем же их обижать оскорбительным прозвищем "антикоммунисты"? Этого нельзя делать, зная, что это не соответствует истине.

Покойный Ленин проповедовал "пораженчество" во время первой мировой войны. "Диссиденты", наоборот, отвергают всякую войну против СССР; отвергают вооруженную интервенцию извне или контрреволюцию внутри. Из-за этого пользуются уважением со стороны левых и просто каммунистических партий всех стран Западного мира. То же самое относится не только к русским "диссидентам", но и к созданным по их образу теперь в странах-сателлитах. Так, например, виднейший вождь "польских диссидентов" Адам Михник прославляет единственную альтернативу: "Еврокоммунизм"! -- Можно опасаться, что в недалеком будущем и слово: "антикоммунизм" попадет в святейший индекс запрещенных слов.

Да, признаться, положение получилось несколько сложное. Осложнилось же оно особенно после Второй мировой, с тех пор, когда началось проникновение в свободный от каммунизма мир коммунистической терминологии. Это в значительной мере затрудняет и всякую свободную дискуссию. Р. Плетнев прав в том, что люди все чаще: "ни гугу, ни тпру, ни ну". Захлестывает волна "обязывающих суждений", а там и узаконенной терминологии. Люди ведь -- народ пугливый. А политики, писатели и проч. предпочитают соблюдать корректную форму изложения и соответственную ей терминологию. Равно обстоит дело, например, и со словом "война". Употребление его в положительном смысле стало теперь почти что "воспрещено полицией". А ведь справедливо замечает Г. Андреев в своих прекрасных очерках ("Минометчики"): "...Проклятая война! Сколько ее ждали, миллионы людей..." -- Да, вспомнилось и мне из пережитого в качестве принудительного гражданина Литовской СССР. В июне 1941 года люди

плакали от радости, бросались в объятия; благодарили Бога! Наконец-то: война!

А поди-ка сегодня, попробуй рассказать этакое с мировой трибуны... Страшно даже подумать.

И вот тоже пример: На 30 с чем-то миллионов моих соотечественников поляков, включая и эмиграцию, я знаю лишь одного, кто осмеливается высказать гласно, что он: контрреволюционер. Это: есмь я, один... — Но, спрашивают меня люди: Разве "один в поле воин?" — Как будто нет. Но авось! Авось, наперекор пословице, может случиться и чудо... Особенно, если с Божьей помощью.

И.А. Мацкевич

БИБЛИОГРАФИЯ

BRUCE HERSCHENSOHN, THE GODS OF ANTENNA, Arlington House Publishers, New Rochelle, N. Y., 1976, pp. 155

На эту чрезвычайно важную и интересную книгу мне указал один большой русский ученый. Но он предупредил, что достать ее чрезвычайно трудно, ибо книга Брюса Гершензона подвергается полному замалчиванию со стороны пресловутой mass media. *И ни в книжных магазинах, ни в библиотеках ее не найти. Я проверил. И действительно, ни в одном из больших нью-йоркских книжных магазинов книги нет. Не оказалось ее и в трех самых больших американских библиотеках. Я достал ее только обратившись непосредственно в издательство. Ниже мы даем спокойный (по-моему, чересчур спокойный!) и объективный (по-моему, чересчур объективный) обзор этой страшной книги. Р. Г.*

Автор книги БОГИ АНТЕННЫ в 1973-1974 гг. был заместителем особого помощника президента Никсона. До этого автор был продюсером, режиссером, писателем и издателем — то есть профессионалом в области средств массовой связи. Книга Бруса Гершензона посвящена той роли, которую телевидение и печать играли в деле "Вотергейт" и в вопросе участия Америки во Вьетнамской войне. Сам автор ни в коей степени с делом Вотергейт не связан. Но в то время по долгу своей службы и как специалист в области телевидения Гершензон следил и изучал приемы, которыми американские средства массовой информации пользовались

при информировании о деле Вотергейт и о падении Сайгона. Исходным и завершающим пунктом его книги является интерпретация средств массовой информации как новой силы, о которой нет никакого указания в Конституции и которая не является предметом всенародного голосования. Таким новым могущественным институтом автор считает три главные телевизионные станции — СиБиЭс, ЭнБиСи и ЭйБиСи, которые поддерживаются радикальными руководителями кинематографии, газетами с левым уклоном и такого же рода журналами. Гершензон видит взаимосвязь между падением Южного Вьетнама и уходом в отставку президента Никсона,что заставляет его сделать замечание, что если бы та же констелляция средств массовой информации действовала во время Второй мировой войны, то Соединенные Штаты могли Вторую мировую войну и не выиграть. Гершензон говорит, что в настоящее время произошло нечто такое, чего основоположники американского государства даже не предполагали. А именно: телевизионный экран стал более могущественным, чем избранные народом представители государства. И Гершензон считает, что настало время эту никем не избранную тиранию свергнуть.

Книга состоит из введения, двенадцати глав и эпилога. В введении приводятся выдержки из старой газеты, в которых содержится обвинение в адрес уходящего на покой президента Джорджа Вашингтона, считающее его (Вашингтона) источником всех бед государства, человеком, изолировавшим себя от народа, и т. д. и т. п. Президент Вашингтон оправдывался, говоря, что речь идет о злобном и преднамеренном искажении фактов, и что целью такого рода заметок является ослабление, если не уничтожение вообще доверия общественности к президенту. В связи с этим Гершензон говорит, что все это произошло очень давно, и что предки, боровшиеся против тирании и произвола Георга III, которые формировали американскую нацию и составляли Конституцию, даже не представляли себе, какой силой и каким влиянием на общественность будет обладать телевидение.

Первая глава — это своего рода продолжение введения в проблематику телевидения и его влияния на зрителя. 51 год спустя после ухода президента Вашингтона со своего поста и более чем за полвека до падения Агнью и Никсона, до падения Камбоджи, Южного Вьетнама и Лаоса, родился Томас Эдисон. Он ничего не предполагал о будущем. Киноскоп рассматривался как игрушка, а вовсе не как революционное изобретение. Даже кино, которое позже создавало некоторые представления о жизни людей на различных континентах, не стало столь влиятельным, как

новый аппарат — телевизор — который позволил обращаться в одно и то же время к миллионам людей.

В среднем каждый 18-летний гражданин успел провести за свою жизнь 12.000 часов в школе и 15.500 часов у телевизора. Телевизор занял первое место в жизни — он стоит в списке перед занятиями, перед родителями, перед друзьями и перед печатным словом. Все, что было сказано с экрана телевизора, все те моральные ценности или отсутствие последних, которые телевидение проповедовало, стало чревато огромными последствиями. Последствия влияния телевидения на жизнь молодежи автор видит в том, что телевидение начало создавать такой образ Соединенных Штатов, который "освобождал молодежь от иллюзий" в отношении своей страны.

И заграницей начали судить о Соединенных Штатах в соответствии с тем, что показывалось на экранах американского телевидения. Как за рубежом, так и в Америке молодежь оказалась под давлением негативизма, в то время как воспитательный противовес этому влиянию не существовал вообще. Фильмы, изображавшие американскую молодежь ("Getting Straight", "The Revolutionary" etc., как и фильмы об армии, о расовых противоречиях, изображения жизни немногочисленных групп) выдавались за фильмы, "типичные для большинства". В 70-е годы эти деятели кинематографии стали руководить американским кино. Критика правительства, полиции, американского общества, политики США во Вьетнаме — стала господствующей тенденцией кино. В связи с этим Гершензон цитирует Ленина, Сталина и Хрущева, их тезисы-инструкции о кино, о его значении и о руководстве (о том, что из всех видов искусства самым важным является кино и что ничто так не влияет на чувства и мышление людей, и ничто не может охватить такое множество людей, как кино). В этом с ними соглашается и Гершензон. Он говорит, что в данном случае союзником закрытого общества стало свободное общество и что вызывавшие наибольшее доверие антиамериканские выступления создавались в Америке, американскими кино-работниками.

При этом Гершензон отмечает, что большинство фильмов было снято с самыми хорошими намерениями; эти люди пытались выразить в своем творчестве то, что их волновало; их фильмы часто были сделаны на высоком художественном уровне. Но какими бы ни были их умыслы — эффектом была эрозия мирового общественного мнения о Соединенных Штатах и пропаганда цинизма среди американской молодежи. Фикция интерпретировалась как факт, и то, что началось как невинная игрушка, то

есть телевидение, стало основным средством для предоставления информации или для дезинформации. Экран, который первоначально был зеркалом эпохи, стал формировать ее характер. А роль экрана в жизни людей, его колоссальное влияние на общественное мнение, на информированность или дезинформированность — это ведущий мотив книги Гершензона.

Так, например, автор приводит такой факт (гл. 3 стр. 30): в 1970 г. в связи с распоряжением президента Никсона о вводе американских войск в Камбоджу, средства массовой информации назвали это решение аморальным. Корреспондент СиБиЭс интервьюировал солдат, вошедших в Камбоджу, задавая им вопросы такого рода: "Что вы намерены делать здесь? Вы сознаете, что с вами может случиться? Вы боитесь? Вы говорите, что в отряде "Альфа" низка боевая мораль?" И, как говорит автор, вопросы такого рода заставили сенатора Дола (штат Канзас) задать вопрос, включает ли в себя свобода печати право подстрекать к бунту?

Вторая глава (с веселым названием "Жена, двое детей и телевизор, и слава Богу, все они здоровы") описывает, что может в настоящее время видеть человек (благодаря телевидению) и чего он не мог видеть в прошлом, когда телевидения не было (покушения, убийства, государственных деятелей и т. д.). Автор говорит о привязанности американской семьи к телевизору, который во многих случаях считается членом семьи. Гершензон в связи с этим обращает внимание на особую роль "кинокамеры-лжеца". Потому что кинокамера запечатлевает лишь то, что видно, и то, что видно, выдается за правду. Но, продолжает Гершензон, все, что действительно важно, невидимо. Мир невидим, свобода невидима, как невидима любовь, вера и даже мотивировка политических решений. Камера ищет "новости". Она показывает студентов во время демонстраций и волнений, но не показывает их в аудиториях. Волнения — это "новости", убийства — это "новости", в то время как нормальная повседневная жизнь — это "не новости". Нормальная жизнь — без волнений, болезней, драк — не интересна для новостей. Это скучно. Мир вызывает зевоту, война — нет. На 21-ой странице автор пишет, что вечерние "новости" были не хроникой событий дня, а кинохроникой извращений дня. Чем более анормально событие, тем больше зрителей оно привлекает. Создалось мнение, что в действительности люди нашей эпохи получают не больше информации, чем наши предки, но зато посредством "новостей" существует больше возможностей вводить людей в заблуждение. Интерес к абсурду, необычности, к похитителям самолетов, убийцам и убийствам, невидимость

"обыкновенного" человека привела президента Никсона к употреблению термина "молчащее большинство". И именно телевизионный экран, по мнению Гершензона, создал политический климат в период Вьетнамской войны, который резко отличался от климата Второй мировой войны. В то время никто не задавал вопросы относительно того, может ли Европа стать материком рабов и господ. Почти никто не сомневался в том, что участие Америки в войне — правое дело. Но попробуем перенести в этот период телевидение, говорит Гершензон. Каждый день — последние известия. Бомбежки. Невинные жертвы. Американцы в Нормандии и Бог знает, где еще. Множество убитых от американских бомб — и, естественно, не показываются действия противной стороны — концентрационные лагеря и т. д. По телевидению американцы увидели бы бомбежку Гамбурга, Токио, Берлина — не уравновешенные ничем. Во время Вьетнамской войны американский народ каждый вечер видел ужасы войны. Вальтер Кронкайт верил, что телевидение — это шаг вперед для всего мира, но он забыл сказать, что перед американцами рисовалась фальшивая картина войны, потому что противная сторона на экране вообще показана не была.

В своей книге Гершензон пользуется интересным термином — нашу эпоху он называет "новым визуальным веком". Нам кажется, что это его замечание очень ценно. На примере Вьетнамской войны и на примере поведения средств массовой информации в связи с делом Вотергейт автор показывает, сколь различны страны свободного и несвободного слова. Экран ежедневно доносил войну до каждой американской семьи. В Советском Союзе этого не было. Американцы никогда не видали на своих экранах инакомыслящих, оппозиционно настроенных по отношению к своему правительству северовьетнамцев. Их не видели, разумеется, и сами северовьетнамцы на своих экранах. Зато и там и здесь могли видеть фильмы об американской оппозиции и сенатора Фулбрайта, обвиняющего Государственного секретаря и министра Обороны.

Третья глава описывает, как телевизионный экран изменил представления американцев о мире. В ней говорится, как телевидение отдало предпочтение северовьетнамским фильмам, отказываясь передавать фильмы американского правительства (например, военнопленные в Ханое, выступающие против президента и политики США). А сенатор Фулбрайт пытался провести строгие законы, ограничивающие и запрещающие демонстрацию фильмов Американского информационного агентства, потому что его взбесила передача по телевидению фильма

этого агенства о советской оккупации Чехословакии. (В то же самое время Фулбрайт требовал предоставления виз для кубинских киноработников, которые хотели организовать в Нью-Йорке пропагандный фестиваль кубинских фильмов.) В этой главе Гершензон приводит примеры "техники" телехроники и телекомментария. После декабрьской бомбежки Ханоя и Хайфонга Вальтер Кронкайт из СиБиЭс сказал: "Советское агентство "Новости" сообщило, что сотни американских бомбардировщиков уничтожили тысячи домов, в большинстве своем в ханойско-хайфонгской области. По сообщению радио Ханой, эта бомбежка показала, что президент Никсон потерял разум". Его коллега Эрик Северайд добавил, что в правительственных кругах господствует ужас и стыд за то, что Соединенные Штаты снова осуществляют массовые убийства для того, чтобы якобы покончить с убийством. Комментируя эти выступления, Гершензон говорит, что источник этой информации Северайда не был известен никому, кроме самого Северайда. В унисон с ними выступал по телевидению Гари Ризнер, а в печати Джеймс Рестон и Антони Льюис, восхищавшийся мужеством северовьетнамцев и осуждавший американскую бомбежку. Газета "Нью-Йорк Таймс" писала о ковровой бомбежке на площади в одну квадратную милю, во время которой три бомбардировщика Б-52 сбросило 65 тонн бомб — то есть газета "Нью-Йорк Таймс" писала о бомбежке, сила которой равнялась 20 атомных бомбам калибра сброшенных на Хиросиму бомб. Но после окончания войны во Вьетнаме, через четыре месяца после опубликования этого сообщения, газета "Нью-Йорк Таймс" сообщила, что по данным Ханойских киносъемок никакой ковровой бомбежки вообще не было. Джозеф Крафт называл бомбежку бессмысленным террором, который опозорил доброе имя Америки, и т.д. и т.п. В этой главе Гершензон приводит данные из исследования Института американской стратегии, в соответствии с которыми взаимоотношение между положительными и отрицательными сообщениями об американских военных действиях в хронике СиБиЭс было следующим: 13% положительных сообщений, 66,1% отрицательных.

В 1972 г. 83,33% сообщений о Южном Вьетнаме были критическими по отношению к сайгонскому правительству, в то время как 57,23% сообщений о Северном Вьетнаме были доброжелательными по отношению к правительству Ханоя. В том же году станция СиБиЭс высказала 842 критических замечания об американской политике, положительных сообщений было всего 23. Поэтому, говорит Гершензон, многие

были шокированы, когда увидели возвращение американских военнопленных, благодаривших Америку и Никсона, и когда услышали их рассказы о зверствах северовьетнамцев. Критикуя американские средства массовой информации, Гершензон цитирует книгу Эдварда Банса (1935 г.) о подготовке Германии к войне, в которой говорится, что важно атаковать слабые места противника, и что у каждого народа есть слабое место. Более того, нужно этот народ убедить, что его правители ведут его к гибели. Эта выдержка из книги Бэнса является как бы вступлением к 4-й главе книги Гершензона, которая посвящена делу Вотергейт.

В 4-ой главе Гершензон задает вопрос: могло ли все это случиться с другим президентом? Автор вспоминает различные факты, связанные с избирательной кампанией Линд. Джонсона и Дж. Кеннеди. Гершензон считает, что влиятельная печать не уделяла этим вопросам достаточного внимания. В то время как эта же, либерального толка, печать уделяла много внимания Никсону. Многие сотрудники самых могущественных средств массовой информации, как телевизионные станции СиБиЭс, ЭнБиСи и ЭйБиСи, сотрудники журналов "Тайм" и "Ньюсвик", газет "Нью-Йорк Таймс" и "Вашингтон Пост", говорили, что обвинение их в левом уклоне было плодом фантазии Никсона, потому что они занимали критическую позицию по отношению к каждому правительству, и что в интересах народа вскрывать сильные и слабые стороны каждого правительственного мероприятия. Гершензон с этими аргументами не согласен, потому что, по его мнению, они половинчаты. Гершензон считает, что как правило, средства массовой информации занимают критическую позицию только к консервативной внутренней и внешней политике. Ведь и президента Джонсона критиковали не за его "Программу великого общества", а за его решение кризиса в Доминиканской республике и за Вьетнам. Гершензон считает, что журналистика не может быть совершенно объективной. И снова приводит советские источники. Он вспоминает, как Хрущев заявил Кеннеди, что существуют нейтральные народы, но нет нейтральных людей. В принципе с этим соглашаются и многие американские комментаторы. Вальтер Кронкайт заявил, что телевизионные журналисты более склонны быть "либералами", даже быть "влево от центра". Но, по мнению Гершензона, люди, составляющие телевизионную хронику, придерживаясь определенных политических взглядов при составлении теленовостей обходили одно и подчеркивали другое. В этом, по мнению автора, заключается трагедия. Гершензон считает, что проблема должна быть решена не устранением тех или других ком-

ментаторов, а установлением равновесия посредством привлечения тех, кто придерживается другой точки зрения. Средства массовой информации создают климат. И определенный политический климат, по мнению Гершензона, образовался в связи с неточным названием "Вотергейт". Название комплекса зданий, в которых находились помещения Демократической партии, куда 17 июня 1972 года вторглось несколько человек, стало символом всех обвинений против правительства Никсона (президент и налоги, дело ITT, дело Веско или политических взносов). Во всех этих самых разнообразных случаях телевизионная техника пользовалась фотографией здания Вотергейт.

В пятой главе автор продолжает эту мысль и говорит, что изводить президента стало "национальным спортом", как и опубликовывать разные полуправды — односторонние комментарии — и выдумывать страшные термины (Бойня в субботу вечером, Немцы в Белом Доме, Рождественская бомбежка и т. д.). Термины антивоенного движения, как и движения за мир, автоматически должны были создавать впечатление, что любое другое мнение является провоенным. И несмотря на то, что все эти движения были просеверовьетнамскими и симпатизирующими Кмер-Ружу в Камбодже, они ни разу не комментировались как коммунистические, говорит Гершензон, а только как движения против войны, как "движения за мир". В этой главе автор описывает технику, которую использовали тележурналисты для формирования определенного нужного им, "левого" общественного мнения.

В 6-ой главе автор обращает внимание на то, как затосковали средства массовой информации в период падения Никсона и в период падения Южного Вьетнама. Не о чем было говорить. В этой главе автор проводит сравнение между телерепортажами и действительностью, он приводит ряд искажений в связи с делом Вотергейт. В 8-ой главе описывается уход президента Никсона с должности и реакция печати, комментаторов и сотрудников президента. В главе 9-ой говорится о прощении Никсона президентом Фордом, и как это прощение восстановило средства массовой информации против нового президента. 10-я глава начинается последствиями Вотергейта.

"Сейчас американский флаг стал только белым", — начинает автор свое описание падения Сайгона и позиции, занятой в этом вопросе в Капитолии. Автор цитирует отрывки из письма генерала Сирик Матака из города Пном-Пен американскому послу Дину от апреля 1975 года (за 15

дней до падения города). Генерал благодарит посла за его распоряжение вывезти его на свободу и говорит, что не может принять это любезное предложение. Далее генерал пишет послу и его великой стране, что никогда, ни одной минуты не верил в то, что они могут оставить народ, который выбрал свободу. "Вы покидаете нас, и я желаю вам, чтобы вы и ваша страна нашли счастье под небом. Но я могу погибнуть только здесь, на месте, в стране, которую люблю. Это тяжело, но все мы рождены, чтобы умереть. Я допустил ту ошибку, что верил вам (Америке)". Генерал Матак был казнен через три дня после падения Пном-Пена, добавляет Гершензон. Далее Гершензон приводит чисто антиамериканскую и просеверовьетнамскую информацию, которая после падения Сайгона публиковалась в журналах "Тайм", "Ньюсвик" и передавалась в программах Вальтера Кронкайта по СиБиЭс и в программах Гари Ризнера по ЭйБиСи. Гершензон считает, что после падения Сайгона в апреле 1975 года и вследствие дела Вотергейт Америка перестала быть мировой державой, предоставив играть главную роль на политической арене Советскому Союзу и Китаю.

11-я глава начинается символикой изменений. Пали Агнью и Никсон. Камбоджа, Южный Вьетнам, Лаос, но МакГоверн вместе с Барбарой Волтерс были на Кубе. И автор считает, что в течение пятнадцати лет отсутствие гуманности превратилось из недостатка в национальное преимущество. В главе 12 автор снова анализирует влияние телеэкрана и говорит, что удержаться на телевидении очень трудно. Сложно обстоит с президентом, который не обладает навыками профессионального актера. И федеральное правительство имеет весьма ограниченные возможности высказываться по телевидению. А те, кто финансируют программы телевидения, часто не понимают, что они финансируют такие программы, которые подрывают основы существования их самих. В этой главе автор описывает возможности зрителей влиять на телевидение посредством писем. Другими словами, автор предлагает "влиять на влияние" комментаторов, с которыми в настоящее время должен конкурировать сам президент и его окружение.

В эпилоге книги Гершензон говорит, как в разных обществах (со времен Древнего Рима) толпа присутствовала при публичных наказаниях, но в прежние времена ей для этого нужно было выйти из дому. В настоящее время каждое такого рода представление люди видят дома — и все это благодаря телевидению. В истории, пишет Гершензон, всегда повторяются печальные события. Все знают, что маленькие беззащитные

государства не раз уничтожались противниками, а самые развитые цивилизации кончали жизнь "самоубийством". После второй мировой войны, говорит Гершензон, Америка была победителем, она была могущественной и становилась главной силой мира. В пятидесятые годы настала растерянность, стыд за богатство и силу. Гордость трансформировалась в извинение, а застенчивость перешла в самобичевание. В конце десятилетия наиболее совершенным оружием самоубийственных тенденций стала лживая коммуникация. Гершензон считает, что расширилась вера в то, что борьба за свободу других потеряла значение. А кульминационным пунктом 70-х годов стало то, что никем не избранные люди стали сильнее избранных представителей народа. Это-то и обусловило, по мнению автора, безразличие к судьбе других стран. Но даже Америка, продолжает Гершензон, не обладает иммунитетом от той судьбы, которая постигла великие цивилизации в другие времена. И если исчезнет эта цивилизация, то будущий историк найдет гибельное оружие не в руинах Белого Дома, Капитолия или Верховного Суда. Он должен будет искать то, что питало предрассудки миллионов, в лесу антенн на сорванных крышах домов. Этими словами Б. Гершензон заканчивает свою книгу.

Г. М.

О РИСУНКАХ В ДЕТСКИХ КНИГАХ, В СССР.

В первые годы нашего века Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг предприняла издание русских народных сказок с иллюстрациями художника И.Я. Билибина. Рисунки Билибина, декоративно-богатые и полные знания русского народного искусства, были прекрасно воспроизведены лучшей государственной типографией и производили отличное впечатление. Успех был полный, сказки с рисунками Билибина стали скоро библиографической редкостью. Вскоре появились и другие издания с рисунками Билибина: в 1904 году была напечатана былина "Вольга" с его иллюстрациями, которые и по сегодняшний день могут считаться одним из высших достижений полиграфического искусства. В 1905 году появилась "Сказка о царе Салтане" Пушкина, а в 1907 году "Сказка о золотом петушке" Пушкина, — обе с рисунками Билибина.

Шли годы, сменялись вкусы, рисунки Билибина начали казаться слишком богатыми и сложными для детского восприятия. Слишком на-

циональный, подчеркнуто русский характер рисунков не отвечал революционным тенденциям 1920-х годов. Слишком национальное считалось не отвечающим веяниям времени.

В те же 1920-ые годы начал складываться в СССР особый вид детских книг, в которых иллюстрациям отдавалась чуть ли не главная роль. Здесь сразу же привлекло к себе внимание творчество художника В.В. Лебедева.

Лебедев работал над агитационными плакатами в окнах РОСТА в 1920-1921 годах и это требовало от него предельной ясности и "доходчивости" до зрителя. В работе над рисунками к детским книжкам Лебедеву, кроме умелой выдумки и прекрасного владения материалом, помогло участие поэта С. Маршака. И теперь не всегда известно, что было первым — рисунок, к которому потом был написан текст, или же к заданному тексту был сделан рисунок. Во всяком случае слияние рисунка с текстом было полное. К числу удач совместной работы Лебедева и Маршака надо отнести детские книжки "Цирк", "Вчера и сегодня", "Багаж", "Мороженое" и др. Необычайная простота рисунков, полный отказ от всякой изощренной красивости давали новое понимание задач иллюстраций детских книг, где новая страница увлекала бы детей новым рисунком. В книжке "Цирк" каждый рисунок мог служить плакатом для цирка, весело призывающим поглядеть на чудеса цирковых представлений.

Я не случайно остановился на примерах рисунков Билибина и Лебедева, ибо их влияние на последующие иллюстрации несомненны.

Но, конечно, я могу говорить только о тех детских книжках, которые попали в поле моего зрения, но далеко не о всех, постоянно издающихся многими детскими издательствами в СССР.

Начну с "Билибинской" темы. В 1965 году Главное Управление Министерства Финансов СССР "Госзнак" выпускает в количестве 100.000 экземпляров сказки с иллюстрациями Билибина, повторяя издание 1901-1903 годов. В примечании говорится, что иллюстрации Билибина хранятся в музее Госзнака. Формат и бумагу стараются скопировать с дореволюционного издания. В 1967 году снова издаются те же сказки и опять в количестве 100.000 экземпляров. Но и этого оказывается мало. В 1968 году опять издаются сказки с рисунками Билибина в количестве 100.000 экземпляров. В 1970 году издается 5000 комплектов сказок (в каждом комплекте 6 сказок) в специальной папке все тем же издательством Главного Управления Госзнак Министерства

Финансов СССР. В 1973 году переиздается издание сказок 1965 года, и снова тиражом в 100.000 экземпляров. Всё в целом дает огромную цифру более чем 400.000 экземпляров сказок с рисунками Билибина. Очевидно, спрос рождает предложение. Но Госзнак издал еще сказку "Царевна-Лягушка" с рисунками Билибина с английским текстом а издательство "Прогресс" в Москве издало на английским языке "Сказку о царе Салтане" также с рисунками Билибина, но в этих книжках тираж не указан.

Часть издания "Билибинских" сказок, конечно, уходит за границу, и не малая, но всё же много книжек остается и в СССР, что говорит о возврате к вкусам начала века и о растущей тяге к национальным формам рисунков. Но может быть тут кроется и доля пропаганды псевдо-национальных начал.

Есть и прямые следы творчества Билибина. Передо мною книжка "Былина. Алеша-Попович и Тугарин Змеевич". Издание Госзнак. Москва. 1975г. Художник В. Лукьянец. Отпечатано на Пермской фабрике Госзнака. Тираж 100.000 экземпляров.

Тут всё явно "под Билибина", и формат, и бумага. Но Боже мой, до чего всё тут плохого вкуса, полно какой-то провинциальной сусальности. Художник Лукьянец не обладает не только вкусом, но и необходимыми знаниями по части анатомии, русской архитектуры и орнаментики. У него явное отсутствие культуры. Зачем надо было издавать подобную книжку?

На той же Пермской печатной фабрике Госзнака напечатана в 1974 году в количестве 100.000 экземпляров сказка "О лисичке- сестричке и волке" с рисунками Э. Лисснера, исполненными еще в 1900 году, и снова "под Билибина". Рисунки во всех отношениях плохи. Стоило-ли воскрешать подобные рисунки 75-ти летней давности?

Если национальное начало исподволь проявляется в СССР, то это начинает быть заметным и в детских книжках, даже названия детских книжек говорят сами за себя. Художник В. Перцов иллюстрирует книжки "Садко" и "Александр Невский" (издательство "Малыш" 1975 года, тиражом по 150.000 экз. каждая) с явным влиянием иконописных традиций. Но вряд-ли дети могут разобраться в сложных рисунках, в них нет чёткости Билибина и простоты Лебедева.

В издательстве "Детская Литература" дважды было издано стихотворение Лермонтова "Бородино", в 1967 году с рисунками А. Кондратьева, а в 1973 году с рисунками И. Архипова. Первая книжка

тиражом в 400.000 экз., вторая в 100.000 экземпляров.

Рисунки Кондратьева академичны, суховаты. В предисловии Ираклий Андронников говорит о русской победе в Бородинском сражении. Вряд-ли это справедливо, ибо историки говорят, что исход Бородинской битвы остается нерешенным.

Рисунки И. Архипова динамичны и создают впечатление боя, где

"Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел."

На внутренней стороне обложки даны портреты генералов, принимавших участие в Бородинской битве. Подобные книжки издаются, безусловно, с целью поднять чувство национального самосознания и необходимой защиты от врагов.

Влияние творчества Лебедева сказалось у многих советских художников, которые иллюстрировали детские книги, но опять таки подчеркну, что не могу указать всех художников, шедших путем Лебедева.

В небольшой книжке Л. Толстого "Скучен день до вечера, коли делать нечего", изданной в 1976 году издательством "Детская Литература" тиражем в 1.500.000 экземпляров с рисунками художника В. Пименова, наследие традиций Лебедева сразу бросается в глаза. Рисунки даны только в два цвета (коричневый и чёрный), но они настолько метки и живы, что забываешь об их упрощенной расцветке.

В 1965 году издательство "Малыш" выпускает детскую книжку К. Чуковского "Топтыгин и Лиса" с рисунками В. Андриевича (тираж 150.000 экз.) Веселые рисунки воспринимаются, как цветные аппликации и своею простотой указывают на продолжение заветов Лебедева. В 1967 году в том же издательстве выпускается книжка К. Чуковского "Мойдодыр" с рисунками того же В. Андриевича (300.000 экз.), прекрасно дополнившими веселый текст. Рисунки были здесь также в "лебедевском" стиле упрощенно-декоративны.

В 1968 году издательство "Малыш" выпускает сказку П. Ершова "Конек-Горбунок" с рисунками В. Андриевича и Б. Маркевича. Это одна из лучших детских книг по части иллюстраций. Лаконичность плоскостных рисунков необычайно убедительна. Рисунки с юмором

повествуют о похождениях Ивана-дурака и без улыбки нельзя смотреть на рисунок, где Иван стоит голый около кипящих котлов, в которых он должен искупаться и почёсывает затылок, а

"Царица молодая,
Чтоб не видеть наготу
Завернулася в фату".

Одни из самых веселых рисунков — это иллюстрации художника В. Цигаля к народной сказке С. Маршака "Мельник, мальчик и осёл", изданной в 1967 году в издательстве "Художник СССР". Рисунки так заражают зрителя, что невольно вызывают в нем смех.

Можно заметить также влияние русских народных картинок (лубков) на иллюстрации детских книг, а также работ палехских мастеров, мстерских и из Федоскина. Эти влияния видны в книжке "На всякого Егорку есть поговорка", издание 1976 года, Москва, с рисунками художника А. Елисеева.

Могу отметить в конце только некоторые имена художников, работавших для детской книги, это: Чарушин, Каневский, Конашевич, Сутеев, Узбяков, Митрохин и др.

В заключение надо отметить две основные линии развития рисунков для детских книг в СССР: одна, идушая от Билибина, другая от Лебедева.

Е. Климов

ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В РУССКОЙ ИСТОРИИ. Автор: митрофорный протоиерей о. Александр Киселев; редактор протодиакон Никита Чакиров. Издание Комитета русской молодежи 1976 г. стр. 144

В наше "просвещенное время" говорить о помощи Божией и тем более о чудесах, почитается делом несерьезным и даже "недостойным". Успехи и неудачи в жизни государств стали объяснять исключительно "реальными причинами": особенностями наций, географией, классовыми взаимоотношениями и прочее. И прав автор книги о. Александр Киселев, говоря, что "много ли мы насчитаем /теперь/ русских людей, которые понимали свою русскую икону, как нечто глубочайшее во всей русской культуре и как одно из мировых сокровищ? Боюсь, что немного." И эти слова прежде всего относятся к иконам не как

"шедеврам изобразительного искусства" или антикварным вещам, которыми выгодно торгуют советчики /а теперь и некоторые эмигранты/, а как к великим святыням, отложившим глубокий отпечаток на жизнь страны и глубоко чтимым народом.

О. Александр в этой книге, великолепно изданной Комитетом русской православной молодежи, дает описание восьми чудотворных икон Божией Матери, начиная с написанной св. евангелистом Лукой — Владимирской. Эта древнейшая икона помогла русскому народу в борьбе с Волжскими болгарами и татарами. Теперь она находится в Третьяковской галерее. Смоленская Одигитрия тоже сопутствует истории и являет заступническую силу в битвах с Наполеоном. Новгородская-Знамение в международной борьбе с суздальцами даже получила ранение от вражеской стрелы. Молитва перед Феодоровской-Костромской привела к воцарению Михаила Феодоровича и окончанию Смуты. Донецкая, написанная очевидно Феофаном Греком, помогла Димитрию Донскому в борьбе с татарами и способствовала собиранию городов русских.

Гибель России, ее порабощение слугами Антихриста, связана с судьбой иконы Казанской Божией Матери. Ранее эта особо чтимая икона не раз помогала русскому воинству в борьбе с внешними врагами и при внутренних бедах. Но в 1904 году она была украдена революционерами и уничтожена. Началась революция. А 13 лет спустя была "украдена" и Россия, началось ее уничтожение. Марксисты-ленинисты знали /знают и теперь!/, что для одержания победы над народом, надо уничтожить его святыни.

После революции значительная часть русского народа ушла в изгнание. Им сопутствовали и Чудотворные иконы. Так с "первой" эмиграцией ушла в дальнее странствие икона Божией Матери Курской-Коренной, став ее покровительницей и заступницей. А "второй" эмиграции сопутствовала Тихвинская икона, находящаяся теперь в Чикаго. Кроме этих икон, за пределами России находятся чудотворные иконы: Леснянская, две Харбинские /одна теперь в Сан Франциско, другая в Синодальном соборе/, Ахтырская — ныне покровительница русской молодежи. Две иконы находятся на Святой земле, одна в Гефсимании, другая в Елеонском монастыре. Список с древнего оригинала Владимирской Одигитрии пребывает в Ново-Дивеевском монастыре.

Итак, "насколько мы себя, как народ, помним, с нами всегда был

образ Пречистой и Преблагословенной,-- пишет о. Александр. —В своих особых чудотворных иконах пришла Она к нам впервые в половине одиннадцатого века, как "Одигитрия -- Путеводительница"... и стала именоваться "Смоленской"... а теперь, после небывалых потрясений вот уже 50 лет путеводит русское зарубежье, как Курская -- Коренная".

В предисловии к книге митрополит Филарет говорит, что "труд о. протоиерея А. Киселева... является ценным вкладом в сокровищницу нашей церковно-просветительной литературы". Эта оценка совершенно верна, т.к. книга эта поможет читателю понять духовную суть икон, их истинную ценность. Ибо, как пишет о.Александр, "тот, кто видит в иконе только доску и краски, тот ничего не видит. Кто видит в иконе красоту, тот видит много, но еще не все. Тот же, кто начинает постигать духовную ее сущность, тот подошел к главному в ней". Поэтому книга эта должна стать настольной книгой в каждой русской семье. Она поможет нам найти /снова!/ ту духовную точку опоры, утвердившись на которой, как когда-то славные предки наши, сможем освободиться от ига слуг антихристовых, в тысячи раз горшего ига татарского.

Книга сопровождена обширным приложением, заключающим краткие сведения о других чудотворных иконах, не упомянутых автором, а также проникновенно написанные статьи матушки игумении Ариадны и заключение редактора книги, протодиакона о. Никиты Чакирова.

С. Женук.

ВЕРА В. КАРПОВИЧ. ТРУДНЫЕ СЛОВА У СОЛЖЕНИЦЫНА. Нью Йорк. Technical Dictionaries Co. 1976, 335 pp.

Год тому назад появился русско-английский толковый словарь "трудных слов у Солженицына", составленный специалистом-языковедом, профессором Вассар Колледжа -- Верой Карпович. С момента выхода в свет этого ценного труда появилось немало о нем отзывов и заметок в русской прессе. Значение вклада в современное языковедение, сделанного профессором Карпович, бесспорно.

Прежде всего, хотелось бы напомнить всем пользующимся этим словарем, что он содержит слова, встречающиеся исключительно в *СОЛЖЕНИЦЫНСКИХ* текстах; *ЭТИ* слова истолкованы и переведены по контексту. Поэтому бесполезно и даже несправедливо хвалить или критиковать словарь за то, что он содержит или не

содержит слова, встречающиеся у *ДРУГИХ* авторов или в современном советском языке, как это делалось на страницах некоторых газет.

Солженицын с давних пор был озабочен крайним обеднением русского литературного языка за советский период. Он хочет "вернуть языку его былое богатство". И он пошел смелым, широким путем к этой цели: к воскрешению многих далевских слов, к преобразованию некоторых из них и к изобретению новых. Все это он ввел — далеко не в одинаковой мере — в свои главные произведения.

Результат, как часто бывает в экспериментах, получился пестрый: удачи, приемлемые слова, спорные слова и неудачи. Но качественные оценки не являются задачей словаря; задача словаря — предложить некую помощь читателям и переводчикам разобраться в непонятном тексте. Солженицын ведь писал для советского читателя, которому "райскую" обстановку и связанные с ней выражения, термины и слова объяснять не нужно. Но волей судьбы случилось так, что книги Солженицына издаются заграницей и читатели его — люди западные; а им объяснять приходится многое. Подавляющее большинство западных читателей Солженицына нуждается именно в английском толковании его "трудных слов". И как раз это удовлетворяет труд профессора Карпович, содержащий 4000 слов, истолкованных и поясненных синонимами на русском языке и переведенных на английский язык. Кроме того, к каждому толкованию прибавлены цитаты из контекста и ссылки на толковый словарь Даля.

Мне хочется воспользоваться случаем и поблагодарить Веру Карпович за ту помощь, которую оказал ее "Словарь" моим студентам-аспирантам Колумбийского университета. На курсе по истории русского литературного языка навейшего времени (19-20 вв.) конечно проходились и тексты Солженицына. Словарь профессора Карпович в значительной степени облегчил их разбор. Надо недеяться, что профессор Карпович не остановится на этом первом издании своего "Словаря". Языковеды, преподаватели и просто любители русского языка будут ей благодарны за дальнейшее пополнение и расширение этого полезного пособия.

Марина Ледковская
Профессор Колумбийского
университета

В. В. РОЗАНОВ: "ЛЮДИ ЛУННОГО СВЕТА"

Двенадцатым томом серии "Analecta Slavica" в Вюрцбурге переиздана замечательная книга В. В. Розанова (1865-1919) "Люди лунного света. Метафизика христианства" (Jal-reprints. 1977). Книге предпослано написанное Юрием Иваском введение по-английски — краткое, сжатое, но показывающее главные вехи в исканиях Розанова в области проблем пола и заканчивающееся краткой биографией мыслителя.

Розанов — явление своеобразное, в обычные рамки классификаций не укладывающееся. Привлекают к нему его горячность, его искренность, его живой ум, его поразительная честность с собою, способность соглашаться со мнениями противников, отрекаться от собственных крайних заключений. Предложив в одном месте государственной власти сделать обязательным брак для пятнадцатилетних юношей и тринадцатилетних девушек ("для всех без изъятия"), он во втором издании книги "Люди лунного света" об этой затее не упоминает — и высказывается за полную свободу личности в выборе направления половой жизни. В его время речи о перенаселенности земного шара не было (в России), и можно было возвеличивать женатых юнкеров, беременных гимназисток и многодетные семьи: если бы он жил в наше время, пришлось бы ему пересмотреть собственные рецепты счастья под одну гребенку и,вероятно, отказаться от "половой уравниловки". И его статистические данные пришлось бы исправить: например, число мужчин, влекущихся к своему же полу, не "один из тысячи", а десятеро из ста.

"Люди лунного света" — все те, кто уклоняется от деторождения. Солнечный свет жизнетворен, он греет, а лунный только светит, но не греет — приносит одни грезы, одни мечты, одни неясные обещания. Для Розанова высшая онтологическая правда — жизнь. Благо все то, что способствует утверждению жизни. Истинны (человеколюбивы, "гуманны") только те религии, которые благословляют размножение и не ставят ему границ: юдаизм (на первом месте), ислам, греко-римское и египетское язычество. Во главу угла кладет он первую заповедь книги Бытия: "плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю".

Правда, "ослушникам" (девственникам) Розанов все-таки воздает должное: ведь, с них началась и ими держится вся культура, всякая культура. Просто самец и просто самка не способны "поднять глаза к небу":

все их существование на земле ограничено родом, кровным родством, деторождением. Содом (собирательное название, придуманное Розановым для всех "ослушников") дышит и в великих святителях, и в апостолах (не женатые до призвания остались неженатыми), и в Иоанне Предтече, и -- страшно сказать -- в Приснодеве Марии.

Метафизика Нового Завета, действительно, была новой в том смысле, что фокус внимания христианством передвинут с размножения на преодоление этого инстинкта, откуда и возвеличение монашества, как высшего проявления любви к Богу и человеку. Вместо родовой связи Церковь подчеркнула связи "духовные": иноческие общины, рыцарские ордена, всевозможные братства, товарищества, организации.

Многие страницы книги "Люди лунного света" написаны с потрясающей силой, великолепным русским языком (что и отметил Юрий Иваск в своем введении). Доводы Розанова часто кажутся несокрушимыми. К сожалению, вюрцбургское фото-литографическое издание сделано с первого издания книги "Люди лунного света" (на одной из первых -- ненумерованных -- страниц ошибочно указана дата этого издания, как 1913-ый год. На самом деле, первое издание вышло раньше -- вероятно, в 1911 году, а в 1913-ом вышло там же в СПб *второе* издание: без изменений в основном тексте, но с приложениями: несколькими рассказами и дневниками "людей лунного света", откликами Розанова на возражения, сделанные после выхода первого издания, с которыми честный с собою Розанов нередко соглашается!

Книга "Люди лунного света" в первом издании оставляет последнее слово за мятущимся Розановым. Но ни догматиком, ни фанатиком Розанов не был. И во втором издании от его постройки не осталось камня на камне. Люди лунного света -- не изверги, не чудовища, не смертобожники, не враги "нормального" человечества. Они тоже его органическая, полноправная, а подчас и драгоценнейшая часть (ведь вся культура от них!). Ко времени второго издания своей пылкой книги Розанов успел глубже продумать этот вопрос -- и сделать другие выводы.

Валерий Перелешин.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

■

В 1977 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■

Подписная цена на 1977 год 20 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 6 долларов
Во Франции — 20 франков

■

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: MO 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня